



Мир приключений

Джеймс Фенимор
КУПЕР

БРАВО



Scan Kreyder - 19.04.2016
STERLITAMAK



Мир приключений

**Джеймс Фенимор
КУПЕР**

БРАВО, или В Венеции

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1992

84.7 США
К 92

Перевод с английского
Е. В. Семеновой и Н. А. Темчиной

Послесловие
А. Н. Темчина

Иллюстрации
В. Высоцкого

К $\frac{4703040100-2657}{080(02)-92}$ 2657—92

ISBN 5—253—00516—1

© Темчин А. Н. Послесловие. 1992.
© Высоцкий В. Иллюстрации. 1992.

Giustizia in palazzo,
E pane in piazza! ¹

Глава I

Венеция. Мост Вздохов. Я стоял:
Дворец налево и тюрьма направо;
Из вод как будто некий маг воззвал
Громады зданий, вставших величаво.
С улыбкой умирающая Слава,
Паря на крыльях десяти веков,
Глядела вспять, где властная держава
С крылатым львом над мрамором столпов
Престол воздвигла свой на сотне островов ².

Байрон

Солнце скрылось за вершинами Тирольских Альп, и над низким песчаным берегом Лидо уже взошла луна. В этот час людские толпы устремились по узким улочкам Венеции к площади Святого Марка — так вода, вырвавшись из тесных каналов, вливается в просторный волнующийся залив. Нарядные кавалеры и степенные горожане; солдаты из Далмации и матросы с галер; знатные дамы и простолюдинки; ювелиры Риальто и купцы с Ближнего Востока; евреи, турки и христиане; путешественники и искатели приключений; господа и слуги; судейские и гондольеры — всех безудержно влекло к этому средоточию всеобщего веселья. Суровая деловитость на лицах одних и беззаботность других; размеренная поступь и завистливый взгляд; шутки и смех; пение уличной певицы и звуки флейты; ужимки шута и трагически мрачный взгляд импровизатора; нагромождение всяческих нелепостей и вымученная, грустная улыбка арфиста; выкрики продавцов воды, капюшоны монахов, султаны воинов; гул голосов, движение, суматоха — все это в сочетании с древней и причудливой архитектурой площади создавало незабываемую картину, пожалуй, самую замечательную во всем христианском мире.

Расположенная на рубеже Западной и Восточной Европы и постоянно связанная с ними, Венеция отличалась более пестрым смешением характеров и костюмов,

¹ Правосудия во дворце, хлеба на площади! (ит.)

² Байрон, «Паломничество Чайльд-Гарольда», песнь IV. Перевод Г. Шенгели.

чем какой-либо другой из многочисленных портов этого побережья. Особенность эту можно наблюдать и по сей день, хотя Венеция сейчас уже не та, что прежде, и в те времена, о которых мы рассказываем, столица на островах, не будучи уже великой повелительницей Средиземного и даже Адриатического морей, все же была еще богата и могущественна. Ее влияние еще сказывалось на делах всех стран цивилизованного мира, ее торговля, уже замирающая, все же была еще в силах поддерживать благосостояние тех семей, родоначальники коих разбогатели в дни процветания Венеции. Но людей на островах охватывало все большее безучастие, безразличие к своему будущему, а это служит первым признаком упадка, духовного или телесного.

В названный нами час огромный прямоугольник площади быстро заполнялся народом, и уже шумели подгулявшие компании во всех кофейнях и казино, расположенных под портиками, которые с трех сторон окружали площадь. Под сверкающими аркадами, озаренными неровным, зыбким светом факелов, уже царило беспечное веселье; и только громада Дворца Дожей, древнейшая христианская церковь, триумфальные мачты Большой площади, гранитные колоннады Пьяцетты, головокружительная высота Кампаниллы и величавый ряд зданий, называемых Прокурациями, казалось, дремали в мягком свете луны, бесстрастные и холодные.

Фасадом к площади, замыкая ее, возвышался неповторимый, освященный веками собор Святого Марка. Храм-трофей, он вознесся над архитектурой площади, точно памятник долголетию и мощи республики, прославляя доблесть и благочестие своих основателей. Мавританская архитектура, ряды красивых, но ничего не несущих, декоративных колонн, которые только отягощали фасад собора, низкие; азиатские купола, уже сотни лет венчавшие его стены, грубая, кричащая мозаика, а над всем этим безумным великолепием — кони, вывезенные из Коринфа, как бы стремящиеся оторваться от серой громады и прославить здесь, в Венеции, прекрасное греческое искусство, — все это в зыбком свете луны и факелов казалось таинственным и печальным, как олицетворенное напоминание о прошлом, о редчайших реликвиях древности и былых завоеваниях республики.



Все на площади было под стать ее владыке — храму. Основание колокольни — Кампаниллы — скрывалось в тени, но вершина ее, на сотни футов вознесенная над площадью, была залита с восточного фасада задумчивым лунным светом. Мачты, несущие знамена заморских владений — Кандии, Константинополя и Мореи, — рассекали пространство на темные и сверкающие полосы, а в глубине Малой площади — Пьяцетты — у самого моря ясно вырисовывались в ночном прозрачном небе силуэты крылатого льва и Святого Марка — покровителя этого города, установленных на колоннах из африканского гранита.

У подножия одной из этих массивных каменных громад стоял человек, который, казалось, со скучающим равнодушием взирал на оживленную и потрясающую своей красотой площадь, заполненную людьми. Разноликая толпа бурлила на набережной Пьяцетты, направляясь к главной площади; одни скрывались под масками, другие ничуть не заботились о том, что их могут узнать. Этот же человек стоял недвижно, словно не в силах был даже повернуть головы или хотя бы переступить с ноги на ногу. Его поза выражала терпеливое и покорное ожидание, привычку исполнять прихоти других. Со скрещенными на груди руками, прислонясь плечом к колонне, он с безучастным, но добродушным видом поглядывал на толпы людей и, казалось, ждал чьего-то властного знака, чтобы покинуть свой пост. Шелковый камзол, тонкая ткань которого переливалась цветами самых веселых тонов, мягкий алый воротник, яркая бархатная шапочка с вышитым на ней родовым гербом обличали в нем гондольера знатной особы.

Наконец ему наскучило смотреть на гримасы и ужимки акробатов, на пирамиду из человеческих тел, которая на время приковала его внимание, и он отвернулся, заглядевшись на освещенный луной водный простор. Вдруг лицо его осветилось радостью, и минуту спустя он тряс в крепком пожатии руку смуглого моряка в просторной одежде и фригийском колпаке, какие носили тогда люди его звания.

Гондольер заговорил первым. Слова, которые лились потоком, он произносил с мягким акцентом, характерным для островитян:

— Ты ли это, Стефано! Мне ведь сказали, что ты попал в лапы этих дьяволов, варваров, и сажаешь теперь

цветы для одного из этих нехристей, и слезами своими поливаешь их.

— «Прекрасная соррентинка» не экономка священника! — отвечал моряк. Он говорил на более жестком калабрийском наречии, с грубоватой фамильярностью бывалого морехода. — И не девица, к которой украдкой подбирается тунисский корсар, пока она отдыхает в саду. Побывай ты хоть раз по ту сторону Лидо, и ты бы понял, что гнаться за фелуккой — не значит еще поймать ее!

— Так преклони же скорее колена, друг Стефано, и поблагодари Святого Теодора за спасение. В тот час, я думаю, все на борту твоего судна только и делали, что молились; зато уж, когда твоя фелукка благополучно пришвартовалась к берегу, таких храбрецов, как твои ребята, не сыскать было даже среди жителей Калабрии!

Моряк бросил полунасмешливый, полупочтительный взгляд на изваяние святого, прежде чем ответить:

— Нам больше пригодились бы крылья этого льва, чем покровительство твоего святого. Я никогда не хожу за помощью на север дальше Святого Януария, даже если налетит ураган.

— Тем хуже для тебя, дорогой, потому что епископу легче остановить извержение вулкана, чем успокоить морские ветры. Так что же, была опасность потерять фелукку и ее храбрецов у турков?

— Да, был там один тунисец¹, который подкарауливал добычу между Стромболи и Сицилией, но где там! Он скорее догнал бы облако над вулканом, чем фелукку во время сирокко²!

— А ты, видно, принял страха, Стефано?

— Я-то? Да я ничуть не трусливее, чем твой крылатый лев, только что без цепей и намордника.

— Это и видно по тому, как удирала твоя фелукка.

— Черт побери! Я очень жалел во время погони, что я не рыцарь ордена Святого Джованни, а «Прекрасная соррентинка» не мальтийская галера, хотя бы ради

¹ Тунис в то время находился под властью Турции.

² С и р о к к о — жаркий, сухой и сильный ветер, дующий с юго-востока и юго-запада преимущественно на Средиземном море, в Сицилии и Италии.

поддержания чести христианина. Но ведь негодяй висел на моей корме чуть ли не три склянки, он был так близко, что я различал даже, у кого из его нехристей грязная чалма, а у кого чистая. Отвратительное зрелище для христианина, Стефано, видеть, как какой-то неверный берет над тобой верх.

— А не горели у тебя пятки при мысли о бастинадо¹, дружище?

— Я слишком часто бегал босиком в горах Калабрии, чтобы бояться таких пустяков.

— У каждого свои слабости, и я знаю, что твоя — страх перед палкой в руке турка. Твои родные горы и то местами твердые, а местами рыхлые; тунисец же, говорят, всегда выбирает палку жесткую, как его сердце, когда хочет позабавиться воплями христианина.

— Ну что ж! И счастливейший из нас не в силах избежать своей судьбы. Если мои пятки когда-нибудь отведают удары палок, священник потеряет одного кающегося грешника: я сговорился с добрым служителем церкви, что все подобные беды, если они произойдут со мной, зачтутся мне за покаяние... Ну, а что нового в Венеции? И как твои дела на каналах в этом сезоне? Не вянут цветы на твоём камзоле?

— В Венеции, друг мой, все по-прежнему. Изю дня в день я вожу гондолу от Риальто до Джудекки, от Святого Георгия до Святого Марка, от Святого Марка до Лидо, а от Лидо домой. Здесь ведь не встретишь по пути тунисцев, при виде которых холодеет сердце и горят пятки.

— Ладно, хватит дурачиться! Лучше скажи, что за это время взволновало республику? Не утонул ли кто из молодых дворян? А может быть, повесили какого-нибудь ростовщика?

— Ничего такого не произошло, разве что беда, приключившаяся с Пьетро... Ты помнишь Пьетрилло? Он как-то ходил с тобой в Далмацию запасным матросом; его еще подозревали в том, будто он помогал молодому французу похитить дочку сенатора.

— Мне ли не помнить, какой тогда был голод! Мошенник в дороге только и делал, что ел макаронны да поглощал лакрима-кристи² — груз графа из Далмации.

¹ Бастинадо — палочные удары по пяткам.

² Лакрима-кристи — сорт виноградного вина.

— Бедняга! Его гондолу потопил какой-то анконец, раздавил, словно сенатор муху.

— Так и надо мелкой рыбешке, заплывшей в глубокие воды.

— Малый пересекал Джудекку с иноземцем на борту, когда бриг ударил гондолу и раздавил ее, как пузырь, оставшийся за кормой «Буцентавра». По счастью, иностранец, видимо, успел помолиться в церкви Реденторе.

— А благородный капитан не стал жаловаться на неповоротливость Пьетро, потому что Пьетро и без того наказал сам себя?

— Пресвятая богородица! Да не уйди он тогда в море, кормить бы ему рыб в лагунах! В Венеции нет ни одного гондольера, чье сердце не сжималось бы от обиды! Все мы не хуже своих хозяев знаем, как отомстить за оскорбление.

— Гондола так же не вечна, как и фелукка, и для каждого корабля наступает свой час. И все-таки лучше быть раздавленным бригом, чем попасть в лапы к туркам... Ну, а как твой молодой хозяин, Джино? Похоже ли, что он добьется того, о чем хлопочет в сенате?

— По утрам он охлаждает свой пыл в водах Джудекки, а если ты хочешь знать, что он делает по вечерам, поищи его на Бролио среди гуляющих господ.

Говоря это, гондольер покосился на группу патрициев, прогуливавшихся под мрачными арками Дворца Дожей, по тем священным местам, куда имеют доступ только люди знатные.

— Я знаком с обычаем состоятельных венецианцев приходить под эти своды в этот час, но никогда раньше не слышал, будто они предпочитают принимать ванну в водах Джудекки.

— Да ведь случись дожу вывалиться из своей гондолы, ему тоже пришлось бы тонуть или плыть, как любому простому христианину.

— О воды Адриатики!.. А молодой герцог тоже ехал молиться в Реденторе?

— Он в тот день как раз возвращался после... Но не все ли равно, на каком канале вздыхает ночью молодой дворянин? Мы случайно оказались рядом, когда наконец совершил свой подвиг: пока мы с Джорджио кляли на чем свет стоит неуклюжего чужеземца, мой хозяин — а он вообще-то не очень любит гондолы и совсем не

разбирается в них — прыгнул в воду, чтобы спасти молодую синьору от участи ее дяди.

— Дьявол! Ты до сих пор и слова не сказал про молодую синьору или смерть ее дяди!

— Твои мысли были заняты тунисцем, ты и пропустил это мимо ушей. Я, кажется, рассказал тебе, как чуть не погибла прекрасная синьорина и как капитан брига отягчил свою совесть еще и гибелью римского маркиза.

— Бог ты мой! Неужели этот христианин должен был умереть собачьей смертью из-за беззаботности гондольера?

— Может, все это и к счастью для анконца, потому что говорят, будто маркиз этот обладал достаточной властью, чтобы заставить даже сенатора пройти по Мосту Вздохов, если б ему захотелось.

— Черт побрал бы всех беззаботных лодочников! А что случилось с этим плутом?

— Я же говорю тебе, он уплыл за Лидо в тот самый час, а иначе...

— А Пьетрилло?

— Его вытащил своим веслом Джорджио, так как мы оба принялись спасать подушки и другие ценности.

— И ты ничем уже не мог помочь бедному римлянину? Из-за его смерти несчастье будет теперь преследовать бриг анконца.

— Так и будет, пока бриг не врежется в какую-нибудь скалу, которая окажется тверже сердца его капитана. А что касается иностранца, то мы могли только помолиться Святому Теодору, потому что он так и не показался на поверхности после столкновения и сразу пошел ко дну... Ну, а что привело тебя в Венецию, мой милый? Ведь неудача с апельсинами в твою последнюю поездку, кажется, заставила тебя отказаться от этих мест?

Калабриец оттянул пальцем кожу на щеке, отчего его черный лукавый глаз глянул насмешливо и красивое лицо заискрилось грубоватым юмором.

— Скажи-ка мне, Джино, ведь твоему хозяину требуется иногда гондола между закатом и восходом солнца?

— Да, с некоторого времени он спит по ночам не больше совы. А с той поры, как снег растаял на Монте

Феличе, и я ложусь не раньше, чем взойдет солнце над Лидо.

— А когда твой хозяин скроется в стенах дворца, ты спешишь на мост Риальто к ювелирам и мясникам рассказывать, как он провел ночь?

— Если б так, эта ночь стала бы для меня последней на службе у герцога Святой Агаты. Гондольер и духовник — два самых близких советчика дворянина, дорогой Стефано, с той небольшой разницей, что последний узнает только то, что грешник пожелает открыть, а первый иногда знает и больше. Я мог бы найти себе более спокойное, если не сказать более честное, занятие, чем бегать и разбалтывать тайны своего господина.

— Вот и я, Джино, тоже не так глуп, чтобы позволить каждому маклеру заглядывать в мою фрахтовую ведомость.

— Э-э, нет, дружище, есть все-таки разница между нашими занятиями. Владельца фелукки нельзя, конечно, сравнить с гондольером, пользующимся самым большим доверием неаполитанского герцога, который имеет право быть допущенным в Совет Трехсот.

— Разница та же, что между бурным морем и спокойным заливом. Ты бороздишь своим ленивым веслом воды канала, тогда как я в мистраль¹ лечу по проливу Пьомбино, мчусь вперед в любой шквал и пролетаю, едва касаясь вод, Адриатическое море во время сирокко, который так горяч, что можно варить в нем макароны, а море кипит под ним сильнее, чем водовороты у Сциллы...

— Тс-с!.. — нетерпеливо прервал его гондольер; с веселостью истинного итальянца он предавался удовольствию поспорить ради самого спора, не выказывая при этом своих подлинных чувств. — Сюда идет некто, могущий подумать, что без его помощи мы не в состоянии разрешить наш спор.

Калабриец замолчал и, отступив на шаг, с мрачным видом разглядывал в упор человека, который сделался причиной этой тревоги.

Незнакомец медленно шел мимо. Ему, наверно, не было еще и тридцати, но привычная сосредоточенность взгляда делала его гораздо старше. Щеки его были

¹ Мистраль — сильный и холодный северо-западный ветер.

бледны, но бледность эта свидетельствовала скорее о душевных переживаниях, чем о телесных недугах. Его крепкое, мускулистое тело двигалось легко и свободно, хотя в каждом движении чувствовалась большая сила. Походка была твердой и уверенной, держался он прямо и независимо, вся его внешность выражала мужественное самообладание, бросающееся в глаза каждому, кто глянул бы на него. Судя по одежде, он принадлежал, видимо, к низшему сословию — на нем был камзол из простого вельвета, темная шапочка в стиле Монтеро, какие носили тогда в южных странах Европы, и все остальное платье в том же роде. Лицо его казалось скорее печально, чем мрачно, но удивительно спокойно, как и все его движения. Тем не менее черты лица выражали смелость и благородство, подчеркивая силу и мужественность, столь характерные для лучших образцов итальянской красоты. И особенно выделялись на этом необычном лице глаза, словно озарявшие его, — глаза, полные ума и страсти.

Горящие глаза эти на мгновение задержались на лицах гондольера и его приятеля, но выражение их, хотя и пытлиное, оставалось совершенно безучастным. Он оглядел их мимолетно, но испытующе, как смотрит на людей человек, у которого есть причины не доверять им. Взгляд его скользил по лицам всех прохожих с одинаковой настороженностью, и к тому времени, как его гибкая фигура скрылась в толпе, он успел быстро и внимательно оглядеть еще многих.

Гондольер и моряк из Калабрии молчали, не отрывая взгляда от удалявшегося человека. Когда незнакомец скрылся, гондольер взволнованно воскликнул:

— Браво! ¹

Его приятель многозначительно поднял три пальца и кивнул в сторону Дворца Дожей.

— И они позволяют ему свободно разгуливать даже здесь, на площади Святого Марка? — спросил он с неподдельным удивлением.

— Не так-то просто, дружище, заставить реку бежать против течения или остановить водопад. Говорят, большинство сенаторов готовы скорее потерять надежду на «рогатый чепец» ², чем этого проклятого Якопо

¹ Б р а в о — наемный убийца (ит.).

² «Р о г а т ы й ч е п е ц» — название парадного головного убора правителя Венеции — дожа.

Фронтони! Ему известно больше семейных тайн, чем самому настоятелю собора Святого Марка, а ведь тому, бедняге, полжизни приходится проводить в исповедальне!

— Ну да, они боятся заковать его в железо, чтобы из него не посыпались все их тайны.

— Черт побери! Вся Венеция пришла бы в волнение, если б Совету Трех пришло на ум развязать язык этому молодому человеку таким грубым способом.

— Говорят, Джино, твой Совет Трех имеет обыкновение кормить рыбу в лагунах и потом сваливать вину на какого-нибудь бедного анконца, если волны прибьют труп к берегу.

— Но об этом вовсе незачем кричать так громко, словно ты приветствуешь сицилийца своей сиреной, хотя, возможно, ты и прав. По правде говоря, мало кто из подобных людей более опасен, чем тот, кто прошел мимо нас на Пьяцетту.

— Подумаешь! Два цехина — красная цена его услугам! — возразил калабриец с многозначительной гримасой на лице.

— Святая мадонна! Ты забываешь, Стефано, что если уж он взялся за дело, никакой священник не успеет дать несчастному отпущение грехов! Нет, его кинжал меньше чем за сотню не купишь. За твои два цехина удар будет не тот, и жертва еще успеет прочесть все молитвы и наговориться вдоволь, прежде чем отправится к праотцам.

— Бог ты мой! — воскликнул моряк с ужасом и отвращением.

Гондольер пожал плечами, выразил этим движением больше, чем мог бы передать словами человек, родившийся на берегах Балтийского моря. Но и он, видимо, решил переменить тему разговора.

— Слушай-ка, Стефано Милано, — произнес он после некоторой паузы, — в Венеции случается такое, о чем следует забывать тому, кто хочет спокойно есть свои макароны. Какова бы ни была цель твоего приезда, ты прибыл как раз вовремя — завтра правители устраивают гонки гондол.

— И ты собираешься участвовать в них?

— Либо я, либо Джорджио, с благословения Святого Теодора. Наградой счастливцу или искуснику будет

серебряная гондола. А потом мы увидим обручение дожа с Адриатикой.

— Твои благородные господа хорошо сделают, если станут лучше ухаживать за невестой, ибо многие еретики предъявляют свои права на нее. У скал Отронто я встретил великолепно оснащенного, быстроходного пирата, который готов был гнаться за моей фелуккой чуть ли не до самых лагун.

— А при взгляде на него не загорелись твои пятки, милый Стефано?

— На его палубе не было турецких тюрбанов, матросский колпак покрывал густые черные волосы, и подбородки этих моряков казались чисто выбритыми. Твой «Буцентавр» теперь уже не самое грозное судно между Далмацией и островами, хотя и самое нарядное. В Гибралтарском проливе теперь полно людей, кому уж мало того, что они творят у своего побережья, и которые воображают, будто могут позволить себе то же самое возле нашего.

— Республика постарела, брат, и нуждается в отдыхе. Такелаж «Буцентавра» тоже обветшал от времени и частых походов на Лидо. Мой хозяин не раз говаривал, что прыжок Крылатого Льва теперь не так длинен, как прежде, даже в дни его юности.

— Всем известно, как смело дон Камилло рассуждает о республике Святого Марка — ведь его древний замок Святой Агаты находится-то в Неаполе. Если б он говорил более почтительно о рогатом чепце дожа и Совете Трех, его требования о восстановлении в правах предков показались бы более справедливыми его судьям. Впрочем, расстояние смягчает краски и приглушает страх. Так же меняется мое мнение о скорости фелукки и достоинствах турка в зависимости от того, нахожусь ли я в порту или в открытом море, да и ты, Джино, помню, забывал Святого Теодора и поклонялся так же истово Святому Януарию, когда оказывался в Неаполе, будто тебе и в самом деле грозила беда со стороны гор.

— Следует молиться тому, кто поближе, иначе молитвы останутся неслышанными, — возразил гондольер, поднимая голову и не без суеверного страха бросая чуть насмешливый взгляд на изваяние святого, венчавшее колонну, к подножию которой он прислонялся, — а потом нужно быть осторожнее, ибо вон тот ростовщик уже смотрит на нас так, словно его мучает совесть, что он

позволяет нам говорить столь непочтительно и не может донести о том. Этот старый бородатый мошенник, говорят, связан с Советом Трех, и не только тем, что выуживает у них денежки, которые дает взаймы их сыновьям. Итак, Стефано, ты полагаешь, будто республике никогда уж больше не установить новой триумфальной мачты на площади, не приобрести новых трофеев для собора Святого Марка?

— Но ведь и Неаполь с его непрерывной сменой владык так же не способен вершить великие дела на море, как и твой крылатый зверь! С тебя вполне достаточно, Джино, водить гондолу по каналам и следовать за своим господином в его калабрийский замок; но если тебе захочется знать, что сейчас происходит в огромном мире, тебе придется удовлетвориться рассказами моряков, вернувшихся из дальних стран. Дни Святого Марка миновали; ныне время северных еретиков.

— Ты теперь слишком долго жил среди лживых генуэзцев и потому говоришь так. Генуя великолепна! Но разве какой-либо город может сравниться с нашим городом каналов и островов? И что совершила эта Апеннинская республика, чтобы сравнивать ее дела с великими делами Королевы Адриатики! Ты забываешь, что Венеция когда-то...

— Тише, тише! Вот именно «когда-то», дружище, и это относится ко всей Италии. Ты гордишься своим прошлым так же, как римляне из Трастевере.

— И римляне из Трастевере правы. Разве ничего не значит — происходить от такого великого и победоносного народа?

— А по мне, Джино Мональди, лучше быть сыном того народа, который велик и победоносен сейчас. Упиваться своим прошлым — это похоже на удовольствие, какое испытывают глупцы, вспоминая о вине, выпитом вчера.

— Такое хорошо для неаполитанцев, чьи края никогда не населял единый народ! — сердито возразил гондольер.

— Пусть так. И все же винные ягоды так же сладки, а дичь так же нежна, как раньше. Пепел вулкана покрывает все!

— Джино! — раздался повелительный голос за спиной гондольера.

— Синьор!

Тот, кто прервал беседу двух приятелей, молча указал рукой на гондолу.

— Прощай,— поспешно прошептал гондольер.

Его приятель дружески пожал руку своему земляку — тот родился, как и он, в Калабрии, но случай привел его на каналы. В следующее мгновение Джино уже раскладывал подушки для своего господина, разбудив подручного, который спал сладким сном.

Глава II

...иначе я никак не поверю, что вы катались в гондолах.

Шекспир. «Как вам это понравится»¹.

Дон Камилло Монфорте вошел в гондолу, но не занял там обычного своего места. Перекинув плащ через плечо и прислонившись к кабине гондолы, стоял он в задумчивости, пока его искусные и ловкие гребцы не вывели лодку из гущи других гондол, забивших причал, на широкий водный простор. Затем Джино коснулся своей красной шапочки и глянул на господина, словно спрашивая у него взглядом, куда плыть. Ему молча ответили жестом, что путь надо держать на Большой канал.

— Хотелось бы тебе, Джино, показать свое искусство в гонках? — спросил дон Камилло, когда тесные каналы остались позади. — Конечно, ты заслуживаешь удачи... Ты разговаривал с каким-то незнакомцем, когда я позвал тебя в гондолу?

— Да, я расспрашивал этого человека о новостях в нашей Калабрии. Он прибыл в порт на своей фелукке, хотя и клялся когда-то Святым Януарием, что его прежний неудачный приезд в Венецию станет последним.

— А как называется его фелукка и как его имя?

— «Прекрасная соррентинка», а командует ею Стефано Милано, сын старейшего слуги рода Святой Агаты. Этот быстроходный барк может похвалиться и красотой. Ему должна сопутствовать удача, ведь добрый свя-

¹ Стихотворные эпиграфы даются в переводе Р. Сефа, за исключением особо оговоренных. Переводы эпиграфов из Шекспира даются по: Полн. собр. соч.: В 8 томах. М. Изд. «Искусство». 1957—1960.

щенник многими молитвами отдал его под покровительство богородицы и Святого Франциска.

Дон Камилло начал разговор с тем равнодушным видом, с каким высший по положению обычно говорит с низшим; но теперь он, казалось, заинтересовался.

— «Прекрасная соррентинка»! А не приходилось ли мне раньше видеть этот барк?

— Очень возможно, синьор. У капитана есть родные во владеньях герцога Святой Агаты, как я уже говорил вашей светлости, и его судно не раз зимовало на берегу близ замка.

— Что привело его в Венецию?

— Я отдал бы свою лучшую куртку цветов вашей милости, чтобы узнать это, синьор. Не люблю вмешиваться в чужие дела и хорошо понимаю, что скромность — главная добродетель гондольера; и все же я пытался по старой дружбе кое-что разузнать о цели его приезда, да только он так осторожен, словно пятьдесят добрых христиан доверили ему свои тайны. Но если ваша светлость пожелает узнать все и поручит это мне, я надеюсь, что ваше имя, которое он должен почитать, и умелый подход помогут нам выудить из него кое-что получше какой-нибудь фальшивой подорожной.

— Можешь выбрать любую из моих гондол для участия в гонках, Джино,— произнес герцог Святой Агаты, входя под балдахин.

Он растянулся на черных подушках из глянцевитой кожи, так и не ответив на последние слова слуги.

Гондола легко и бесшумно, словно сказочный эльф, летела вперед. Джино, который был старшим гребцом, стоял на маленьком изогнутом мостике на корме и с привычной ловкостью и искусством действовал своим веслом, направляя легкое суденышко то вправо, то влево, и оно, подчиняясь его воле, проворно скользило среди множества лодок разного вида и назначения, часто встречавшихся им на пути. Позади оставались дворцы и большие каналы, что вели к различным зрелищам и другим бойким и шумным местам, где часто бывал герцог, но дон Камилло не менял направления. Наконец лодка поравнялась с каким-то величественным зданием. Джорджио, гребя одной рукой, посмотрел через плечо на Джино, который опустил весло. Оба ждали новых приказаний с почтительной готовностью, словно лошадь, замедляющая бег около дома, где обычно останавлива-

ется хозяин. Дом, у которого остановилась гондола, представлял собою одно из замечательнейших зданий Венеции; он был совершенно великолепен как по своему внешнему убранству и орнаментам, так и по оригинальному местоположению прямо среди воды. Его массивный, грубо обтесанный мраморный фундамент покоился среди волн, словно высеченный из подводной скалы, тогда как верхние этажи, причудливо возвышаясь один над другим, легко и грациозно достигали необычной высоты. Колоннады, украшенные медальонами и массивными карнизами, нависали над водой, словно человек своим искусством решил посмеяться над неверной стихией, скрывающей фундамент здания. Ступени лестницы, омываемые волнами от проходящих мимо гондол, вели в просторный внутренний двор. Здесь стояли две или три гондолы. Вероятно, они принадлежали тем, кто жил во дворце, потому что в них не видно было людей. Поднимающиеся из воды столбы отгораживали лодки от проплывавших мимо гондол. Такие столбы с украшенными и разрисованными верхушками, на которых можно было видеть цвета и гербы их хозяев, образовывали подобие маленькой гавани для гондол перед дверью каждого дома, где обитала знать.

— Куда угодно отправиться вашей светлости? — спросил Джино, так и не дождавшись приказа хозяина.

— Во дворец.

Джорджио и Джино обменялись удивленными взглядами, и послушная гондола скользнула мимо неприветливого, хотя и роскошного здания, будто маленькое суденышко повиновалось собственному побуждению. Мгновение спустя они свернули в сторону, и по всплескам воды о высокие стены можно было догадаться, что они вошли в более узкий канал. Подобрав весла, гондольеры осторожно гнали лодку вперед, то сворачивая в какой-нибудь новый канал, то скользя под низким мостиком, то выкрикивая мягкими гортанными голосами знакомые всем в этом городе команды, чтобы предостеречь тех, кто мчался навстречу. Вскоре Джино искусно остановил гондолу около самой лестницы красивого здания.

— Следуй за мной, — сказал Дон Камилло, с привычной осторожностью ступая на мокрую ступеньку и опираясь рукой на плечо Джино. — Ты мне нужен.

Ни внутренний двор, ни вход, ни остальные детали этого здания не шли в сравнение с богатством и роскошью дворца на Большом канале. Тем не менее можно было с уверенностью сказать, что они принадлежали знатному лицу.

— Ты поступил бы мудро, Джино, если б попытал завтра счастья на новой гондоле,— проговорил герцог, поднимаясь по массивной каменной лестнице, и показал на красивую новую лодку, которая лежала в углу большого внутреннего двора; у домов, построенных на более твердой основе, чем вода, так обычно стоят экипажи и кареты.— Тот, кто жаждет снискать покровительство Юпитера, должен прокладывать себе дорогу к счастью собственным трудом, ты это и сам знаешь, мой друг.

Джино просиял и осыпал словами признательности своего господина. Они уже поднялись на второй этаж и углубились в анфиладу мрачных комнат, а гондольер все еще благодарил его.

— Имея твердую руку и быструю гондолу, ты можешь надеяться на успех не меньше других, Джино,— сказал дон Камилло, закрывая за слугой дверь своего кабинета.— А теперь я попрошу тебя доказать мне свое усердие несколько иным образом. Знаешь ты в лицо человека по имени Якопо Фронтони?

— Ваша светлость! — вскричал гондольер, у которого от испуга перехватило дыхание.

— Я спрашиваю, знаешь ли ты в лицо человека, которого зовут Фронтони!

— В лицо, синьор?

— Как иначе можно узнать человека?

— Человека, синьор дон Камилло?

— Ты что, насмехаешься над своим господином? Я спрашиваю тебя, знаком ли ты с неким Якопо Фронтони, жителем Венеции?

— Да, ваша светлость.

— Того, о ком я говорю, долго преследовали семейные неурядицы, отец его до сих пор находится в ссылке на побережье Далмации или еще где-то.

— Да, ваша светлость.

— Здесь многие носят фамилию Фронтони, и важно не ошибиться. Якопо из этой семьи — молодой человек лет двадцати пяти, крепкого телосложения и меланхо-

личного вида, темперамента менее живого, чем ожидаешь в его годы.

— Да, ваша светлость.

— У него мало друзей, и он, пожалуй, больше известен своей молчаливостью и рвением, с каким выполняет свои обязанности, чем обычным легкомыслием и ленью людей его состояния. Словом, тот Якопо Фронтони, что живет где-то у Арсенала.

— Мой Бог! Синьор герцог, этот человек также хорошо известен нам, гондольерам, как мост Риальто! Ваша светлость может не утруждать себя, описывая его наружность.

Дон Камилло рылся в своем секретере, перебирая какие-то бумаги. Он с удивлением взглянул на гондольера, решившегося пошутить в разговоре с господином, и вновь опустил глаза.

— Ты его знаешь, и этого довольно.

— Да, ваша светлость. Но что вам будет угодно от этого проклятого Якопо?

Герцог Святой Агаты, казалось, о чем-то раздумывал. Он сложил бумаги на место и закрыл секретер.

— Джино,— произнес он доверительно и дружески,— ты родился в моих владениях и, хотя давно уж плаваешь гондольером в Венеции, всю жизнь служишь мне.

— Да, ваша светлость.

— Я желаю, чтобы ты окончил свою жизнь там, где начал. До сих пор я вполне доверял тебе и не ошибусь, сказав, что ты ни разу не обманул меня, хотя тебе и приходилось порой быть невольным свидетелем некоторых опрометчивых поступков моей юности, которые могли бы доставить мне много неприятностей, если б ты не держал язык за зубами.

— Да, ваша светлость.

Дон Камилло улыбнулся, но тут же лицо его снова омрачилось тревожными мыслями.

— Раз ты знаешь того, о ком я говорил, дело наше упрощается. Возьми этот пакет.— И он подал гондольеру запечатанное письмо большего, чем обычно, размера и снял с пальца кольцо с печаткой.— Это послужит доказательством твоих полномочий. Под аркой Дворца Дожей, которая ведет к каналу Святого Марка, под Мостом Вздохов ты найдешь Якопо. Отдай письмо и, если

он потребует кольцо, отдай и его тоже. Сделай все, что он прикажет, и возвращайся с ответом.

Джино выслушал своего господина с глубоким вниманием и почтением, но все же не мог скрыть страх. Привычное преклонение перед господином, очевидно, теперь боролось в нем с острым нежеланием выполнять его повеление; покорный, но нерешительный вид гондольера свидетельствовал о каких-то серьезных причинах его замешательства. Но если дон Камилло и заметил выражение лица своего слуги, он ничем не показал этого.

— Значит, у арки, ведущей во дворец, под Мостом Вздохов,— невозмутимо добавил он.— И тебе нужно успеть туда к часу ночи.

— Лучше бы, синьор, вы приказали Джорджио и мне отвезти вас в Падую.

— Путь слишком длинен. С чего это ты вздумал утомлять себя?

— Все потому, синьор, что там, среди лугов, нет ни Дворца Дожей, ни Моста Вздохов, ни этой собаки Якопо Фронтони.

— Тебе, видно, не очень хочется выполнять это мое повеление, но ты ведь знаешь, долг преданного слуги — выполнять любые приказания господина. Ты родился моим подданным, Джино Мональди, и, хотя с детских лет ты служишь моим гондольером в Венеции, настоящее твоё место в моих поместьях, в Неаполе.

— Я благодарен за честь, синьор, Святой Януарий тому свидетель. Но ведь здесь, на улицах Венеции, не найти ни одного продавца воды, ни одного моряка на каналах, кто не желал бы этому Якопо провалиться в преисподнюю. Он гроза всех молодых любовников; он вселяет ужас всем кредиторам на островах.

— Вот видишь, глупый болтун, значит, нашелся хоть один из числа первых; кто его не испугался. Ты разыщешь его под Мостом Вздохов, покажешь печать и вручишь, как я велел тебе, это письмо.

— Но говорить с этим негодяем — значит потерять имя честного человека! Не далее как вчера Аннина, хорошенькая дочка виноторговца с Лидо, говорила, что быть увиденным однажды в обществе Якопо Фронтони так же гнусно, как быть схваченным дважды за кражу какой-нибудь старой веревки из Арсенала, как то случилось с Родериго, кузеном ее матери...

— Вижу, твои понятия о морали те же, что и на Лидо. Так не забудь показать кольцо, не то он не поверит тебе.

— Не могли бы вы, ваше сиятельство, заставить меня вместо этого обрезать крылья льву или написать картину лучше Тициана? Мне до смерти не хочется встречаться с этим головорезом. Если кто-нибудь из гондольеров увидит, что я разговариваю с этим человеком, даже влияние вашей светлости окажется недостаточно, чтобы мне дали участвовать в гонках.

— Если он задержит тебя, терпеливо жди, Джино, а если отпустит сразу, быстрее возвращайся — я хочу поскорее знать исход дела.

— Я хорошо знаю, синьор дон Камилло, что честь дворянина более чувствительна к позору, нежели честь его слуг, и пятно на шелковой мантии сенатора заметнее, чем грязь на вельветовой куртке. Если б кто-нибудь, недостойный внимания вашей светлости, посмел оскорбить вас, Джорджио и я показали бы, как глубоко мы можем чувствовать умаление чести нашего господина; но наемник за два, или десять, или даже сотню цехинов...

— Благодарю тебя за намек, Джино! Ступай к своей гондоле и ложись спать, но прежде попроси Джорджио прийти ко мне в кабинет.

— Синьор!

— Ты, кажется, решил не выполнять ни одного моего приказа?

— Ваше сиятельство желает, чтобы я отправился к Мосту Вздохов пешком, по улице или по каналам?

— Возможно, понадобится гондола, ты отправишься по воде.

— Акробат не успеет сделать сальто, как ответ Якопо будет у вас.

С этим внезапно изменившимся решением гондольер покинул комнату, ибо вся нерешительность Джино исчезла в ту минуту, как он понял, что кто-то другой может выполнить приказание хозяина. Торопливо спустившись по потайной лестнице и миновав таким образом вестибюль, где ожидали распоряжение герцога его слуги, он прошел по узкому коридору дворца во внутренний двор и оттуда через черный ход вышел в темный переулок, который вел к ближайшей улице.

Несмотря на то, что благодаря оживившейся деятельности людей и развитию средств сообщения Атлантический океан уже не служит более препятствием даже для простых развлечений, все же не многим случилось видеть самим достопримечательности тех мест, что весьма этого заслуживают, по которым теперь так торопливо пробирался Джино. Поэтому те, кому посчастливилось побывать в Италии, извинят нас за краткое, но, как представляется, необходимое отступление — мы делаем его ради тех, кто не имел такого счастья.

Венеция расположена на нескольких низких песчаных островах. Возможно, земля, лежащая у самого залива, — если не вся огромная равнина Ломбардии, — наносного происхождения. Но каково бы ни было происхождение этих обширных и плодородных земель, причины возникновения лагун и неповторимой живописности Венеции слишком очевидны, чтобы тут возможно было ошибиться. Несколько потоков, текущих из альпийских долин, как раз в этом месте несут свою дань Адриатическому морю. Их вода приносит с собой размытые горные породы. Когда потоки теряют силу, изливаются в море, груз этот оседает на дне залива. Со временем под влиянием противодействующих течений, водоворотов и волн песчинки образовали массивные подводные мели, которые все росли, пока наконец не поднялись над поверхностью моря в виде островов, которые, в свою очередь, продолжали увеличиваться благодаря гниющим остаткам растительности. На карте видно, что там, где Венецианский залив соприкасается с Адриатическим морем, на него воздействует юго-восточный ветер — сирокко. Возможно, такое случайное обстоятельство и является причиной, по какой устья мелких потоков, несущих свои воды в лагуны, имеют более определенное строение, нежели устья большинства рек, в других местах сбегających с Альп и Апеннин в это мелкое море.

Итак, вливаясь в воды какого-либо бассейна, где одно течение погашает другое, реки намыывают здесь отмели или, говоря языком науки, банки. Берега тех мест подтверждают верность такой теории: каждая река имеет свою отмель и свои рукава, которые промываются либо половодьем, либо штормами, либо приливами и отливами. Постоянное и сильное воздействие юго-восточных ветров, с одной стороны, и повторяющиеся поло-

водья альпийских рек — с другой, превратили отмель при входе в Венецианские лагуны в непрерывный ряд длинных, низких песчаных островов, которые чередой протянулись почти что поперек горловины залива. Воды рек, разумеется, прорыли себе несколько протоков, иначе то, что теперь называется лагуной, давно превратилось бы в озеро. Следующее тысячелетие может так изменить вид этой необыкновенной местности, что протоки превратятся в широкие реки, а грязные отмели — в болота и обширные заливные луга, какие и теперь встречаются в глубине Италии.

Низкая песчаная полоса, которая защищает от моря порт Венеции и лагуны, носит название Лидо ди Палестрино. Эта полоса укреплена и защищена во многих местах, превратившись в искусственный берег. Сотня маленьких островков, отстоящих от естественного барьера на расстоянии пушечного выстрела, представляет собой остатки того, что в средние века являлось торговым центром Средиземного моря. Искусство соединилось здесь с природой, и результат оказался превосходным. Даже в наши дни трудно представить себе более удобную и лучше защищенную гавань, чем Венеция.

Множество глубоких рукавов осталось в неприкосновенности, и город во всех направлениях пересекают бесчисленные протоки, которые называют каналами, ибо видом своим они походят на них. По берегам этих протоков возвышаются прямо из воды стены домов, служащие набережными или причалами, ибо недостаток места заставляет владельцев возводить свои жилища у самой кромки канала. Острова зачастую представляют собой обыкновенные отмели, которые, обнажаясь лишь время от времени, несут на себе непосильный груз дворцов, церквей, памятников, и кажется иногда, будто покоренные человеком песчаные отмели стонут под их тяжестью.

Великое множество каналов и, возможно, стремление использовать как можно меньше усилий само подсказало людям, как устроить подъезды с воды. Но почти что все дома Венеции, выходя фасадом на каналы, имеют с противоположной стороны сообщение с внутренними улицами города. В большинстве описаний Венеции допускается ошибка: в них рассказывают о ней как о городе каналов и почти что совсем не упоминают о ее улицах,



а ведь эти тихие, узкие, мощеные, удобные и спокойные улицы пересекают все острова и соединены между собой бесчисленными мостами. И хотя там редко можно услышать стук копыт или скрип колес, все же эти прямые улицы тоже очень важны для венецианцев, которые пользуются ими в самых различных случаях.

Джино вышел из дворца потайным ходом и очутился на одной из таких улиц. Он пробирался в толпе, запрудившей ее, словно угорь, извивающийся среди водорослей лагун. На многочисленные приветствия друзей он отвечал лишь кивком головы. Гондольер очень спешил и ни разу не остановился. Наконец он подошел к дверям маленького темного домика, расположенного в той части города, где ютилась беднота. Протискиваясь среди бочек, снастей и разного хлама, Джино на ощупь отыскал дверь и, толкнув ее, очутился в небольшой комнате, свет в которую проникал только через своего рода колодец, образованный стенами этого и соседнего домика.

— Святая Анна, помилуй меня! — воскликнула бойкая девица, в голосе которой слышалось и кокетство и удивление. — Ты ли это, Джино Мональди? Пешком и через потайную дверь! Разве сейчас время для каких-то дел?

— Ты права, Аннина, час слишком поздний для каких-либо дел к твоему отцу и слишком ранний для визита к тебе. Но у меня нет времени ни для дел, ни для слов. Ради Святого Теодора или ради преданного глупца, который если и не раб тебе, то, уж конечно, твой пес, принеси поскорее ту куртку, что я надевал, когда мы с тобой ходили на празднество в Фузину.

— Я ничего не знаю о твоём деле, Джино, и не понимаю, почему ты хочешь сменить ливрею своего господина на платье простого лодочника. Эти шелковые цветы тебе гораздо больше к лицу, чем вытертый бархат. И если я говорила тебе обратное, то потому только, что мы собирались тогда на празднество, и было бы неблагодарностью не сказать тебе чего-либо приятное; ведь ты совсем не прочь услышать словечко в похвалу себе.

— Тише! Тише! Сейчас-то мы не на празднестве и одни, к тому же у меня очень важное и спешное дело. Дай мне куртку, если любишь меня!

Аннина всегда соображала быстро, хотя и не упускала случая поспорить; она тут же бросила куртку на табурет, стоявший подле гондольера, всем своим видом показывая, что у нее признания в любви не вырвешь, даже если застанешь врасплох.

— Какая там любовь! Вот твоя куртка, Джино. Ты найдешь в кармане ответ на письмо, за которое я тебя не благодарю, потому что писал его не ты, а секретарь герцога. Девушкам приходится проявлять большую осторожность в таких делах,— вдруг поверенный твоих тайн окажется соперником?

— Каждое слово там настолько верно передает мои чувства, что сам дьявол не смог бы лучше выполнить мое поручение,— пробормотал Джино, стаскивая яркий камзол и поспешно облачаясь в простую вельветовую куртку.—А шапочку, Аннина, и маску?

— Человек с таким лживым лицом не нуждается в кусочке шелка, чтобы обмануть людей,— отозвалась девушка, бросая ему между тем все, что он просил.

— Ну вот, теперь хорошо! Сам папаша Баттиста не узнал бы слугу дона Камилло Монфорте в этом платье, а ведь он уверяет, будто может с первого взгляда, по запаху отличить грешника от кающегося. Черт возьми! Я готов даже навестить того ростовщика, кому ты заложила свою золотую цепочку, и намекнуть ему, что его ожидает, если он попытается настаивать на двойных процентах против условленного.

— Это было бы по-христиански! Но что же стало бы тогда с твоим важным делом, из-за которого ты так спешишь?

— Ты права, милочка. Долг прежде всего, хотя попугать жадного ростовщика, возможно, такой же долг любого христианина, как и все остальное. Кстати, гондолы твоего отца все в разгоне?

— На чем же ему добираться на Лидо, а моему брату Луиджи — в Фузину, а двоим слугам — по обычным делам на острова? И разве я иначе осталась бы одна?

— Черт возьми! И ни одной лодки на канале?

— Ты что-то слишком торопишься, Джино,— теперь, когда надел маску и бархатную куртку. Не следовало мне впускать тебя в дом отца, когда я здесь одна, и позволить тебе переодеться, чтобы идти невесть куда в такой поздний час... Ты должен рассказать мне о своем

деле, чтобы я могла судить, правильно ли я поступила.

— Лучше попроси Совет Трехсот показать тебе книгу их приговоров. Дай-ка ключ от двери, милочка, мне надо идти.

— Не дам, пока не уверюсь, что не навлеку немилость сената на моего отца. Ты знаешь, Джино, я...

— Боже мой! Бьют часы на соборе Святого Марка! Я опоздаю! Если так случится, виновата будешь ты.

— Это будет не первая из твоих оплошностей, за которую мне придется прощать тебя. Ты не уйдешь до тех пор, пока я не узнаю, что за важное дело и зачем тебе понадобились маска и куртка.

— Ты говоришь со мной, как ревнивая жена, а не как рассудительная девушка, Аннина. Я же сказал, дело очень важное, и, если я опоздаю, будет много неприятностей.

— У кого? Что за дело? Почему ты сегодня так спешишь покинуть дом, откуда обычно тебя приходится гнать?

— Разве я не говорил тебе, что это важное дело касается шести знатных семейств, и, если я не выполню его вовремя, может произойти раздор между Флоренцией и республикой Святого Марка!

— Ничего подобного ты не говорил и думаешь, я поверю, будто ты посол Святого Марка? Хоть раз скажи правду! А не то давай назад маску и куртку и надевай ливрею герцога Святой Агаты.

— Ну, раз мы друзья, Аннина, и я вполне тебе доверяю, ты узнаешь всю правду: на колокольне сейчас пробило три четверти, так что у меня есть немного времени, чтобы открыть тебе свою тайну.

— Ты смотришь в сторону, Джино, и стараешься что-то придумать!

— Я смотрю в сторону потому, что любовь к тебе, Аннина, заставляет меня забывать свой долг. А ты принимаешь мой стыд и мою скромность за обман!

— Об этом мы сможем судить лишь когда ты все расскажешь.

— Ну, слушай! Ты, конечно, знаешь о том, что случилось с моим хозяином и племянницей того самого римского маркиза, который утонул в Джудекке из-за неосторожности анконца, опрокинувшего гондолу Пьетро,

словно у него не фелукка, а правительственная галера?

— Ну кто на Лидо не слышал эту историю по крайней мере сто раз за последний месяц! Ведь о том говорят все гондольеры, и каждый на свой лад!

— Так вот, история эта сегодня ночью, кажется, подходит к концу. Боюсь, мой хозяин собирается сделать большую глупость!

— Он хочет жениться?

— Или еще хуже. Меня послали как можно скорее, и притом тайком, отыскать священника.

Аннина с интересом слушала выдумку гондольера. Тем не менее, хорошо зная, видимо, своего поклонника, или из-за своего недоверчивого характера, или просто по привычке, она с сомнением отнеслась к его словам, и подозрения не оставляли ее.

— Этот свадебный пир окажется неожиданностью для всех,— произнесла она задумчиво.— Хорошо, приглашенных немного, а то Совет Трехсот может все испортить. В какой монастырь тебя послали?

— Я должен привести первого попавшегося, важно только, чтобы он был францисканцем и сочувствовал влюбленным, которые спешат обвенчаться.

— Дон Камилло Монфорте, наследник древнего и великого рода, не может жениться так скоропалительно! Твой лживый язык пытается обмануть меня, но ты хорошо знаешь, что тебе такое не удастся. Тебя давно следовало проучить за обман! Пока не скажешь правды, ты не только не выполнишь данное тебе повеление, но и останешься моим пленником, потому что мне скучно одной.

— Я просто делюсь с тобой своими предположениями. Но за последнее время дон Камилло столько держит меня на воде, что я способен только спать, когда хоть ненадолго избавляюсь от весла.

— Напрасно ты пытаешься обмануть меня, Джино. Твои глаза не умеют лгать, хотя язык болтает что попало. Глотни-ка из этой вот чаши и смело облегчи свою совесть, ведь ты мужчина.

— Мне хотелось бы,— сказал гондольер, осушив чашу,— чтоб твой отец познакомился со Стефано Милано. Это капитан фелукки из Калабрии. Он часто привозит сюда отменные вина своей страны, и он так ловок, что

мог бы прокатить бочку красного лакрима-кристи вдоль Бролио и ни один из гуляющих там патрициев не догадался бы о том. Сейчас он здесь, и, если ты захочешь, он сможет продать твоему отцу по сходной цене несколько бурдюков.

— Сомневаюсь, что его вина лучше наших, с виноградников песчаного Лидо. Выпей еще глоток; говорят, второй вкуснее первого.

— Если б ценность вина росла с каждым глотком, твой отец всякий раз огорчался бы при виде последней капли. Нет, ему просто необходимо познакомиться со Стефано.

— Но почему не сделать этого сейчас же? Его фелукка в порту, как ты сказал, и ты можешь проводить его в наш дом через потайную дверь с улицы.

— Ты забываешь о моем деле! Дон Камилло не привык, чтобы его приказания выполнялись не сразу. Черт побери! А жаль, если кто-нибудь другой возьмет у калабрийца вино, которое он хранит под замком.

— Твое поручение, видно, не минутное дело, а попробовать вино, о котором ты говорил, и убедиться в его достоинствах — на такое ведь не надо много времени. Если ты справишься быстро, можешь сначала идти по делам своего хозяина, а потом в порт, разыскивать Стефано. Мне не хотелось бы упустить эту покупку. Я тоже надену маску, и мы вместе пойдем к калабрийцу. Ты ведь знаешь, отец вполне доверяет моему суждению в подобных делах.

Пока Джино, ошеломленный и в то же время восхищенный, обдумывал этот замысел, ловкая и проворная Аннина быстро переоделась, скрыла лицо под шелковой маской и, заперев дверь на ключ, кивком предложила гондольеру следовать за ней.

Узкий канал, на который выходило жилище вино-торговца, был мрачным и безлюдным. Неподалеку от дома стояла простенькая гондола, и девушка села в нее, ничуть не заботясь о том, что думает обо всем этом Джино. Слуга дона Камилло некоторое время колебался, но, рассудив, что незаметно улизнуть от Аннины на другой лодке, о чем он подумывал, не удастся, так как никакой другой поблизости не оказалось, — он занял место на корме и усердно, с привычной готовностью заработал веслом.

Глава III

Я заплачу, лишь пощади мне жизнь.

Шекспир. «Генрих VI».

Присутствие девушки очень стесняло Джино. У него, как и у всех людей, имелись свои тайные честолюбивые мечты, но, пожалуй, самым сильным из всех его желаний было понравиться дочери вино-торговца. К тому же коварная Аннина угостила его таким крепким и ароматным вином, что теперь разум его был в смятении и требовалось время, чтобы он очнулся от этого сладостного забытья. Лодка плыла уже по Большому каналу и оказалась слишком далеко от того места, куда послали Джино, когда рассудок его наконец прояснился. Свежий вечерний воздух, быстрая гребля, знакомая суeta канала вернули ему рассудительность и ясность мысли. Когда лодка достигла конца канала, взгляд его уже отыскал знакомую фелукку калабрийца.

Хотя былая слава Венеции миновала, торговля города все же еще не пришла в тот упадок, какой мы наблюдаем в наши дни. Порт оставался еще забит множеством кораблей из отдаленных гаваней, и флаги большинства морских держав Европы виднелись у берегов Лидо. Луна поднялась уже высоко и лила свой мягкий свет на сверкающую воду, на возвышающийся над ее гладью лес латинских рей и легких мачт мелких суденышек, озаряя массивные корпуса тяжелых судов и их снасти.

— Ты не можешь судить о красоте судна, Аннина,— сказал гондольер, устроившись под балдахином,— а иначе я обратил бы твое внимание на этого незнакомца из Кандии. Говорят, что еще никогда судно прекраснее, чем у этого грека, не заходило на Лидо!

— Мы плывем не к купцу из Кандии, Джино, так что нажимай на весло, время не ждет.

— А у него в трюме, наверно, много терпкого греческого вина. Но что поделаешь, раз ты говоришь, что мы плывем не к нему. А вон тот высокий корабль, который стоит на якоре за одним из наших маленьких суденышек,— корабль протестанта с Британских островов. То был печальный день для нашей республики, девочка, когда она впервые допустила этого иноземца в воды Адриатики!

— А правда, ли, Джино, что рука Святого Марка оставалась ещё достаточно сильной, чтобы удержать его?

— Черт возьми! Советую тебе не задавать подобных вопросов, когда вокруг так много гондол! Видишь, сколько народу понаехало сюда из Рагузы, Тосканы, с Мальты, Сицилии, да еще небольшая флотилия французов остановилась тут же, у входа в Джудекку. Эти люди собираются вместе в море или на суше и дают волю своим болтливым языкам... Но вот мы наконец и у цели.

Искусным движением весла Джино остановил гондолу у борта фелукки.

— Привет «Прекрасной соррентинке» и ее доблестному капитану! — воскликнул гондольер, когда ступил на палубу. — Пребывает ли Стефано Милано на борту этой быстроходной и прекрасной фелукки?

Калабриец не замедлил ответить, и через несколько минут капитан и его гости уже тихо беседовали между собой.

— Я привез к тебе особу, которой хочется положить в твой карман добрые венецианские цехины, дружище, — заметил гондольер, когда все приличествующие случаю любезности оказались произнесены. — Она дочь одного из самых честных виноторговцев и готова от его имени переселить твой сицилийский виноград на острова, тогда как отец ее захочет и сможет заплатить за него.

— И она, без сомнения, очень красива, — сказал моряк с грубоватой галантностью. — Только это черное облако надо бы прогнать с ее лица.

— Маска не мешает заключить выгодную сделку. Мы в Венеции вечно, как на карнавале; и покупатель и продавец в равной степени имеют право скрыть свое лицо, как и свои мысли. Лучше скажи, что у тебя есть из запретных вин, Стефано, а то моя спутница теряет время в бесполезных разговорах.

— Черт возьми! Ты сразу берешь быка за рога, Джино! Трюм фелукки пуст, в чем ты можешь сам убедиться, спустившись туда, а что касается вина, так и мы тоже не прочь промочить горло, чтобы согреться.

— Значит, вместо того чтобы искать его здесь, — вмешалась Аннина, — нам лучше б пойти в собор и помолиться деве Марии за твое благополучное возвраще-

ние. Ну, а теперь, когда остроумие наше истощилось, мы пойдем, друг Стефано, к кому-нибудь другому, кто менее искусен в ответах.

— Черт побери! Ты сама не знаешь, что говоришь! — прошептал Джино, поняв, что осторожная Аннина и вправду собралась уйти. — Нет в Италии ни одной самой захудалой бухты, куда бы этот человек заходил, не припрятав кое-что полезное в трюмах на свой страх и риск. Одна бутылка его вина сразу решит, чьи вина лучше: твоего отца или Баттисты. Если б ты поладила с этим малым, ни один гондольер не прошел бы мимо твоей лавочки.

Аннина пребывала в нерешительности. Долгий опыт в небольшой, но выгодной и чрезвычайно опасной торговле, которую успешно вел ее отец, несмотря на бдительность и суровость венецианской полиции, подсказывал ей, что не следует выдавать свои намерения совершенно незнакомому человеку, но в то же время ей не хотелось отказываться от сделки, сулившей выгоду. Джино, разумеется, не сказал ей, в чем действительно состоит его таинственное дело, — ведь ясно, что слуге герцога Святой Агаты нет необходимости надевать маску, чтобы разыскать священника; но Аннина знала, что гондольер этот слишком привязан к ней, чтобы подвергать ее какой-либо опасности.

— Если ты полагаешь, будто один из нас может донести на тебя, — обратилась она к капитану, не пытаясь скрыть свои истинные намерения, — так Джино сможет разубедить тебя. Джино, поклянись, что меня нельзя заподозрить в вероломстве в таком деле, как это.

— Позволь сказать несколько слов на ушко земляку, — многозначительно произнес гондольер. — Стефано Милано, если ты мне друг, — продолжал он, когда они отошли в сторонку, — задержи девушку, поговори с ней, просто ради развлечения.

— Быть может, предложить ей вино дона Камилло или вице-короля Сицилии, дружище? Такого вина на борту «Прекрасной соррентинки» сколько угодно, хоть топи в нем весь флот республики.

— Если даже у тебя нет его, сделай вид, будто оно у тебя есть, и подольше не уступай ей в цене. Займи ее хоть на минуту, скажи ей какую-нибудь любезность, чтобы она не заметила, как я спущусь в гондолу, а потом, ради нашей старой и испытанной дружбы, проводи ее

самым любезным образом на набережную, самым любезным, как только сможешь, Стефано.

— Только теперь начинаю понимать тебя,— отвечал уступчивый капитан, поднося палец к кончику носа.— Я могу спорить с ней часами о букете того или иного вина или, если ты захочешь, о ее собственной красоте; но выжать из ребер фелукки хоть каплю чего-либо лучшего, чем вода лагун,— такое стало бы чудом, достойным самого Святого Теодора!

— От тебя больше ничего и не требуется, как потолковать с ней о качестве твоего вина. Эта девушка не похожа на других, и я не советую начинать с ней разговор о ее внешности, потому что ты можешь ненароком обидеть ее. Она носит маску, чтобы скрыть лицо, которое не так уж прекрасно, как ты думаешь.

Сообразительный калабриец весело и с видом неожиданного доверия обратился к Аннине:

— Джино говорил со мной откровенно, и я надеюсь, мы пойдем друг друга. Соизвольте, прекрасная синьора, спуститься в мою недостойную каюту; там будет удобнее вести переговоры к нашей общей пользе и безопасности.

Хотя Аннина еще не избавилась от сомнений, она все же позволила капитану проводить себя до лестницы в каюту, и, казалось, готова была спуститься туда. Но не успела она повернуться спиной к Джино, как тот соскользнул в гондолу, которая от толчка его сильной руки сразу же отошла настолько далеко от борта фелукки, что теперь прыгнуть в нее оказалось уже невозможно. Прodelал он всё это быстро, неожиданно и бесшумно, но зоркие глаза Аннины заметили исчезновение гондольера, хотя она уже не в силах была помешать ему. Не выдавая охватившего ее волнения, девушка позволила проводить себя вниз, словно все происходило так, как предполагалось заранее.

— Джино говорил, будто у тебя есть лодка, которой я смогу воспользоваться, чтобы добраться до набережной, когда мы кончим переговоры,— заметила она, не теряя присутствия духа, несмотря на уловку своего приятеля.

— Зачем же лодка? Вся фелукка к вашим услугам,— галантно отвечал моряк, пока они спускались в каюту.

Очутившись наконец на свободе, Джино взялся за весло с удвоенным рвением. Легкая лодка, отклоняясь то в одну, то в другую сторону, ловко лавировала между судами, избегая столкновений, пока не достигла узкого канала, отделяющего Дворец Дожей от более прекрасного классического сооружения, где находилась тюрьма республики. Мост, что соединяет обе набережные, остался позади, потом над головой Джино проплыла знаменитая арка, та арка, которая поддерживает крытую галерею, ведущую из верхнего этажа Дворца Дожей в тюрьму и которая была так поэтично и, можно добавить, так печально-трогательно названа Мостом Вздохов, ибо по ней проводили обвиняемых, когда им надлежало предстать перед лицом своих судей.

Джино ослабил удары весла, и гондола подплыла к лестнице, нижние ступени которой, как обычно, захлестывали легкие волны. Джино прыгнул на низкую плиту и, воткнув маленький железный багор на веревке в расселину между плитами, оставил свою лодку под защитой этого ненадежного, но привычного крепления. Предприняв эту нехитрую предосторожность, гондольер быстро прошел под массивной аркой — водными воротами дворца — и очутился в его огромном, но мрачном дворе.

В этот час веселья, царившего на прилегающей к дворцу площади, здесь было тихо и пустынно. Лишь одна женщина-водонос стояла у колодца и ждала, пока бассейн наполнится родниковой водой, чтобы зачерпнуть ее своими бадьями; от нечего делать она рассеянно прислушивалась к гулу веселой толпы на площади. Часовой с алебардой расхаживал по открытой галерее у верхней площадки Лестницы Гигантов; то здесь, то там под угрюмыми, тяжелыми сводами длинных коридоров дворца раздавались шаги других часовых. Ни одно окно не светилось в этом здании, которое являло собою символ таинственной власти, вершившей судьбы Венеции и ее горожан. Прежде чем Джино выбрался из темного прохода, по которому шел, он заметил в противоположных воротах двух или трех любопытных; остановившись, они с интересом оглядели пустынный, внушительный дворец, наводивший ужас на людей, а затем влились в беззаботную толпу, кружившую поблизости от этого тайного и беспощадного трибунала, ибо человеку свойственно бездумно веселиться даже на краю неизвестного будущего.

Раздосадованный, что не нашел здесь того, кого искал, гондольер пошел вперед, втайне надеясь, что он вообще избежит этой встречи, набрался храбрости и рискнул обнаружить себя громким покашливанием. В то же мгновение темная фигура скользнула во двор со стороны набережной и быстро двинулась к середине его. Сердце Джино отчаянно забилося, но он сумел овладеть собой. Когда они приблизились друг к другу, Джино заметил при свете луны, проникавшем и в это мрачное место, что незнакомец тоже в маске.

— Да благословят вас Святой Теодор и Святой Марк! — произнес гондольер. — Если не ошибаюсь, вы тот самый человек, к которому меня послали.

Незнакомец вздрогнул и, казалось, хотел пройти мимо, но внезапно остановился.

— Может быть, — да, а может быть, — нет! Сними маску, чтобы я мог судить по твоему лицу, правду ли ты сказал.

— С вашего позволения, достойный и уважаемый синьор, и по повелению моего господина, я предпочел бы укрыться от вечерней прохлады за этим кусочком картона и шелка.

— Здесь тебя никто не выдаст, даже будь ты в чем мать родила. Но, если я не знаю, кто ты, как могу я довериться твоей честности?

— Я и сам питаю больше доверия к открытым лицам, синьор, и потому предлагаю вам самому показать, какими чертами наделила вас природа, а то ведь доверяться-то должен я, и мне нужно быть уверенным, что вы и есть тот самый человек.

— Слова твои справедливы и показывают, что ты благоразумен. Но я не могу снять маску; и, так как мы с тобой вряд ли договоримся, я пойду дальше... Счастливейшей тебе ночи!

— Черт возьми! Синьор, для меня вы слишком быстры в своих мыслях и решениях — я ведь совсем не искушен в переговорах такого рода. Вот кольцо. Может быть, печать на нем поможет нам лучше понять друг друга.

Незнакомец взял драгоценность и повернул камень к свету; разглядев его, он вздрогнул от удивления и удовольствия.

— Здесь сокол, герб неаполитанца. Кольцо принадлежит владельцу замка Святой Агаты!

— И многих других поместий, добрый синьор, не говоря уж о тех привилегиях, которых он добивается здесь, в Венеции. Значит я прав и поручение мое — к вам?

— Ты нашел человека, у которого нет сейчас более важного дела, чем служить дону Камилло Монфорте. Но ведь ты пришел сюда не только затем, чтобы показать мне кольцо?

— Разумеется, нет. У меня есть письмо, и я тотчас передам его адресату, как только буду уверен, что говорю именно с ним.

Незнакомец задумался на мгновение, затем, оглядевшись вокруг, поспешно ответил:

— Здесь не место снимать маски, друг, даже если бы мы носили их просто ради удовольствия. Жди меня здесь, я скоро вернусь и проведу тебя в более надежное место.

Едва были произнесены эти слова, как Джино оказался посредине двора один. Незнакомец в маске быстро удалялся и был уже около подножия Лестницы Гигантов, прежде чем гондольер пришел в себя от неожиданности. Быстрыми, легкими шагами незнакомец поднялся по лестнице, и, не обращая внимания на алебарщика, приблизился к первому из нескольких отверстий в стене дворца, окруженных барельефами в виде львиных голов, куда, как было известно, опускали тайные доносы и которые назывались Львиными пастьями. Он что-то кинул в эту ухмыляющуюся мраморную пасть, но Джино оставался далеко, а в галерее царил полумрак, и гондольер не разглядел, что именно он туда бросил. Потом Джино увидел, как незнакомец заскользил, словно привидение, вниз по массивным ступеням лестницы.

Гондольер вновь вернулся к арке водных ворот, ожидая, что незнакомец сейчас подойдет к нему, но тут же с ужасом увидел, как тот быстро выбежал в открытые ворота дворца, ведущие на площадь Святого Марка. Не теряя ни минуты, Джино бросился за ним, но, очувшившись на светлой, сверкающей весельем площади, не похожей на мрачный двор, который только что покинул, как день не похож на ночь, он сразу понял, что преследовать незнакомца бесполезно. Испуганный потерей кольца с печатью, которое он так неосторожно, хотя и с лучшими намерениями сам отдал, гондольер тем

не менее бросился в толпу, тщетно пытаясь отыскать вора среди тысячи масок.

— Послушайте, синьор! — обратился отчаявшийся гондольер к человеку в маске, который недоверчиво оглядел его, и, очевидно, решил пройти мимо. — Если вы уже достаточно налюбовались кольцом моего хозяина на своем пальце, то сейчас вам представляется удобный случай вернуть его.

— Я не знаю тебя, — ответил голос, и Джино не уловил в нем знакомых ноток.

— По-моему, не стоит навлекать на себя гнев такого знатного господина, как тот, кого ты хорошо знаешь, — шепнул он другой подозрительной маске. — Отдай кольцо, и на этом все кончится.

— С кольцом или без кольца — лучше брось эту затею, пока не поздно!

Гондольер вновь отошел ни с чем.

— Кольцо не подходит к твоему костюму, мой друг, — сказал он третьему, — и разумнее не беспокоить подеста¹ из-за такой мелочи.

— Тогда не говори о том, а не то как бы он сам тебя не услышал!

Такой ответ, как и все другие, не удовлетворил гондольера. Он больше не пытался ни с кем заговаривать и молча пробирался в толпе, пытливо вглядываясь в окружающих его людей. Много раз у него появлялось желание заговорить, но тотчас чуть заметная разница в фигуре или одежде, смех или случайное слово, сказанное шутя, предупреждали его об ошибке. Он прошел площадь из конца в конец, потом вернулся противоположной стороной и снова, пробираясь сквозь толпу, заглядывал в каждую кофейню под галереями, внимательно присматривался к каждой фигуре, пока опять не очутился на Пьяцетте, но все было тщетно. Вдруг кто-то легонько дернул его за рукав. Он обернулся: перед ним стояла женщина в костюме трактирщицы. Она обратилась к нему, явно стараясь изменить голос:

— Куда ты так торопишься и что ты потерял в этой веселой толпе? Если сердце, было б умней вернуть эту драгоценность, а то ведь здесь найдется немало охотниц до нее.

¹ Подеста — судья (ит.).

— Черт побери! — воскликнул разочарованный гондольер. — Если кто-нибудь и найдет у себя под ногами такую безделицу, на здоровье! Не видела ли ты здесь домино среднего роста, с походкой сенатора, или священника, или ростовщика в маске, которая так же похожа на тысячи других масок на этой площади, как одна сторона Кампаниллы на другую?

— Ты так хорошо нарисовал портрет, что нетрудно узнать оригинал. Он позади тебя.

Джино резко обернулся и там, где он ожидал найти незнакомца, увидел арлекина; тот смеялся и паясничал.

— У тебя зрение, как у крота, прекрасная трактирщица...

Но Джино не договорил — обманувшись в нем, веселая трактирщица исчезла.

Вконец разочарованный, гондольер с трудом пробирался к каналу, то отвечая на шутливые приветствия какого-либо клоуна, то отклоняя заигрывания женщин, менее скрытых маской, чем мнимая трактирщица, пока наконец не добрался до набережной, где оставалось больше свободного места и откуда легче было наблюдать за толпой. Наконец он остановился между двумя гранитными колоннами, раздумывая, как поступить: вернуться ли к господину и признаться в своей неосторожности или попытаться отыскать кольцо, так глупо потерянное. И тут он вдруг обнаружил, что рядом, у пьедестала крылатого льва, кто-то стоит так неподвижно, точно высеченный из камня.

Два-три раза какие-то гуляки, влекомые то ли праздным любопытством, то ли надеждой встретить того, с кем было назначено свидание у колонн, приближались к этому окаменевшему человеку и сразу же уходили прочь, словно его неподвижная фигура вызывала у них непреодолимое отвращение. Видя все это и удивляясь странному поведению людей, Джино решил узнать, в чем причина их столь явного нежелания оставаться рядом с неизвестным, и пересек разделявшее их пространство между колоннами. Услышав звук приближающихся шагов, незнакомец медленно обернулся, лунный свет упал прямо на его лицо, и Джино вдруг поймал на себе испытующий взгляд того, кого так долго искал.

Первым побуждением гондольера, как и всех других, подходивших к этому месту, было желание уйти, но, вспомнив о поручении и пропавшем кольце, он поста-

рался не выказать свое отвращение и страх. Он молча встретил пронизывающий взгляд браво и, хоть и смущенный, решительно смотрел на него в упор несколько мгновений.

— Что тебе надо от меня? — спросил наконец Якопо.

— Кольцо с печатью моего хозяина.

— Я тебя не знаю.

— Святой Теодор подтвердил бы, что я не обманщик, если б он только пожелал заговорить! Я не имею чести быть вашим другом, синьор Якопо, но ведь иногда приходится иметь дело и с незнакомцем. Если вы встретили мирного и ни в чем не повинного гондольера во дворе дворца, когда часы на площади пробили последнюю четверть, если вы получили от него кольцо, которое никому не нужно, кроме его настоящего владельца, то будьте же великодушны — верните его.

— Ты, вероятно, принимаешь меня за ювелира с Риальто и потому говоришь о кольцах?

— Я принимаю вас за человека, которого хорошо знают и ценят многие знатные семьи Венеции. Доказательством тому может служить поручение моего хозяина.

— Сними маску. Людям с честными намерениями незачем прятать лицо.

— Вы правы, синьор Фронтони; да и неудивительно. Ваш взгляд всегда пронзает человека насквозь. В моем лице нет ничего такого, ради чего вам стоило бы взглянуть на него. Если не возражаете, я предпочел остаться в том виде, в каком многие пребывают в этот праздничный день.

— Поступай как знаешь, но я тоже тогда, с твоего разрешения, останусь в маске.

— Не многие осмелятся перечить вашему желанию, синьор.

— Я желаю остаться один.

— Черт побери! В Венеции, пожалуй, нет человека, который охотнее меня согласился бы на это, — пробормотал Джино сквозь зубы, — но я должен выполнить повеление господина. У меня, синьор, письмо, и мой долг — передать его в руки вам и никому другому.

— Я не знаю тебя. У тебя есть имя?

— Смотря в каком смысле, синьор. Что касается известности, то имя мое вам так же неведомо, как имя какого-нибудь подкидыша.



— Если твой хозяин известен не более, чем ты сам, не трудись передавать его письмо.

— Не многие в республике Святого Марка имеют такое происхождение и такое будущее, как герцог Святой Агаты.

Надменное выражение исчезло с лица браво.

— Если ты от донна Камилло Монфорте, что же ты сразу не сказал об этом? Что ему угодно?

— Не знаю, ему ли угодно то, что содержится в этих бумагах, или кому другому, но долг обязывает меня вручить их вам, синьор Якопо.

Письмо было принято спокойно, хотя взгляд, который остановился на печати и надписи, легковерный гондольер мысленно сравнил со взглядом тигра, почуявшего кровь.

— Ты говорил о каком-то кольце. Ты принес мне печать своего хозяина? Я не привык верить на слово.

— Святой Теодор свидетель, оно было у меня! Будь оно даже тяжелее меха с вином, я все равно с радостью принес бы вам этот груз, но, боюсь, тот, кого я ошибочно принял за вас, синьор Якопо, теперь носит это кольцо на пальце.

— Ну, об этом ты рассказывай своему господину,—холодно отозвался браво, вглядываясь в оттиск печати.

— Если вам знаком почерк моего хозяина,—поспешно заметил Джино, страшась за судьбу письма,—то вы сможете убедиться, что письмо написано им. Ведь не многие знатные господа в Венеции да, пожалуй, и по всей Сицилии умеют так искусно действовать пером, как дон Камилло Монфорте; мне никогда не написать и вполтину так хорошо.

— Я человек необразованный и никогда не учился разбирать почерки,—признался браво, ничуть при этом не смутившись.—Если ты так хорошо разбираешься в грамоте, скажи, что за имя написано на конверте.

— Никто не услышит от меня ни слова о тайнах моего господина,—отвечал гондольер, гордо вскинув голову.—Достаточно и того, что он доверил мне письмо, и я никогда не отважился бы сказать хоть слово о чем-либо еще.

При свете луны темные глаза браво окинули собеседника таким взглядом, что у того кровь заледенела в жилах.

— Приказываю тебе вслух прочесть имя, написанное на конверте,— повелительно произнес Якопо.— Здесь нет никого, кроме льва да святого над нашими головами. Тебя никто не услышит.

— Праведный Боже! Разве можно знать, чьи уши в Венеции слышат, а чьи остаются глухи? Если позволите, синьор Фронтони, лучше отложить это испытание до более удобного случая.

— Меня не так легко одурачить! Прочти имя или покажи кольцо, чтоб я убедился, что ты послан тем, кого называешь своим господином. А иначе бери назад письмо, и эта затея не для меня.

— Не спешите с решением, синьор Якопо, подумайте о последствиях.

— Не понимаю, какие последствия могут ожидать человека, который отказывается принять такое поручение!

— Проклятие! Синьор, ведь герцог не оставит мне ушей, чтобы слушать добрые советы папаши Баттисты!

— Что ж, герцог облегчит работу палачу, только и всего! — Сказав так, браво кинул письмо к ногам гондольера и спокойно зашагал по Пьяцетте. Джино схватил письмо и, лихорадочно стараясь припомнить кого-нибудь из знакомых своего господина, чье имя могло стоять на конверте, побежал за браво.

— Удивляюсь, синьор Якопо, как вы, такой проницательный человек, не смогли сразу же догадаться, что на пакете, который вручают вам, должно стоять ваше собственное имя.

Браво взял письмо и снова повернул его к свету.

— Это не так. Хоть я и не учился читать, но свое имя всегда разберу.

— Боже мой! Ведь то же самое и со мной, синьор. Будь это письмо мне, я в два счета догадался бы о том.

— Значит, ты не умеешь читать?

— Никогда и не говорил, будто умею. Я сказал только, что немного умею писать. Грамота, как вы хорошо понимаете, синьор Якопо, состоит из чтения, письма и знания цифр, и человек может хорошо знать одно, совсем не разбираясь в другом. Ведь не обязательно быть епископом, чтобы брить голову, или ювелиром — чтобы носить бороду.

— Сразу бы так и сказал! Ладно, ступай, я подумаю.

Джино с радостью повернул назад, но, сделав несколько шагов, заметил женщину, которая поспешно скрылась за пьедесталом одной из гранитных колонн. Он побежал за ней следом, решив во что бы то ни стало узнать, кто подслушивал их разговор с Якопо, и убедился, что свидетельницей его беседы с браво была Аннина.

Глава IV

О нет, шары напомнят мне о том,
Что на пути у нас стоят преграды
И что удары мне судьба готовит.

Шекспир. «Ричард III».

Хотя на главных площадях Венеции в этот час царило веселье, в остальной части города стояла могильная тишина. Город, в котором никогда не услышишь цоканья копыт или скрипа колес, уже одним этим отличается от других; к тому же особые формы правления и многолетняя привычка народа к осторожности наложили отпечаток даже на веселье венецианцев. Правда, и здесь молодежи случалось по временам проявить жизнерадостность, легкомыслие и беззаботность, и случалось это нередко, но, когда соблазны под запретом и нет никакой поддержки со стороны общества, люди неизбежно усваивают характер своего мрачного города.

Так жила большая часть Венеции в те времена, когда на оживленной площади Святого Марка произошла сцена, описанная в предыдущей главе.

Луна поднялась так высоко, что лучи ее уже проникли в узкие проходы между домами, освещая то тут, то там поверхность воды, которая сверкала зыбью, а купола и башни, залитые светом, покоились, торжественные и величавые даже во сне. Скользящие лунные лучи падали на фасад дворца, освещая его тяжелые карнизы и массивные колонны, и мрачная тишина, царившая внутри этого здания, казалось, состояла в резком несоответствии с кричащим богатством архитектурных украшений фасада... Наше повествование привело нас теперь в один из самых пышных дворцов венецианских патрициев.

Здесь властвовали роскошь и богатство. Просторный вестибюль с массивными сводами, тяжелая, величественная мраморная лестница, комнаты с изваяниями, со стенами, увешанными творениями величайших художников Италии, щедро вложивших в них свой талант,— все производило здесь необыкновенное впечатление. Среди этих реликвий времен более счастливых, нежели те, что мы описываем, знаток сразу же узнал бы кисть Тициана, Паоло Веронезе и Тинторетто — трех гигантов, которыми справедливо гордились граждане республики Святого Марка. Можно было встретить здесь и картины других художников — Беллини, Мантеньи и Пальмы Веккио, которые уступали только самым прославленным колористам венецианской школы. В простенках между картинами сверкали огромные зеркала, а портьеры из бархата и шелка уже не в силах были соперничать со всем этим поистине царским великолепием. Прохладные полы, инкрустированные лучшим мрамором Италии и Востока, отполированные до ослепительного блеска, завершали великолепие, сочетая в себе в равной мере богатство и вкус.

Здание, два фасада которого буквально поднимались из воды, окаймляло темный внутренний двор. Скользя по его стенам, взгляд мог проникнуть и внутрь дворца, ибо многие двери его оставались открыты в этот час, чтобы свежий воздух с моря свободно заполнил анфилады комнат, обставленных, как то описано ранее. Всюду горели лампы, затененные абажурами, озаряя все мягким, приятным светом. Миновав гостиные и спальни, роскошь которых казалась насмешкой над обычными желаниями брэнного тела, мы теперь введем читателя в ту часть дворца, куда влечет нас ход нашего повествования.

В удаленном от Большого канала углу здания, в той стороне, что выходила окнами на тесный, узкий канал, размещались удобные комнаты, так же богато обставленные, но гораздо более пригодные для жилья. Здесь тоже висели портьеры из драгоценнейшего бархата и огромные зеркала безупречного стекла, полы были выложены мрамором таких же веселых, приятных тонов, а стены украшены картинами. Но все это, в отличие от других помещений дворца, оказывалось смягчено домашним уютом. Гобелены и занавеси свисали небрежными складками, на кроватях можно было спать, а кар-

тины на стенах представляли собою лишь искусные копии, писала которые молодая девушка, заполнявшая свой досуг этим благородным и прекрасным занятием.

Прекрасна была и сама она, рано научившаяся передавать в искусных подражаниях божественную выразительность Рафаэля или яркость красот Тициана. В тот час уединения она беседовала со своим духовным отцом и наставницей, которая давно уж заменила ей умершую мать. Хозяйка дворца казалась столь юной, что во многих северных странах ее считали бы девочкой, но в родной ее стране молодые девушки такого возраста считались уже взрослыми.

— За этот добрый совет благодарю вас, падре, а мудрая донна Флоринда, вероятно, еще более признательна вам, поскольку ваше мнение так схоже с ее собственным, что я иногда просто восхищаюсь теми тайными путями, какими опыт заставляет мудрых и добрых мыслить одинаково даже в деле, столь далеком от вас обоих.

Едва заметная усмешка тронула тонкие губы кармелита, когда он услышал наивное замечание своей воспитанницы.

— Когда и тебя умудрят годы, дитя мое, ты узнаешь,— отвечал он,— что как раз дела, менее всего касающиеся наших страстей и выгод, нам легче всего решить благоразумно и беспристрастно. Донна Флоринда еще не в том возрасте, когда сердце подчинено рассудку, и многое связывает ее с миром, но все же она сумеет убедить тебя в правоте моих слов, или я сильно ошибаюсь в ее благоразумии, которое до сих пор указывало ей верный путь в жизни, этом греховном путешествии, на которое обречены мы все.

Хотя монах уже накинул капюшон, видимо, собираясь уходить, а дружелюбный взгляд его глубоко посаженных глаз все время оставался устремленным на прекрасное лицо юной воспитанницы, кровь прилила к бледным щекам донны Флоринды, когда она услышала слова похвалы от кармелита — словно хмурое зимнее небо озарилось внезапно лучами заходящего солнца.

— Мне кажется, Виолетта слышит это уже не впервые,— робко произнесла она дрогнувшим голосом.

— Думаю, меня научили уже почти всему, что может оказаться полезным столь неискушенной девушке,

как я,— быстро ответила Виолетта, невольно протягивая руки к своей верной наставнице и не сводя взгляда с лица кармелита.— Но почему сенат распоряжается судьбой девушки, если она довольна своей жизнью, если она счастлива и не тяготится уединением, вполне приличествующим ее возрасту и званию?

— Время безжалостно стремится вперед, и разве может такое невинное существо, как ты, предугадать испытания и беды, подстерегающие нас в более зрелом возрасте! Жизнь — одна из наших непреложных и иногда очень тяжких обязанностей. Ты ведь знаешь, каким образом действует государство, создавшее себе славное имя великими военными походами, богатством и широким влиянием на другие страны. В Венеции есть закон, который запрещает родниться с иноземцами тем, кому дороги ее интересы, так как прежде всего каждый должен преданно служить республике. Таким образом, патриций Святого Марка не может владеть землей в других странах, а отпрыск такого старинного и почитаемого рода, как твой, не может вступить в брак с иностранцем, хотя бы и из благородной семьи, без благословения и согласия тех, кто призван заботиться о всеобщем благе.

— Если б я родилась среди простых людей, этого не случилось бы. Мне кажется, несчастна та женщина, участь которой составляет особую заботу Совета Десяти!

— Слова твои неосторожны и, должен сказать с грустью, неблагочестивы. Долг повелевает нам подчиняться земным законам, но еще более, чем долг, благочестие учит нас не роптать на волю Провидения. К тому же твоя обида не так велика, чтобы роптать, дочь моя; ты молода, богатство твое способно удовлетворить любую твою прихоть, твой род так знатен, что может вызвать недостойную мирскую гордыню, и ты столь красива, что красота твоя может сделаться самым опасным твоим врагом. И ты еще ропщешь на судьбу, которой неизбежно должны покориться все женщины твоего сословия.

— Я уже раскаиваюсь,— отвечала донна Виолетта,— что роптала на Провидение, но все-таки шестнадцатилетней девушке было бы приятнее, если б отцы государства, занятые куда более важными делами, забыли о ее происхождении, возрасте и злополучном богатстве.

— Нет никакой добродетели в том, чтобы остаться довольным миром, устроенным в соответствии с нашими собственными прихотями. И не знаю, кто счастливее: кто имеет все, чего желает, или кто вынужден довольствоваться тем, что есть. А заботливость, которую проявляет к тебе республика,— это цена за покой и роскошь, окружающие тебя. Женщина неизвестная и не столь богатая, как ты, могла бы, конечно, наслаждаться большей свободой, но ей не сопутствовала бы в жизни та пышность, что украшает жилище твоих предков.

— Мне хотелось бы, чтоб здесь, в этих стенах, оказалось меньше роскоши и больше свободы.

— Со временем ты станешь думать иначе. В твоём возрасте люди обычно видят все в розовом свете или наоборот—считают свою жизнь пустой и бесполезной, ибо желания их не удовлетворены. Признаю тем не менее, что тебе выпала нелегкая доля. Действия венецианских властей диктует расчет, и многие называют их жестокими.— Кармелит понизил голос и невольно огляделся вокруг, прежде чем закончить свою мысль.— Осторожность сената заставляет его не допускать, насколько это возможно, объединения интересов, не только противоречащих друг другу, но и опасных для государства. Поэтому никто, начиная с сенатора, не может, как я уже говорил тебе, иметь владения за пределами республики, а лица знатного происхождения не могут связать себя узами брака с иноземцами, пользующимися опасным влиянием, если на то нет согласия республики. Это касается и тебя, ибо среди нескольких знатных иноземцев, которые ищут твоей руки, Совет не нашел ни одного, кому можно оказать эту честь, не опасаясь допустить здесь, на каналах, неподобающее влияние иностранца. У дона Камилло Монфорте, кому ты обязана жизнью и о ком ты недавно говорила с такой признательностью, во всяком случае, больше причин роптать на эти суровые законы, чем у тебя.

— Меня бы очень огорчило, если б человек, проявивший столько мужества, спасая меня, оказался бессилен пред лицом их жестоких законов,—с живостью отозвалась Виолетта.— Но что, к счастью для меня, привело герцога Святой Агаты в Венецию, если благодарная ему девушка вправе спрашивать о том?..

— Твой интерес к нему естествен и похвален,— отвечал кармелит с простодушием, делавшим честь скорее его сутане, чем наблюдательности.— Он молод, избалован судьбой и, конечно, подвержен всем слабостям своего возраста. Не забывай его в своих молитвах, дочь моя; таким образом ты хоть немного отблагодаришь его. Светские же похождения его известны в городе, и ты ничего не знаешь о них лишь потому, что живешь в уединении.

— У моей воспитанницы есть более интересные занятия, чем думать о молодом незнакомце, приезжающем в Венецию, чтобы искать приключений всякого рода,— мягко заметила донна Флоринда.

— Но если я должна о нем молиться, падре, мне необходимо знать, что ему нужнее всего.

— Мне б хотелось, чтобы ты молилась лишь о его духовных нуждах. Говоря откровенно, у него есть все, чего может желать человек, хотя тот, кто имеет много, обычно желает большего. Предок донна Камилло, кажется, был когда-то сенатором Венеции, но после смерти одного из родственников он унаследовал много земель в Калабрии. Потом эти земли по особому указу за большие заслуги перед правительством получил его младший сын, а старший унаследовал титул сенатора и состояние отца в Венеции. Со временем ветвь старшего сына заглохла, и дон Камилло вот уже много лет добивается в сенате восстановления в правах, от которых когда-то отрекся его предшественник.

— И ему могут отказать?

— Его требования влекут за собой нарушение установленных законов. Но, если б он отрекся от своих владений в Калабрии, то проиграл бы больше, чем выиграл. Владеть же и тем и другим — значит нарушить закон, который не терпит исключений. Я плохо знаю светскую жизнь, дитя, но враги республики говорят, будто ей не легко служить, ибо за каждую подобную милость она требует возмещения сторицей.

— Разве это справедливо? Если дон Камилло предъявляет свои права на дворцы среди каналов или на земли, если он требует от правительства привилегий и голоса в сенате, следовало бы вернуть ему все это, иначе в конце концов скажут, будто республика не доказывает на деле тех своих великих добродетелей, какими кичится.

— Ты рассуждаешь очень наивно, дитя мое. Человеческой натуре свойственно отделять свой общественный долг от забот о личных своих делах. Как будто Бог, наградив человека разумом и великими надеждами христианства, вселил в него две души, из коих заботиться нужно лишь об одной.

— Неужели люди не понимают, что каждый человек сам в ответе за свои грехи, а грех, совершенный государством, падает на весь народ?

— Гордыня человеческого разума изобретает всевозможные уловки, потакая своим страстям. Но это заблуждение — самое роковое! Преступление, которое бросает тень на многих или пагубно для многих, — вдвойне преступление; и, хотя грех влечет за собой возмездие даже на этом свете, тот, кто надеется на прощение потому лишь, что грех его не столь велик, надеется тщетно. Наше спасение в том, чтобы устоять перед соблазном; только тот в безопасности, кто дальше всех ушел от обольщений мира и его пороков. И, хотя я желал бы только справедливости для достойного неаполитанца, боюсь, лишнее богатство может помешать спасению его души.

— А я не могу поверить, падре, будто человек, который с такой готовностью пришел на помощь ближнему в несчастье, станет злоупотреблять дарами судьбы.

Кармелит с беспокойством глянул на прекрасное лицо юной венецианки. В этом взгляде смешались отеческая заботливость и пророческое предчувствие, но из глаз девушки глядела ее чистая душа, и это успокоило его.

— Благодарность спасшему тебя — святая обязанность, твой долг. Береги это чувство, оно сродни другой святой обязанности человека — благодарности его создателю.

— Разве достаточно только чувствовать себя благодарной? — воскликнула с горячностью Виолетта. — С моим мнением и связями возможно большее. Мы можем расположить патрициев моего рода в пользу иностранца, и тогда, вероятно, его прошение удовлетворят скорее.

— Будь осторожна, дочь моя! Вмешательство того, в ком так заинтересована республика Святого Марка, способно увеличить число врагов, а не друзей дона Камилло.

Виолетта умолкла, монах и донна Флоринда с любовью и тревогой смотрели на нее. Потом монах надвинул на глаза капюшон и собрался уходить. Благородная девушка подошла к нему и, доверчиво глядя в глаза, с

привычной почтительностью попросила благословить ее. Когда эта торжественная церемония окончилась, кармелит обернулся к наставнице своей духовной дочери. Та отложила кусок шелка, по которому усердно вышивала, и сидела в благоговейном молчании, пока монах держал руки простертыми над ее склоненной головой. Губы его шевелились, но слов благословения не было слышно. Будь девушка, врученная их совместной заботе, менее занята собственными мыслями или более искушена в делах того мира, в который намеревалась вступить, она, возможно, заметила бы ту глубокую, хоть и сдерживаемую симпатию, что так часто проскальзывала в безмолвных сценах между ее духовным отцом и наставницей.

— Не забывайте о нас, надре,— сказала Виолетта с подкупающей искренностью.— Сирота, чьей судьбой так живо интересуется республика, очень нуждается в настоящих друзьях.

— Благослови Бог всех твоих заступников,— промолвил монах,— и да пребудет душа твоя в мире.

Он еще раз поднял руку, и медленно вышел из комнаты. Донна Флоринда не отрывала взгляда от белых одежд монаха, пока тот не скрылся из вида, и, обратившись снова к вышиванию, на мгновение смежила века, словно прислушиваясь к укоризненному голосу разума.

Молодая хозяйка дворца позвала слугу и велела со всеми почестями проводить духовника в его гондолу. Затем она вышла на балкон и долго стояла там в молчании. В этот час прекрасный итальянский город отдыхал, погруженный в задумчивость, объятый тишиной и овеваемый легким ветром. Вдруг Виолетта в тревоге отпрянула назад.

— Что там такое, лодка? — спросила донна Флоринда, невольно заметившая это движение.

— Нет, вода внизу спокойна. Но ты слышишь звуки гобоя?

— Разве они так необычны на каналах, что напугали тебя?

— Но там, внизу, под окнами дворца Ментони — кавалеры! Они поют серенаду моей подруге Оливии!

— Такая галантность здесь не редка. Ты ведь знаешь, что Оливия скоро соединится со своим женихом; вот он и изъясняется в любви, как то принято здесь.

— А тебе не кажется, что открытое признание в любви неприятно? Если б я стала невестой, мне хотелось бы, чтобы слова любви предназначались только мне.

— Какое неподходящее настроение для той, чья рука — подарок сената! Боюсь, что столь знатной девушке, как ты, придется услышать, как кавалеры будут перевозносить ее красоту и прославлять ее добродетели даже с помощью каких-нибудь наемных певцов!

— Хоть бы они скорее кончили! — воскликнула Виолетта, закрывая уши. — Никто не знает достоинств моих подруг лучше меня, но это всенародное изъявление столь глубоких чувств, наверное, обидит ее.

— Ты можешь снова выйти на балкон, музыка прекратилась.

— Вот теперь я слышу, как у Риальто поют гондольеры. Эти песни я очень люблю. Приятные сами по себе, они не оскорбляют наших сокровенных чувств. Не хочешь ли покататься по каналам, моя Флоринда?

— А куда ты хотела бы поехать?

— Я не знаю, но вечер так прекрасен, что мне хочется слиться с его очарованием и насладиться прогулкой по каналам.

— А в это время многие тысячи людей на каналах страстно желали бы слиться с очарованием твоего дворца и насладиться прогулкой по его комнатам... Такова жизнь! Все мы мало дорожим тем, чем владеем, а то, чего у нас нет, представляется нам бесценным.

— Я должна побывать у своего опекуна, — сказала Виолетта. — Мы поедем к нему во дворец.

Хотя донна Флоринда и высказала столь важную мысль, суровости в ее голосе не слышалось. Отложив в сторону работу, она приготовилась исполнить желание своей воспитанницы. В этот час люди высшего общества, да и всех других сословий, обычно отправлялись на прогулку; ведь Венеция с ее веселыми толпами и сам мягкий климат Италии неудержимо влекли людей насладиться вечерней прохладой.

Позвали слугу, тот окликнул гондольеров, и дамы, завернувшись в мантильи и захватив с собой маски, быстро спустились в гондолу, ожидавшую их у подъезда дворца.

Глава V

...Если
Твой повелитель хочет, чтоб царица
Просила подаянья, то скажи,
Что подаянья меньшего, чем царство,
Просить не подобает государям.

Шекспир. «Антоний и Клеопатра».

Скользя плавно и бесшумно, гондола вскоре доставила прекрасную венецианку и ее наставницу к водным воротам дома знатного господина, которому сенат оказал высокую честь, сделав опекуном богатой наследницы. Необыкновенно мрачный дворец этот отличался пышной и величавой роскошью, столь характерной для жилищ патрициев этого гордящегося своим богатством города. Хотя размеры и архитектура здания и не производили такого впечатления, какое оставлял дворец донны Виолетты, оно относилось к лучшим постройкам города, а убранство его фасадов говорило, что владелец его — один из знатнейших патрициев республики. Бесшумные шаги и молчаливая подозрительность обитателей этих великолепных, мрачных покоев как бы воссоздавали в миниатюре образ самой республики.

Обе посетительницы не впервые переступали порог дворца синьора Градениго — ибо таково имя его владельца — и потому поднялись по массивной лестнице, не обращая внимания на особенности здания, которые, несомненно, вызывали бы интерес постороннего, впервые попавшего сюда.

Знатность донны Виолетты и ее положение в этом доме обещали ей неизменно радушный прием; пока слуги, низко кланяясь, вели ее наверх, кто-то уже успел известить хозяина о ее приезде. Тем не менее Виолетта остановилась перед кабинетом опекуна, не решаясь нарушить его покой и уединение. Но старый сенатор, извещенный о ее приходе, поспешно вышел из дверей, приветствуя девушку с подобающей любезностью. Лицо старого патриция, на котором думы и заботы оставили не меньше морщин, чем годы, осветилось неподдельной радостью, когда он увидел свою прекрасную воспитанницу. Он не желал и слушать ее извинений за неурочное вторжение и, приглашая к себе в кабинет, сказал с обычной своей учтивостью, что она оказала ему честь своим

визитом и только ей, с ее особой деликатностью, такой час мог показаться неурочным.

— Для тебя не существует неурочного времени, ибо ты дитя моего старейшего друга и о тебе очень заботится государство,— сказал он.— Двери дворца Градениго всегда готовы распахнуться даже в самый поздний час, чтобы принять такую гостью. Да и час, избранный тобой для прогулки по каналам, очень подходит людям твоего круга, которые обычно именно в это время выезжают подышать свежим ночным воздухом. Если б мой дом не оставался всегда открыт для тебя, то какой-либо невинный каприз, естественный в твои годы, остался бы неисполненным. Ах, донна Флоринда, молю Бога, чтобы своей любовью — или слабостью? — к этой девушке мы не нанесли вреда ей.

— За любовь и ласку благодарю вас обоих,— отвечала Виолетта.— Но я боюсь своими пустячными просьбами отнять у вас драгоценное время, которое вы посвящаете служению республике.

— Ты преувеличиваешь важность моих дел. Я действительно посещал Совет Трехсот, но преклонный возраст и пошатнувшееся здоровье не позволяют мне служить республике так, как я хотел бы. Слава Святому Марку, нашему покровителю,— для нас дела складываются не так уж плохо. Мы расправились с последними язычниками, наш договор с императором нам не в убыток, а гнев церкви за нашу сомнительную покорность смягчился. Этим мы в какой-то мере обязаны молодому неаполитанцу, который сейчас здесь, в Венеции. У него прочные связи с папским престолом, ибо дядя его — кардинал-секретарь. А ведь через влиятельных друзей удастся сделать много добра. В этом я вижу тайну нынешнего благополучия Венеции. Чего нельзя добиться силой, можно достигнуть с помощью дружеской поддержки и мудрой терпеливости.

— Ваши слова придают мне смелости снова обратиться к вам с просьбой. Должна признаться, мной руководило не одно лишь желание увидеть вас. Мне хотелось просить вас употребить ваше влияние ради одного справедливого дела.

— Подумать только! Вижу, донна Флоринда, наша юная воспитанница унаследовала от своей семьи не только богатство и знатность, но и обычай покровительствовать и защищать! Но мы ведь не воспротивимся такому

проявлению души ее, побуждения тут самые похвальные, и, если следовать им с осторожностью, это может послужить лишь на пользу ей самой, ибо они укрепляют знатность и могущество людей.

— К тому же,— мягко добавила донна Флоринда,— можно сказать, что, проявляя заботу о менее удачливых, богатые и счастливые тем самым не только исполняют свой долг, но и благотворно действуют на души людей.

— Несомненно! Ничто не может принести столько пользы обществу, как правильное понимание всеми его гражданами собственных обязанностей и долга по отношению друг к другу. Я полностью разделяю это мнение, и, надеюсь, моя воспитанница — так же.

— Она счастлива, что наставники так искусно и так охотно передают ей необходимые знания,— отвечала Виолетта.— Но теперь, после такого предисловия, могу ли я надеяться, что сенатор Градениго выслушает мою просьбу?

— Я всегда с удовольствием выполняю твои желания. Хочу только заметить, щедрые и увлекающиеся натуры все свое внимание сосредоточивают иногда на каком-нибудь отдаленном предмете, не замечая, что вокруг есть иные, не только более близкие и важные, но и более доступные. Делая добро одному, мы должны проявлять осторожность, чтобы не повредить многим. Вероятно, тот, за кого ты хлопчешь, родственник кого-либо из твоих слуг, что, несомненно, завербовался в солдаты?

— Если б случилось это, надеюсь, у рекрута хватит мужества не посрамить чести знамени.

— Возможно, кормилица, которая вырастила тебя и, конечно, не забывает этого, просит устроить кого-то из родни на службу?

— Кажется, все члены ее семьи давно уж пристроены,— смеясь, сказала Виолетта,— осталась разве что сама кормилица. Не дать ли и ей какую-нибудь почетную должность? ...Нет, я не хлопчу ни за кого из них.

— Тогда, может быть, просьбы о помощи опустошили гвэй кошелек? Или женские прихоти в последнее время стоят особенно дорого?

— Нет, нет! Я не нуждаюсь в деньгах, хотя ни одна девушка моих лет не умеет должным образом хранить свое состояние. Я обращаюсь к вам с более серьезной просьбой, чем вы полагаете.

— Надеюсь, никто из тех, к кому ты благоволишь, не

оскорбил тебя неосторожным словом! — воскликнул синьор Градениго, мгновенно бросив тревожный взгляд на воспитанницу.

— Если б кто-либо оказался так неосмотрителен, он понес бы должное наказание.

— Меня радует твой ответ. В наш век появилось слишком много новых представлений, их следует искоренять любыми средствами. Если б сенат пропускал мимо ушей все эти сумасбродные рассуждения, порожденные легкомыслием и тщеславием, они легко нашли бы путь к беззаботным умам невежественных и праздных людей. Проси сколько угодно денег, но не пытайся склонить меня к помилованию того, кто нарушает общественный покой!

— Мне не нужны деньги. Моя просьба благородного свойства.

— Скажи ясно, без околичностей, чего ты хочешь.

Теперь уж ничего не мешало Виолетте высказать свою просьбу, но она все не могла решиться произнести ее вслух. Лицо ее то вспыхивало, то бледнело, и она умоляюще поглядывала на свою насторожившуюся и недоумевающую наставницу. Ничего не зная о намерениях Виолетты, донна Флоринда могла лишь ласковым взглядом одобрить ее, ибо в такой поддержке ни одна женщина никогда не откажет другой представительнице своего пола. Виолетта поборолла смущение и, смеясь над собственным волнением, продолжала:

— Вам известно, синьор Градениго, — произнесла она несколько высокомерно, что тоже казалось странным, хотя и более понятным, чем волнение, минуту назад мешавшее ей говорить, — что я — последний отпрыск древнего венецианского рода, прославленного в веках.

— Так гласит история.

— Что я ношу славное имя своих предков и обязана хранить его незапятнанным.

— Таковую истину едва ли нужно пояснять, — сдержанно отвечал сенатор.

— И что, несмотря на происхождение и богатство, дарованное мне судьбой, я не выказала благодарности за оказанное мне благодеяние в той мере, как того требует честь дома Тьеполо.

— Это и в самом деле серьезно. Донна Флоринда, наша воспитанница взволнована и говорит невразумительно, почему я желал бы получить объяснение от вас.

Ей не подобает принимать благодеяние от кого бы то ни было.

— Я ничего не знаю и могу только догадываться,— скромно отвечала наставница,— но, думаю, она имеет в виду спасение ее жизни.

Лицо синьора Градениго омрачилось.

— Теперь понимаю,— холодно произнес он.— Это правда, неаполитанец явил готовность спасти тебя, когда несчастье постигло твоего дядю из Флоренции; но ведь дон Камилло Монфорте не какой-нибудь гондольер, его нельзя вознаградить так же, как того, кто выудил со дна какую-нибудь безделицу, упавшую с гондолы. Ты уже выразила ему свою признательность. Я уверен, в подобном случае этого вполне достаточно для такой знатной девицы, как ты.

— Да, я благодарила его, и благодарила от всей души,— воскликнула живо Виолетта.— И если я забуду его помощь, пусть пресвятая Мария и добрые наши святые покровители забудут меня!

— Мне кажется, синьора Флоринда, ваша воспитанница проводит слишком много времени за чтением романов в библиотеке покойного отца ее, вместо того чтобы читать требник.

Глаза Виолетты сверкнули, она обняла свою спутницу, как бы защищая ее. Наставница опустила на лицо вуаль, ничего не отвечая.

— Синьор Градениго,— продолжала юная наследница,— возможно, я не заслуживаю похвалы своих наставников, но, если ученица ленива, это не их вина. К тому же прошу сейчас за человека, которому обязана жизнью,— это ли не доказательство, что учение христианской церкви преподавалось мне неустанно? Дон Камилло Монфорте давно и безуспешно хлопочет о своем деле, и требование его так справедливо, что даже если б не имелось иных оснований удовлетворить его, то сами принципы, коими руководствуется Венецианская республика, могли бы подсказать сенаторам, что промедление опасно.

— Вероятно, моя воспитанница проводит свой досуг в обществе ученых из Падуи. Республика имеет свои законы, и ни одна справедливая просьба не остается тщетной. Я не осуждаю тебя за чувство благодарности,— оно достойно твоего происхождения и твоего будущего,— и все же, донна Виолетта, мы должны помнить, как трудно иногда отсеять правду от лжи и хитроумного ковар-

ства. И судья должен прежде всего быть уверен, что его решение в пользу одного человека не ущемит законных прав других людей.

— Но ведь сенаторы попирают его права! Он родился в Неаполе, и потому его заставляют отказаться от всех владений на родине, а они гораздо обширнее и богаче тех, каких он добивается здесь. Он попусту тратит жизнь и молодость в погоне за призраком! Вы пользуетесь большим влиянием в сенате, синьор, и, если б вы решительно поддержали его своим могущественным голосом и силой убеждения, справедливость в отношении этого дворянина оказалась бы восстановленной, а Венеция, потеряв какую-то малость, поддержала бы свою славу, о которой она так печется!

— Ты великолепный адвокат. Я подумаю, что тут можно сделать,— сказал синьор Градениго. Лицо его изменилось, мрачная настороженность уступила место ласковой улыбке: он умел придавать ему нужное выражение в зависимости от обстоятельств — искусство, приобретенное длительными упражнениями.— Теперь мне по долгу судьи следовало бы выслушать и неаполитанца: но его услуга тебе и моя к тебе слабость порукой тому, что ты своего добьешься.

Донна Виолетта приняла это обещание со светлой и простодушной улыбкой. Она поцеловала протянутую ей руку с таким жаром, что ее проникательный опекун снова не на шутку встревожился.

— Ты слишком очаровательна, чтобы перед тобой мог устоять даже такой искушенный человек, как я,— добавил он.— Молодые и великодушные люди верят, будто все в жизни должно складываться соответственно их наивным желаниям, не правда ли, донна Флоринда? Что же касается прав донна Камилло... Но все равно, раз ты хочешь этого, дело будет рассмотрено с той беспристрастностью и слепотой¹, которую считают недостатком нашего правосудия.

— Я всегда думала, что эта аллегория означает: «Слепы к пристрастию, но не бесчувственны к правам».

— Боюсь, как раз чувство может убить наши надежды... Впрочем, посмотрим. Надеюсь, мой сын в последнее время проявил к тебе больше должного почтения? Я знаю, мальчика не придется уговаривать оказать честь моей

¹ Здесь игра слов, намек на принятый обычай изображать Богиню правосудия с завязанными глазами и с весами в руках.

воспитаннице, красивейшей девушке Венеции. Ты уж прими его как друга ради любви к отцу его.

Донна Виолетта с подобающей сдержанностью присела в реверансе.

— Двери моего дворца всегда открыты для синьора Джакомо, когда того требует вежливость и приличие,— холодно произнесла она.— Сын моего опекуна не может не быть почетным гостем в моем доме.

— Я заставил бы его быть внимательным... и даже больше... мне хотелось бы, чтоб он доказал тебе хоть малую долю того глубокого почтения... Впрочем, люди здесь завистливы, донна Флоринда, и у нас осторожность — высшая добродетель. И если юноша не так пылок и настойчив, как мне хотелось бы, поверьте, это лишь из боязни преждевременно вызвать подозрительность тех, кто интересуется судьбой нашей воспитанницы.

Обе женщины поклонились и плотнее закутались в свои мантильи, явно собираясь уходить. Донна Виолетта попросила благословения и, получив его, обменялась с хозяином дома несколькими вежливыми фразами, а затем со своей спутницей вернулась в гондолу.

Синьор Градениго некоторое время молча шагал по кабинету, в котором принимал свою воспитанницу. Во всем огромном дворце не слышалось ни звука; тишина и настороженность царили в нем, словно и в это жилище прокрались тишина и настороженность города. Наконец сенатор увидел через открытые двери молодого человека, в чертах и манерах которого можно было безошибочно узнать светского гуляку и кутилу. Он бродил по комнатам, пока сенатор не велел ему подойти.

— Тебе, как всегда, не повезло, Джакомо,— сказал сенатор с упреком и отеческой лаской в голосе.— Донна Виолетта удалилась отсюда всего лишь с минуту тому назад, не застав тебя. Какая-нибудь недостойная интрижка с дочерью ювелира или, что еще хуже, сделка с ее отцом отнимает все твое время, которое можно бы употребить гораздо лучше и выгоднее.

— Ты несправедлив ко мне,— отвечал юноша,— ни ювелира, ни дочери его я сегодня не видел.

— Это из ряда вон выходящее событие! Моя опека над донной Виолеттой предоставляет нам весьма удобный случай, и я хотел бы знать, Джакомо, удастся ли тебе воспользоваться им и достаточно ли ясно ты понимаешь важность этого моего совета.

— Будьте покойны, отец. Тому, кто, как я, страдает от отсутствия звонкого металла, чего у донны Виолетты более чем достаточно, не нужно никаких напоминаний на этот счет. Отказав мне в карманных деньгах, вы, отец, вынудили меня согласиться с вашими намерениями. Ни один глупец во всей Венеции не вздыхает под окнами своей возлюбленной красноречивее меня. Когда у меня подходящее настроение, я не пропускаю ни одного удобного случая, чтобы выразить свои нежные чувства.

— Знаешь ли ты, как опасно вызвать подозрения сената?

— Не тревожьтесь, отец. Я действую тайно и с большой осторожностью. Мои мысли и лицо привыкли к маске— жизнь научила меня носить ее. При моем легкомыслии невозможно не стать двуличным.

— Ты говоришь так, неблагодарный мальчишка, словно я отказываю тебе в том, что приличествует твоему возрасту и состоянию! Я кладу предел лишь твоему мотовству. Впрочем, сейчас не хочу упрекать тебя, Джакомо. Знай, у тебя есть соперник — иноземец. Он завоевал благосклонность девушки после случая на Джудекке; и она, как все пылкие и щедрые натуры, ничего о нем не зная, наделила его всеми достоинствами, какие ей могло подсказать воображение.

— Желал бы я, чтобы она и меня наделила этими достоинствами!

— Ты — другое дело; тут надо не придумывать достоинства, а запомнить те, какими ты обладаешь. Кстати, ты не забыл предупредить Совет об опасности, угрожающей нашей наследнице?

— Нет, не забыл.

— И каким образом?

— Самым простым и самым надежным — через Львиную пасть.

— Гм!.. Это действительно дерзкий поступок.

— И, как все дерзкое и опасное, наконец-то фортуна улыбнулась мне. Я оставил в Львиной пасти веское доказательство — кольцо с печатью неаполитанского герцога!

— Джакомо! Понимаешь ли ты, как это опрометчиво и опасно? Надеюсь, они не узнают твоего почерка. И как ты раздобыл перстень?

— Отец, хоть я иногда и пренебрегал твоими наставлениями в мелочах, зато все твои предостережения в де-

лах государственных помню. Неаполитанец обвинен, и если твой Совет не подведет, иностранец окажется под подозрением, а возможно, его и вообще вышлют из Венеции.

— Совет Трех исполнит свой долг, в этом сомневаться нечего. Хотел бы я быть так же уверен в том, что твое безрассудное усердие не повлечет за собой нежелательных последствий!

Молодой человек мгновение глядел на отца, как бы разделяя его сомнения, а затем беззаботно направился к себе — предательство и лицемерие стали спутниками его с юных лет, и он не привык задумываться над своими поступками.

Оставшись один, сенатор принялся расхаживать из угла в угол, видимо, очень встревоженный. Он часто потирал лоб рукой, словно размышления причиняли ему боль. Занятый своими мыслями, он не заметил, как кто-то неслышно прокрался вдоль длинного ряда комнат и остановился в дверях кабинета.

Человек этот был уже далеко не молод. Лицо его потемнело от солнца, а волосы поредели и поседели. По бедной и грубой одежде в нем можно было узнать рыбака. Но в смелом взгляде и резких чертах лица светились живой ум и благородство, а мускулы его голых рук и ног все еще свидетельствовали о большой физической силе. Он долго стоял в дверях, вертя в руках шапку, с привычной почтительностью, но без подобострастия, пока сенатор не заметил его.

— А, это ты, Антонио! — воскликнул хозяин дома, когда глаза их встретились. — Что привело тебя сюда?

— У меня тяжело на сердце, синьор.

— Так неужели у рыбака нет покровителя? Наверно, сирокко опять взволновал воды залива и твои сети оказались пустыми. Возьми вот... Мой молочный брат не должен испытывать нужды.

Рыбак гордо отступил на шаг, всем своим видом показывая, что решительно отказывается принять милостыню.

— Синьор, с тех пор как мы сосали молоко из одной груди, прошло очень много лет, но слышали ли вы хоть раз, чтобы я просил подаяния?

— Да, это не в твоём характере, Антонио, что правда, то правда. Но время побеждает нашу гордость и наши силы. Если не денег, чего же ты просишь?

— Есть и другие нужды, кроме телесных. Есть другие страдания, кроме голода.

Лицо сенатора помрачнело. Он испытующе взглянул на своего молочного брата и, прежде чем ответить, затворил дверь.

— Видно, ты опять чем-то недоволен. Ты привык толковать о предметах и делах, которые выше твоего разумения, и ты знаешь, что твои убеждения уже навлекли на тебя недовольство. Невежды и люди низшего сословия для государства — все равно что дети, и их долг — повиноваться, не возражая. Так в чем же дело?

— Не таков я, синьор, как вы думаете. Я привык к нужде и бедности и довольствуюсь малым. Сенат — мой господин, и потому я чту его; но ведь и рыбак может чувствовать так же, как и дож.

— Ну вот, опять! Уж очень многого ты хочешь! Ты говоришь о своих чувствах при всяком удобном случае, словно это главная забота в жизни.

— Для меня так и есть, синьор! Правда, я больше думаю о собственных нуждах, но не забываю и о бедах тех, кого я почитаю. Когда вашу молодую, прекрасную дочь Бог призвал на небеса, я страдал, как если б умер мой собственный ребенок. Но, как вы хорошо знаете, синьор, Богу не угодно было избавить и меня от боли подобных утрат.

— Ты добрый человек, Антонио, — отвечал сенатор, делая вид, будто смахивает украдкой слезу. — Даже принадлежа своему сословию, ты остаешься честным и гордым человеком!

— Та, что вскормила нас с вами, синьор, часто говорила мне, что мой долг — любить, как родную, вашу благородную семью, которую она помогла вырастить. Я не ставлю себе в заслугу такую любовь, это дар божий, но именно поэтому государство не должно шутить ею.

— Снова государство? Говори, в чем дело.

— Вам известна история моей скромной жизни, синьор. Мне не нужно говорить вам о моих сыновьях, которых Богу сначала угодно было, по милости девы Марии и Святого Антония, даровать мне, а потом также взять их к себе одного за другим.

— Да, ты познал горе, бедный Антонио. Хорошо помню, как ты страдал.

— Очень, синьор; смерть пяти славных, честных сыновей! Такой удар исторгнет стон даже из утеса. Но я всегда смирялся и не роптал на Бога.

— Ты достойный человек, рыбак! Сам дож мог бы позавидовать твоему смирению. Но иногда легче снести утрату ребенка, чем видеть его жизнь, Антонио!

— Синьор, если мои мальчики и причиняли мне горе, то только в тот час, когда смерть уносила их. И даже тогда, — старик отвернулся, стараясь скрыть волнение, — я утешал себя мыслью, что там, где нет тяжкого труда, страданий и лишений, им будет лучше.

Губы синьора Градениго задрожали, и он быстро прошелся по комнате.

— Мне помнится, Антонио, — сказал он, — помнится, добрый Антонио, что я как будто заказывал молебны за упокой души всех твоих сыновей?

— Да, синьор! Святой Антоний не забудет вашу доброту. Но я ошибся, говоря, что лишь смертью сыновья приносили мне горе. Есть еще большее горе, какого не знают богатые, — невозможность оплатить даже молитву за упокой души ребенка!

— Ты хочешь заказать молитву? Ни один твой сын никогда не будет страдать в царствии божьем, за упокой его души всегда отслужат молебен.

— Спасибо вам, синьор, но я верю, что все всегда к лучшему, а больше всего верю в милосердие божие. Сегодня я хлопочу о живых.

Сочувствующий взгляд сенатора сразу стал недоверчивым и подозрительным.

— Ты хлопочешь? — переспросил он.

— Умоляю вас, сенатор, спасти моего внука от службы на галерах. Они забрали мальчика — а ему еще только четырнадцать лет — и посылают воевать с нехристями, забывая о его возрасте и о зле, которое причиняют, не думая о моих преклонных летах и одиночестве, да и вопреки справедливости — ведь отец его убит в последнем сражении с турками.

Умолкнув, рыбак взглянул на окаменевшее лицо сенатора, тщетно стараясь уловить впечатление, произведенное его словами. Но лицо сенатора оставалось холодным, безответным, никакие человеческие чувства на нем не отразились. Бездушные, расчет и лицемерие государства всюду, где дело касалось морской мощи республики, давно убили в нем все чувства. Любая малость казалась

ему грозной опасностью, а разум его привык оставаться безучастным к любым мольбам, если это могло пойти в ущерб интересам государства или если речь шла о служении народа республике Святого Марка.

— Мне было бы приятнее, попроси ты меня заказать молитву или дать тебе золота, что угодно, только не это, Антонио,— продолжал он после минутного молчания.— Мальчик все время жил у тебя с самого рождения?

— Да, синьор, так оно и было, ведь он сирота; и мне хотелось оставаться с ним до тех пор, пока он сможет сам начать жить, вооруженный честностью и верой, которые уберегут его от зла. И, если б сейчас был жив мой храбрый сын, убитый на войне, он не просил бы для мальчика у судьбы ничего, кроме возможности подать совет и помощь — их ведь даже бедный человек имеет право дать своей плоти и крови.

— Но внук твой в том же самом положении, что и другие; ты ведь знаешь — республика нуждается в каждом человеке.

— Синьор мой, когда я шел сюда, я видел синьора Джакомо, выходявшего из гондолы.

— Это еще что такое! Разве ты забыл разницу между сыном рыбака, удел которого трудиться, работая веслом, и наследником старинного рода? Иди, самонадеянный человек, и помни свое место и различие между нашими детьми, установленное самим Богом.

— Мои дети никогда не огорчали меня при жизни,— с укоризной, хотя и мягко, проговорил Антонио.

Слова рыбака кольнули синьора Градениго в самое сердце, и это, конечно, не смягчило его отношения к молочному брату. Впрочем, пройдясь в волнении несколько раз по комнате, сенатор овладел собой и сумел ответить спокойно, как и приличествовало его сану.

— Антонио,— сказал он,— твой нрав и смелость давно мне знакомы. Если бы ты нуждался в молитве по умершим или деньгах для живых, я помог бы тебе; но, прося моего заступничества перед командиром галерного флота, ты желаешь того, что в столь тяжкий для республики миг невозможно дозволить даже сыну самого дожа, если б дож был...

— ...рыбаком,— подсказал Антонио, видя, что сенатор колеблется, подыскивая слово.— Прощайте, синьор! Не хочу расставаться с моим молочным братом недружелюбно, и потому да благословит Бог вас и ваш дом. И пусть



никогда не доведется вам, как мне, потерять ребенка, которому грозит участь гораздо страшнее смерти,— гибель от порока.

С этими словами Антонио поклонился и ушел тем же путем, как и пришел. Сенатор не заметил его исчезновения, ибо опустил глаза, втайне понимая верность слов рыбака, сказанных им в простоте души; прошло некоторое время, прежде чем синьор Градениго обнаружил, что остался один. Впрочем, почти сразу же его внимание привлекли звуки других шагов. Дверь вновь отворилась, и на пороге появился слуга. Он доложил, что какой-то человек просит принять его.

— Пусть войдет,— сказал сенатор, и лицо его приняло обычное настороженное и недоверчивое выражение.

Слуга удалился, и человек в маске и плаще быстро вошел в комнату. Он сбросил плащ на руку, снял маску, и сенатор увидел перед собой внушающего ужас Якопо.

Глава VI

Сам Цезарь вел сражение. От врага
Такого натиска не ждали мы.

Шекспир. «Антоний и Клеопатра».

— Заметил ли ты человека, только что вышедшего отсюда? — с живостью спросил синьор Градениго.

— Да.

— И сможешь узнать его по лицу и фигуре?

— Это рыбак с лагун по имени Антонио.

Сенатор бросил на браво удивленный взгляд, в котором сквозило и восхищение. Затем он опять зашагал из конца в конец комнаты, а его гость тем временем продолжал стоять в непринужденной, полной достоинства позе, ожидая, когда сенатор соизволит обратиться к нему. Так прошло несколько минут.

— У тебя проницательный взгляд, Якопо! — заговорил патриций, прерывая молчание.— Имел ли ты когда-нибудь дело с этим человеком?

— Нет, никогда.

— И ты можешь поручиться, что это...

— ...молочный брат вашей светлости.

— Меня не интересует твоя осведомленность о его детстве и происхождении, я спрашиваю о теперешнем его положении,— возразил сенатор Градениго, отвернувшись от всевидящего Якопо.— Может быть, кто-либо из высшей знати говорил тебе о нем?

— Нет... мне не дают поручений, касающихся рыбаков.

— Долг может привести нас не только к рыбакам, молодой человек. Кто несет на себе бремя государственных дел, не должен рассуждать о нем. А что ты знаешь об Антонио?

— Его очень чтут рыбаки, он искусен в своем деле и давно познал тайну лагун.

— Ты хочешь сказать, что он обманывает таможенников?

— Нет, не это хотел я сказать. Он трудится с утра до вечера, и этим ему некогда заниматься.

— Знаешь ли ты, Якопо, сколь суровы наши законы в делах, касающихся казны республики?

— Я знаю, синьор, что приговор Святого Марка никогда не бывает мягким, если затронуты его собственные выгоды.

— Я не просил тебя высказывать мнение об этом. Человек этот имеет обыкновение рассуждать на людях о таких делах, судить о которых могут одни патриции.

— Синьор, он стар, а с годами язык развязывается.

— Болтливость не в его нраве. Природа наградила его добрыми качествами; если б его происхождение и воспитание соответствовали его уму, я полагаю, сенат с удовольствием выслушал бы его суждения; а теперь — боюсь, эти его разговоры могут повредить ему.

— Разумеется, если его слова оскорбительны для слуха Святого Марка.

Сенатор бросил быстрый, недоверчивый взгляд на браво, словно стараясь понять подлинный смысл его слов, но лицо Якопо оставалось по-прежнему спокойным и непроницаемым, и сенатор продолжал как ни в чем не бывало:

— Если ты находишь, что он оскорбляет республику своими словами, значит, годы не сделали его благоразумнее. Я люблю этого человека, Якопо, и мое к нему пристрастие вполне понятно — ведь мы с ним вскормлены одной грудью.

— Вы правы, синьор.

— А раз я питаю слабость к нему, мне хочется, чтобы его убедили держаться осторожнее. Ты, конечно, знаешь его рассуждения насчет того, что государству пришлось призвать на флотскую службу всех юношей с лагун?

— Я знаю, что у него отняли внука, вместе с которым он трудился.

— Да, чтобы тот с честью, а возможно, и с выгодой для себя служил республике.

— Вероятно, синьор.

— Ты что-то неразговорчив сегодня, Якопо! Но, если ты знаешь этого рыбака, посоветуй ему стать благоразумнее. Святой Марк не потерпит вольных суждений о своей мудрости. Уж третий раз приходится пресекать разглагольствования старика. Сенат печется о народе, как родной отец, и не может допустить, чтобы в самом сердце того сословия, которое он хотел бы видеть счастливым, зародилось недовольство. При случае внуши ему полезную истину, ибо мне очень не хочется узнать, что сына моей старой кормилицы постыгло несчастье, да еще на склоне лет.

Браво поклонился в знак согласия, а сенатор между тем снова зашагал по комнате, всем своим видом выражая, что он действительно крайне обеспокоен.

— Слышал ли ты решение по делу генуэзца? — спросил синьор Градениго после минутного молчания. — Приговор трибунала вынесен без всякого промедления, и, хотя кое-кто полагает, будто между двумя нашими республиками существует вражда, мир может теперь убедиться в беспристрастии нашего правосудия. Я слышал, что генуэзец получит большее возмещение, а значит, придется изъять много денег у наших граждан.

— Я тоже слышал об этом сегодня вечером, синьор, на Пьяцетте.

— А говорят ли люди о нашем беспристрастии и особенно о быстроте нашего решения? Подумай, Якопо, не прошло и недели с тех пор, как дело представлено на справедливый суд сената!

— Да, республика быстро карает непокорных, этого никто не оспаривает.

— И при этом, надеюсь, справедливо, добрый Якопо? Государственные службы действуют у нас так безотказно и согласованно, что это невольно вызывает восхищение. Правосудие служит обществу и сдерживает страсти так мудро и незаметно, как если бы решения его исходили от всевышнего. Я часто сравниваю уверенную, спокойную поступь нашего государства с суетой, свойственной другим итальянским сестрам нашей республики; это все равно, что сравнить тишину и покой наших каналов с гулом и сутолокой шумного города... Так, значит, на площадях сегодня много говорят о справедливости нашего последнего постановления?

— Венецианцы, синьор, становятся бесстрашными, когда есть возможность хвалить своих господ.

— Ты действительно так полагаешь, Якопо? А мне всегда казалось, будто они более склонны изливать свои бунтарские настроения. Впрочем, в натуре человека быть скупым на похвалу и щедрым на осуждение. Это решение трибунала не должно пройти незамеченным. Было бы хорошо, если бы наши друзья открыто, не стесняясь, беседовали о нем и в кофейнях и на Лидо. Даже если они станут говорить слишком много, бояться нечего: справедливое правительство не осуждает разговоры о действиях его.

— Верно, синьор.

— Надеюсь, ты и твои друзья позаботятся о том, чтобы народ не скоро забыл это решение. Размышление над подобными действиями правительства способно вызвать к жизни семена добродетели, которые дремлют в народе. Если перед взором людей все время будет пример справедливости, они в конце концов полюбят это качество. Надеюсь, генуэзец покинет нас удовлетворенный?

— Несомненно, синьор. Он получил все, что может утешить страдальца: с избытком вернул свое и наказал обидчика.

— Да, таково решение сената: полное возмещение убытков, с одной стороны, и кара — с другой. Не многие государства способны вынести приговор самим себе, Якопо!

— Разве государство в ответе за дела какого-то купца, синьор?

— За дела своего гражданина — конечно. Тот, кто наказывает своих, разумеется, страдает: никто не может расстаться со своей плотью без боли, не правда ли?

— Нервы очень чувствительны — больно, например, потерять глаз или зуб, но, когда мы стрижем ногти или бреем бороду, мы не ощущаем никакой боли.

— Тот, кто тебя не знает, Якопо, склонился бы к мнению, будто ты сторонник монархии. Гибель даже крохотного воробышка в Венеции отзывается болью в сердце членов сената... Ну, хватит об этом. А что, среди ювелиров и ростовщиков еще ходят слухи об уменьшении золота в обращении? Золотых цехинов теперь меньше, чем прежде, и хитрецы используют такую нехватку в расчете на большие прибыли.

— В последнее время я видел на Риальто людей, чьи кошельки, очевидно, пусты. И если христиане выглядят встревоженными, то нехристи в своих балахонах расхаживают веселее прежнего.

— Такого и следовало ожидать. Не удалось ли тебе установить имена ростовщиков, которые ссужают деньги под особенно большие проценты нашим молодым людям?

— Можно назвать любого ростовщика, когда дело касается кошелька христианина.

— Ты не любишь их, Якопо, но ведь они приносят пользу, когда республика в затруднительном положении. Мы считаем своими друзьями всех, кто в случае нужды готов помочь нам деньгами. Но, конечно, нельзя допускать, чтобы наша молодежь, надежда Венеции, проматывала свое состояние в сомнительных сделках с ростовщиками. И, если тебе доведется услышать, что кто-либо из знатных молодых людей завяз уж очень глубоко, ты поступишь мудро, если сразу же сообщишь об этом хранителям общественного блага. Мы обязаны обходиться учтиво с теми, кто сделался опорой государства, но не должны забывать и о тех, кто составляет его основу. Что ты можешь сказать мне об этом?

— Я слышал от людей, что синьор Джакомо платит им больше процентов, чем кто-либо другой.

— Дева Мария! Мой сын и наследник! Не обманываешь ли ты меня, желая утолить свою ненависть к иудеям?

— У меня нет к ним ненависти, синьор,— всего лишь естественное для христианина недоверие. Надеюсь, это вполне позволительно для верующего, а вообще-то я ни к кому не питаю ненависти. Всем известно, что ваш наследник проматывает будущее наследство и, не задумываясь, платит любые проценты.

— Это дело серьезное! Мальчику нужно как можно скорее разъяснить все последствия его поведения и позаботиться, чтобы впредь он вел себя благоразумнее. Ростовщика накажут, и, в качестве предупреждения всей их братии, спор о долге будет решен в пользу должника. Когда у них перед глазами окажется такой пример, разбойники поостерегутся раздавать свои цехины под проценты. О Святой Теодор! Да это просто самоубийство — видеть, как такой подающий надежды юноша гибнет на глазах из-за того, что о нем некому позаботиться! Я сам займусь этим, и сенат не сможет упрекнуть меня в том, будто я не соблюдал его интересов... А кто-нибудь искал в последнее время твоих услуг как мстителя за обиды?

— Ничего особенного не произошло... Правда, есть один человек, который очень хочет дать мне какое-то поручение, но я еще не знаю толком, что ему нужно.

— Дело твое очень щепетильное и требует большой осмотрительности, но тебе ведь известно — ты будешь щедро вознагражден.

Глаза Якопо сверкнули таким огнем, что сенатор умолк. Но, выждав, когда бледное лицо браво снова приняло обычное выражение, синьор Градениго продолжал как ни в чем не бывало:

— Повторяю, правительство наше щедро и милосердно. И если правосудие его сурово, то прощение искренне, а милости безграничны. Я приложил много усилий, чтобы убедить тебя в этом, Якопо. Но подумать только! Один из отпрысков старинного рода, опора государства, и вдруг растрчивает свое состояние на пользу нехристей! Да, но ты не назвал того, кто так усердно ищет твоих услуг!

— Я еще не знаю, что ему нужно, синьор, и мне следовало бы самому хорошенько разобраться в его намерениях, прежде чем договариваться с ним.

— Скрытность твоя неуместна. Ты должен доверять служителям республики, и меня очень опечалило бы, ес-

ли б у инквизиции сложилось неблагоприятное мнение относительно твоего усердия. Об этом человеке нужно донести.

— Я не стану доносить на него. Скажу лишь, что он желает тайно связаться с тем, с кем едва ли не преступно вступать в какие-либо отношения. Большого я сказать не могу.

— Предупредить преступление лучше, чем наказывать за него, и такова истинная цель нашего правительства. Ну, так как же, ты не станешь скрывать от меня его имя?

— Это знатный неаполитанец, давно живущий в Венеции из-за дела о наследстве...

— Ха! Дон Камилло Монфорте! Я угадал?

— Он самый, синьор.

Последовало молчание, которое было нарушено только боем часов на Пьяцце, пробивших одиннадцать или, как принято было называть это время в Италии, четвертый час ночи. Сенатор вздрогнул, глянул на часы, стоявшие в комнате, и снова обратился к собеседнику.

— Хорошо,— сказал он.— Твоя верность и точность не будут забыты. Итак, следи за рыбаком Антонио: нельзя допускать, чтобы пересуды старика пробуждали недовольство среди людей — подумаешь, какая важность: пересадили его потомка с гондолы на галеру! Но главное, слушай хорошенько все, что говорят на Риальто. Славное и уважаемое имя патриция не должно быть запятнано юношескими заблуждениями. А что касается этого иноземца... Скройся под маской и плащом, и уходи словно ты всего лишь один из моих друзей и готов отдаться беззаботному веселью.

Браво проворно надел плащ и маску как человек, давно привыкший к такого рода предосторожности, но проделал он это с самообладанием, каким не отличался сенатор. Синьор Градениго не произнес больше ни слова и только нетерпеливым жестом поторопил Якопо.

Когда дверь за браво закрылась и сенатор снова остался один, он опять взглянул на часы, медленно провел рукой по лбу и в задумчивости зашагал по комнате. Около часу продолжалось это непрерывное хождение. Затем раздался легкий стук в дверь, и после обычного приглашения вошел человек, так же тщательно скрывавший

свою внешность, как и тот, что недавно удалился отсюда в том городе и в те времена, о которых мы пишем, такое сделалось обычным явлением. Казалось, сенатору было достаточно одного взгляда на гостя, чтобы определить, кто он, ибо прием ему был оказан по всем правилам вежливости и свидетельствовал о том, что его ожидали.

— Почитаю за честь видеть у себя дона Камилло Монфорте,— проговорил хозяин дома, пока гость снимал плащ и шелковую маску,— хотя поздний час вызывал у меня опасения, что непредвиденный случай лишил меня этого удовольствия.

— Тысячу раз прошу прощения, благородный сенатор, но вечерняя свежесть на каналах и веселье на площадях, а кроме того и нежелание нарушать ваш покой раньше времени, боюсь, несколько задержали меня. Но я надеюсь на всем известную доброту синьора Градениго и его прощение.

— Точность не входит в число добродетелей вельмож Нижней Италии,— сдержанно заметил синьор Градениго.— Молодым жизнь кажется бесконечной, и они не дорожат бегущими минутами, а те, над кем нависла старость, только и думают, чтобы исправить ошибки юности. Таким образом, синьор герцог, человек каждый день грешит и кается до той поры, пока к нему незаметно не подкрадется старость. Но не станем зря тратить драгоценное время. Итак, можем ли мы надеяться, что испанец изменит свое мнение?

— Я сделал все возможное, чтобы пробудить благоразумие этого человека и, в частности, объяснил ему, как важно для него снискать расположение сената.

— Вы поступили мудро, синьор, действуя как в его интересах, так и в ваших собственных. Сенат щедро платит тем, кто хорошо служит ему, и беспощадно карает врагов. Надеюсь, ваше дело о наследстве подходит к концу?

— Я очень хотел бы ответить на ваш вопрос утвердительно. Я неустанно тороплю суд, не забывая, конечно, об уважении к суду и о ходатайствах. В Падуе нет более ученого доктора, чем тот, кто представляет мои интересы, и все же дело мое так же безнадежно, как участь чухоточного. Если я не сумею показать себя достойным сыном республики Святого Марка в деле с испанцем, то

скорее из-за неискушенности в государственных делах, чем из-за недостатка усердия.

— Веса правосудия должны быть тщательно выверены, если чаши их так долго не склоняются ни в ту, ни в другую сторону. Вам и в дальнейшем необходимо действовать с тем же усердием, дон Камилло, и с большей осторожностью, чтобы постараться расположить патрициев в свою пользу. Хорошо, если б вашу преданность государству доказала дальнейшая служба у посланника. Известно, что он ценит вас и потому станет прислушиваться к вашим советам, тем более, человек он молодой, великодушный и благородный и сознание того, что он служит не только своей стране, но и всему роду людскому, благотворно повлияет на него.

Дон Камилло, казалось, был не вполне согласен с последним доводом сенатора; тем не менее он вежливо поклонился, как бы признавая правоту хозяина дома.

— Приятно слышать такие речи, синьор,— отвечал он.— Мой соотечественник всегда прислушивается к разумным советам, от кого бы они ни исходили. Хотя в ответ на мои доводы он частенько напоминает мне об упадке мощи республики Святого Марка, его глубокое почтение к государству, которое давно стяжало славу своей решительностью и могуществом, ничуть не уменьшилось.

— Да, Венеция уже не та, какой была когда-то, синьор герцог, но все же еще очень сильна. Крылья нашего льва немного подрезаны, но он все еще не разучился прыгать далеко, и зубы его опасны. И, если новоявленный принц желает, чтобы корона спокойно сидела на его голове, ему не мешало бы сделать попытку добиться признания своих ближайших соседей.

— Совершенно верно, я приложу силы, чтобы желаемая цель оказалась достигнута. А теперь смею ли я просить вашего дружеского совета, как ускорить рассмотрение моего дела, которое сенат так долго не может решить?

— Вы поступите правильно, дон Камилло, если станете напоминать сенаторам о себе с учтивостью, подобающей их положению и вашему званию.

— Я всегда поступаю так,— в пределах, подобающих моему положению и цели, которую я преследую.

— Не следует забывать и о судьях, молодой человек, ибо мудро поступает тот, кто помнит, что правосудие всегда прислушивается к просьбам.

— Не знаю никого, кто так прилежно исполнял бы этот свой долг, как я, и редко можно видеть, чтобы проситель был так внимателен к тем, кого он беспокоит своими просьбами, и так полновесно доказывал им свое почтение.

— Главным образом вам следует снискать расположение сената. Ни одна услуга государству не проходит незамеченной, и даже малейшее доброе дело становится известным Тайному Совету.

— О, если б я мог встретиться с этими почтенными отцами! Уверен, тогда мое справедливое требование очень скоро оказалось бы удовлетворено.

— Это невозможно! — печально сказал сенатор. — Имена этих августейших особ содержатся в тайне, чтобы их величие не оказалось запятнано низменными интересами. Они правят так же незримо, как мозг управляет мышцами; они, так сказать, душа государства, и, как всякую душу, их невозможно видеть.

— Я выразил свое желание скорее как мечту, без всякой надежды на его исполнение, — отвечал герцог Святой Агаты, надевая плащ и маску, которые войдя он снял и положил под руку. — Прощайте, благородный синьор. Я не премину оказывать влияние на кастильца своими советами, а в награду за то стану надеяться на справедливость патрициев и ваше доброе ко мне отношение.

Синьор Градениго с поклонами проводил гостя через анфиладу комнат до самой прихожей и там передал его попечению слуги.

«Необходимо заставить его действовать более решительно, а для того нужно всячески противодействовать ему. Кто хочет добиться милостей республики, должен прежде заслужить их, проявив усердие и преданность». — Так размышлял синьор Градениго, медленно возвращаясь в свой кабинет после того, как закончил церемонию проводов гостя.

Закрыв за собой дверь, он снова принялся шагать по маленькой комнате как человек, погруженный в тревожные размышления. С минуту в кабинете царила глубокая тишина, но вот осторожно отворилась дверь,

скрытая портьерами, и в комнату заглянул новый посетитель.

— Входи,—сказал сенатор, не выказывая удивления,—твое обычное время уже прошло, я жду тебя.

Развевающимся платье, внушающая почтение седая борода, благородные черты лица, быстрый, алчный и настороженный взгляд и то особое выражение, какое, казалось, в равной мере отражало деятельный ум и подбострастие человека, привыкшего к грубости и презрению людей,—все обличало в этом человеке ростовщика с Риальто.

— Входи, Осия, и излей свою душу,—продолжал сенатор, видимо, давно привыкший выслушивать сообщения старика.—Слышал что-нибудь новое насчет благополучия народа?

— Благословен народ, о коем так отечески пекутся. Может ли быть явлено добро или зло гражданину республики, благородный синьор, без участия или сострадания сената, подобного отцу, заботящегося о своих детях! Счастлива страна, где люди почтенного возраста, убеленные сединой бодрствуют до той поры, когда ночь уступает место дню, забывая усталость в стремлении творить добро и служить государству!

— Ты выражаешься с восточной цветистостью твоей страны, добрый Осия, и, вероятно, забываешь, что находишься не на пороге храма... Ну, а что достойно внимания за минувший день?

— Скажите лучше — за ночь, синьор, ибо все немного, что заслуживает вашего внимания, случилось с наступлением ночи.

— Уж не убили кого кинжалом на мосту? Ха! Или люди в этот раз веселились меньше обычного?

— Никто не умер насильственной смертью, и площадь брызжет соком веселья, как благоухающие виноградники Энгеди. Святой Авраам! Что может сравниться по веселью с Венецией! Как упиваются этим весельем сердца старых и молодых! Кажется, достаточно установить купель в синагоге, чтобы стать свидетелем радостного отречения от своей веры ради народа этих островов! Я не надеялся иметь честь увидеть вас сегодня, синьор, и уже закончил свою вечернюю молитву, собираясь лечь, когда посыльный Совета принес мне драгоценное кольцо с приказанием опознать герб и другие эмблемы, дабы выяснить владельца его. Такие коль-

ца обычно посылают в подтверждение личности его хозяина.

— Кольцо с тобой? — спросил сенатор, протягивая руку.

— Вот оно. Прекрасный камень, драгоценная бирюза...

— Где нашли кольцо? И почему его прислали тебе?

— Его нашли, синьор, насколько я мог понять больше из намеков, чем из слов посыльного, в одном месте, вроде того, откуда спасся благодаря своему благочестию праведный Даниил.

— Ты имеешь в виду Львиную пасть?

— Так говорят об этом пророке наши древние книги, синьор, и на это намекал посланец Совета, вручая мне кольцо.

— Здесь нет ничего, кроме шлема с гребнем, какие носят наездники... Оно принадлежит кому-нибудь из венецианцев?

— Да поможет мудрый Соломон своему слуге разобраться в столь тонком деле! Камень этот редкой красоты, мало кто владеет такими, кроме разве тех, у кого полно золота. Обратите только внимание на его мягкий блеск, благородный синьор, и заметьте, как переливаются краски!

— О ... прекрасно! Но чей же это девиз?

— Уму непостижимо, какое огромное богатство может заключать в себе такое маленькое колечко! Мне приходилось видеть, как за менее ценные безделушки платили огромные суммы полновесными цехинами.

— Неужели ты не можешь забыть свою лавчонку и гуляк на Риальто? Приказываю тебе назвать имя того, кому принадлежит этот герб как доказательство его рода и звания!

— Благородный синьор, я повинуюсь. Герб принадлежит роду Монфорте, последний сенатор из которого умер около пятнадцати лет тому назад.

— А его драгоценности?

— Они перешли вместе с другим движимым имуществом во владение его родственника и преемника — если, конечно, сенату будет угодно, чтобы у этого древнейшего рода оказался преемник, — к дону Камилло, герцогу

Святой Агаты. Богатый неаполитанец сейчас добивается восстановления своих прав в Венеции, и он теперь владеет этим великолепным камнем.

— Дай кольцо. Этим делом нужно заняться... с чем еще ты хочешь обратиться ко мне?

— Ровно ни с чем, синьор, кроме просьбы: если кольцо будет конфисковано и продано с торгов, можно ли надеяться, что сначала его предложат давнему слуге республики, у которого есть много причин сожалеть о том, что дела его идут хуже в старости, чем в юные годы?

— Тебя не забудут. Я слышал, Осия, некоторые молодые люди из благородных семейств частенько посещают ростовщиков и занимают золото, а потом, промотав его, горько расплачиваются за свое легкомыслие. В такое положение не пристало попадать наследникам благородных фамилий. Не забудь моих слов, ибо, если недовольство Совета падет на кого-либо из твоего племени, это может обратиться большей неприятностью для всех вас. Не попадались ли тебе в последнее время другие драгоценности, кроме этого кольца неаполитанца?

— Ничего заслуживающего внимания, кроме того, что обычно оставляют в залог, благороднейший синьор.

— Взгляни на это,— продолжал синьор Градениго и, порывшись в потайном ящике, вынул оттуда клочок бумаги с кусочком воска на нем.— Не можешь ли ты догадаться по оттиску, кому принадлежит печать?

Ювелир взял бумагу и поднес ее к свету; его горящие глаза тщательно изучали оттиск.

— Это выше мудрости потомка Давида! — сказал он после долгого и, очевидно, бесплодного осмотра.— Здесь не что иное, как причудливая эмблема галантности, какие любят употреблять легкомысленные кавалеры Венеции, когда хотят обольстить слабый пол прекрасными словами и соблазнительными приманками.

— Это сердце, пронзенное стрелой амура, и девиз: *«Думай о сердце, пронзенном любовью»*.

— И ничего больше, если мои глаза еще служат мне. Я не склонен думать, синьор, будто в этих словах скрывается какой-либо иной, тайный смысл!

— Возможно. Тебе не приходилось продавать драгоценности с такой эмблемой?

— Праведный Самуил! Мы сбываем их ежедневно, продаем христианам обоих полов и всех возрастов. Не знаю эмблемы более распространенной: выходит, такой пустяк хорошо служит своей цели.

— Тот, кто воспользовался им, поступил достаточно хитро, скрыв свои тайные мысли под столь обычной маской! Я дал бы сто цехинов в награду тому, кто сумеет определить владельца этой печати.

Осия хотел уже было вернуть оттиск и сказать, что не в силах определить владельца печати, но, услышав последние слова синьора Градениго, сразу изменил свое намерение. Через мгновение глаза его вооружились увеличительными стеклами, равными по силе микроскопу, и бумага с оттиском снова была поднесена к лампе.

— Я продал не очень ценный сердолик с такой эмблемой жене императорского посла, но, полагая, что в такой покупке нет ничего, кроме женской прихоти, не пометил камень. Какой-то господин торговал у меня аметист с такой же надписью, но и этот я тоже не пометил... Ха! А ведь здесь, на оттиске, осталась отметинка, которая, очевидно, была сделана моей рукой!

— Неужели ты нашел приметку? О какой метке ты говоришь?

— Ни о чем другом, благородный сенатор, как о пятнышке на букве, которое не привлекло бы внимания легковой дамы.

— И кому ты продал эту печать?

Осия колебался, боясь все испортить и потерять обещанную награду, назвав имя владельца печати слишком быстро.

— Если это так важно, синьор,— сказал он наконец,— мне придется заглянуть в свои книги. В столь значительном деле сенат не должен быть введен в заблуждение.

— Ты прав! Дело действительно важное, и награда — доказательство того, как высоко мы ценим подобную услугу.

— Вы что-то говорили, благороднейший синьор, о ста цехинах, но, когда речь идет о благе Венеции, такая малость меня не занимает.

— Сто цехинов — это обещанная мною сумма.

— Я продал кольцо с печатью, на которой стоял тот же девиз, женщине, служащей у самого высокого лица из свиты папского нунция¹. Но эта печать не может быть оттуда, так как женщина ее положения...

— Ты уверен? — с живостью перебил его синьор Градениго.

Осия внимательно посмотрел на собеседника и, поняв по выражению его лица, что такой оборот дела вполне удачен, поспешно отвечал:

— Так же верно, как то, что я живу по закону Моисееву! Безделушка долго валялась у меня, и я отдал ее за ничтожную цену.

— Ну что ж, цехины твои! Эта тайна разгадана до конца. Иди, ты получишь награду и; если найдешь какие-нибудь подробности в своих секретных книгах, без промедления сообщи об этом мне. Ну, ступай, добрый Осия, и будь внимателен, как всегда. Я устал от постоянных размышлений. Ювелир, лицо которого сохраняло коварство и алчность в восторге от своих успехов, удалился через ту же дверь, в какую вошел.

Теперь как будто приемы этого вечера оказались окончены. Синьор Градениго тщательно осмотрел замки на нескольких потайных ящиках своего комода, потушил лампы, вышел и запер все двери. Некоторое время он еще шагал из угла в угол в одной из главных приемных комнат своего дома, пока не наступил привычный час отдыха и дворец заперли на ночь.

Читатель, вероятно, уже составил себе некоторое представление о нраве человека, который играл главную роль в описанных сценах. Синьор Градениго, как и все прочие люди, родился с зачатками доброты и чуткости, но случай и воспитание, полученное в этой пропитанной ложью республике, превратили его в человека двуличного и коварного. Венеция казалась ему свободным государством, поскольку общественное устройство его представляло ему значительные преимущества; дальновидный и деятельный в повседневной жизни, во всем, что касалось жизни государственной, он проявлял редкостную ограниченность и лицемерие. Он красноречиво рассуждал о че-

¹ Папский нунций — дипломатический представитель римского папы в ранге посла.

стности и добродетели, о религии и правах граждан, но когда приходило время действовать, все эти понятия сводились у него к собственным выгодам так же неизменно, как неизменна сила земного тяготения. Будучи венецианцем, он одинаково противился господству как одного человека, так и большинства; в отношении первого он казался непримиримым республиканцем, а в отношении последнего был приверженцем софизма, провозглашающего господство большинства опорой многих тиранов. Короче говоря, он был аристократом; и ни один человек не убеждал себя более старательно и успешно в незыблемости догм, благоприятствующих его касте, чем это делал синьор Градениго. Он был непреклонным поборником прав, ибо это оказывалось выгодно ему самому; он живо интересовался новшествами в обычаях и превращениями в историях старинных семейств, так как предпочитал действовать согласно не принципам, а собственным склонностям. И он всегда умел отстоять свои взгляды, приводя аналогии из Библии. Он утверждал, что раз сам Бог учредил такой порядок в мироздании, что ангелы небесные превратились в земных людей, то можно без опаски следовать этой беспредельной мудрости, и такая философия, видимо, удовлетворяла его. Основы его воззрений оставались непоколебимы, хотя применение их явилось огромной ошибкой, ибо невозможно представить себе, что какому-либо подобию природы удастся вытеснить самое природу.

ГЛАВА VII

Луна зашла. Не видно ничего.
Лишь слабая лампада
Мадонну освещает.

Роджерс. «Италия».

К тому часу, когда окончились тайные аудиенции во дворце Градениго, веселье на площади Святого Марка начало заметно спадать. В кофейнях оставались лишь группы людей, для которых мимолетные шутки и беззаботный смех на площади не составляли еще веселья; у них имелось достаточно денег, чтобы веселить-

ся иначе. А те, кому пришлось вернуться к заботам о завтрашнем дне, толпами направились к своим скромным жилищам и жестким постелям. Правда, один из этих людей не ушел; он остался стоять там, где соединялись две площади, причем так неподвижно, словно его босые ноги приросли к камню. То был Антонио.

Луна освещала мускулистую фигуру и загорелое лицо рыбака. Темные глаза его тревожно и сурово глядели на озаренный луной небосвод, словно рыбак стремился проникнуть взглядом в иной мир, ища спокойствия, которого не знал на земле. На его обветренном лице застыло страдание, но это было страдание человека, чьи чувства уже притупились, ибо он привык к доле низшего и слабого. Тому, кто считает жизнь и людей лучше, чем они есть на самом деле, он показался бы трогательным примером благородной натуры, страдающей гордо и привыкшей страдать; тогда как тому, кто принимает переходящие общественные порядки как законы, данные свыше, он бы представился натурой упрямой, недовольной и непокорной, по необходимости сдерживаемой властной рукой.

Из груди старика вырвался глубокий вздох. Он пригладил поредевшие от времени волосы, поднял с мостовой свою шапку и собрался уходить.

— Поздненько ты сегодня не ложишься спать, Антонио,— произнес вдруг кто-то совсем рядом.— Должно быть, ты по хорошей цене продал свою рыбу или ее было очень много? Иначе человек твоего ремесла не может позволить себе в этот час прохладиться на площади! Ты слышал? Пробило пятый час ночи.

Рыбак обернулся и безучастно глянул на человека в маске, не выражая ни любопытства, ни волнения.

— Ну, раз ты знаешь меня,— отвечал он,— видимо, ты знаешь и то, что, покинув площадь, я приду в опустевший дом. Если ты хорошо знаешь меня, тебе так же хорошо известны и мои несчастья.

— Кто же обидел тебя, достойный рыбак, что ты осмеливаешься так храбро говорить о своих несчастьях под самыми окнами дожа?

— Республика.

— Святому Марку отвечать так безрассудно. Скажи ты это погромче, мог бы зарычать вон тот лев. Но в чем же ты обвиняешь республику?

— Проводи меня к тем, кто послал тебя, и я все скажу им прямо, без посредников. Я готов поведать о своих горестях самому дожу, сидящему на троне, ибо мне, старику, уже не страшен его гнев.

— Ты думаешь, меня послали к тебе как доносчика?

— Тебе лучше знать свое дело.

Человек снял маску и повернул голову так, что луна осветила его лицо.

— Якопо! — воскликнул рыбак, вглядываясь в выразительные черты браво. — Человек твоего ремесла не может иметь дела ко мне.

Даже при лунном свете стало заметно, как краска залила лицо браво; но больше он ничем не выдал своих чувств.

— Ошибаешься. У меня есть дело к тебе.

— Разве сенат считает, что рыбак с лагун достаточно важное лицо, чтобы удостоиться удара кинжала? Тогда делай свою работу! — сказал Антонио, взглянув на свою обнаженную загорелую грудь. — Ничто не помешает тебе!

— Ты несправедлив ко мне, Антонио. У сената нет такого намерения. Но я слышал, будто у тебя есть причины для недовольства и ты не боишься открыто говорить и на островах и на Лидо о таких делах, которые патриции предпочитают скрывать от простонародья. Я пришел как друг, вовсе не желая вредить тебе, а чтобы предостеречь тебя от последствий таких неразумных поступков.

— Тебя послали сказать мне об этом?

— Старик, годы могли бы научить тебя придерживаться язык. Какая тебе польза от напрасных жалоб на республику и что, кроме зла, могут эти жалобы принести тебе самому и ребенку, которого ты так любишь?

— Не знаю... но, когда болит сердце, невозможно молчать. Они отняли моего мальчика, и у меня не осталось ничего дорогого в жизни. И мне не страшны их угрозы, ибо жить мне все равно осталось недолго.

— Ты должен усмирить свое горе разумом! Синьор Градениго давно уж дружески относится к тебе — я слышал, твоя мать была его кормилицей. Попробуй упросить его, вместо того чтобы злить республику жалобами.

Антонио задумчиво поглядел на собеседника, но, когда тот умолк, он печально покачал головой, словно выражая этим, что от сенатора помощи ждать нечего.

— Я сказал ему все, что только может человек, рожденный и вскормленный на лагунах. Он сенатор, Якопо, и не понимает тех страданий, каких не испытывает сам.

— Ты не прав, старик, и не должен обвинять в черствости человека, рожденного в богатстве, только за то, что он не испытал бедности, от которой ты и сам бы отказался, будь это в твоих силах. У тебя есть гондола и сети; с твоим здоровьем и умением ты счастливее, чем он, у кого ничего этого нет... Разве ты забросил свое искусство или разделил свой скудный доход с нищим у храма Святого Марка, чтобы оба вы стали одинаково богаты?

— Возможно, ты и прав, говоря о нашем труде и доходах, но что касается наших детей — здесь мы равны. Не вижу причин, почему сын патриция может разгуливать на свободе, тогда как мой мальчик обязан идти на верную гибель. Или сенаторам мало власти и богатства и им нужно еще лишить меня внука?

— Но ты ведь знаешь, Антонио, что государству нужны защитники, и, если бы военачальники принялись искать храбрых моряков во дворцах, подумай сам, смогли бы они найти там для флота тех, кто принес славу крылатому льву в трудный час? Твоя старческая рука еще сильна и ноги выдержат любую качку; вот они и ищут таких, как ты, привыкших с детства к морю.

— Ты мог бы добавить, что моя старческая грудь покрыта рубцами. Тебя еще не было на свете, Якопо, когда я пошел сражаться с нехристями, и кровь моя лилась, как вода, во славу отечества. Но они забыли о том, а в храмах на мраморе высечены имена знатных господ, которые вернулись с той же самой войны без единой царапины.

— Все это я слышал от отца, — печально отозвался браво изменившимся голосом. — Он тоже пролил кровь, защищая республику, и это тоже забыто.

Рыбак огляделся вокруг и, заметив, что несколько человек неподалеку о чем-то разговаривают между собой, сделал знак собеседнику следовать за ним и направился в сторону причалов.

— Твой отец,— говорил он, когда они медленно пошли рядом,— был моим товарищем и другом. Я стар, Якопо, и беден, дни мои прошли в труде на лагунах, а ночами я набирался сил для завтрашних трудов. Но мне горько слышать, что сын того, кого я очень любил и с кем так часто делил радость и горе в ясный день и в несчастье, выбрал себе такое занятие, если, конечно, молва не лжет. Золото, которое платят за кровь, никогда не приносит счастья ни тому, кто платит, ни тому, кто его получает.

Браво не пророжил ни слова, но рыбак, который в другое время и в другом расположении духа отшатнулся бы от него, как от прокаженного, грустно глянул на своего спутника и увидел, что мускулы его лица дрожат, а щеки покрыла бледность, которая при лунном свете делала его похожим на привидение.

— Ты позволил нужде ввергнуть себя в смертный грех, Якопо, но ведь никогда не поздно воззвать к святым за помощью и не касаться больше кинжала. Не очень-то лестно человеку слыть твоим другом в Венеции, но друг твоего отца не отвернется от того, кто раскаивается. Оставь кинжал и иди со мной на лагуны. Ты найдешь там труд менее обременительный, чем преступление, и хотя ты никогда не смог бы заменить мне мальчика, которого у меня отняли,—он ведь был невинен как агнец,—все же ты останешься для меня сыном моего старого друга, человеком с истерзанной душой. Пойдем со мной на лагуны; такого бедняка, как я, уже невозможно презирать более, даже если я стану твоим другом.

— Что же говорят про меня люди, если даже ты такого мнения обо мне? — спросил Якопо глухим, срывающимся голосом.

— Ах, если б все, что они говорят, оказалось неправдой! Но почти каждое убийство в Венеции связывают с твоим именем.

— Почему же власти допускают, чтобы такой человек мог открыто плавать по каналам или свободно разгуливать по площади Святого Марка?

— Мы никогда не знаем, как поступит сенат. Одни говорят, что твое время еще не пришло, другие считают, будто ты слишком силен, чтобы судить тебя.

— Ты, видно, одинакового мнения и о правосудии и об инквизиции. Но, если я пойду с тобой сегодня, ты обе-

щаешь мне быть более осторожным в разговорах с рыбаками на Лидо и на островах?

— Когда на сердце тяжесть, стараешься хоть словом как-то облегчить ее. Я сделал бы все, чтобы заставить сына моего друга свернуть со страшного пути, но забыть о своей горе не могу. Ты привык иметь дело с патрициями, Якопо, скажи, может ли человек в одежде рыбака и с потемневшим от солнца лицом прийти к дожу и говорить с ним?

— С виду справедливости в Венеции хоть отбавляй, все дело в ее существе. Я уверен, что тебя выслушают.

— Тогда я останусь здесь, на камнях этой площади, и буду ждать того часа, когда дож поедет завтра на торжество, и попытаюсь склонить его сердце к милости. Он стар, как и я, и пролил кровь за республику, так же как и я, а самое главное — он тоже отец.

— Но ведь и синьор Градениго отец.

— Ты сомневаешься в его сочувствии?

— Что же, попытайся. Дож Венеции выслушает просьбу самого последнего из граждан ее. Думаю, — добавил Якопо едва слышно, — он выслушал бы даже меня.

— Хотя я и не смогу выразить свою мольбу так, как положено говорить с великим властелином, зато он услышит правду от несчастного человека. Они называют его избранником государства, а такой человек должен охотно прислушиваться к справедливым просьбам. Да, Якопо, пусть это жесткая постель, — продолжал рыбак, устраиваясь у подножия колонны Святого Теодора, — но ведь я спал и на худшей и более холодной, а причин для того у меня было меньше... Доброй ночи!

Старик скрестил руки на обнаженной груди, овеваемой морским ветром, а браво еще с минуту постоял рядом, но, когда понял, что Антонио хочет остаться один, ушел, предоставив рыбака самому себе.

Ночь была уже на исходе, и на площадях осталось мало гуляющих. Якопо взглянул на часы и, внимательно оглядев площадь, направился к набережной.

Глубокая тишина царила над всем заливом; у причалов, как обычно, стояли гондолы. Вода слегка потемнела от налетевшего ветерка, который скорее гладил, чем шевелил ее поверхность; ни одного всплеска весла не

слышалось среди леса мачт между Пьяцеттой и Джу-деккой. Браво мгновение колебался, но вот, окинув взглядом площадь, он снова надел маску, отвязал одну из лодок и вскоре уже скользил прочь от причала, к середине гавани.

— Кто идет? — окликнул его человек с борта фелукки, которая стояла на якоре несколько поодаль от других судов.

— Тот, кого ждут, — последовал ответ.

— Родриго?

— Он самый.

— Ты опоздал, — сказал моряк из Калабрии, когда Якопо ступил на нижнюю палубу «Прекрасной соррентинки». — Мои люди давно уж снят, а мне за это время три раза успело присниться кораблекрушение и дважды — ужасающий сирокко.

— Значит, у тебя останется больше времени, чтобы надувать таможенников. Как фелукка — готова к работе?

— Что касается таможенников, так в этом городе, исполненном алчности, много не заработаешь. Вся прибыль достается сенаторам и их друзьям, а мы на своих судах слишком много работаем и слишком мало за это получаем. С тех пор как начался маскарад, я послал всего дюжину бочонков лакрима-кристи на каналы и больше ничего не продал. Так что тебе хватит, если хочешь выпить.

— Я дал обет трезвости. Итак, твое судно готово выполнить поручение?

— А готов ли сенат платить? Ведь то было четвертое плавание по его делам, и все сделано как следует — пусть заглянут в свои секретные бумаги и убедятся в этом.

— Они довольны, и тебе хорошо заплатили.

— Не так уж хорошо. Я гораздо больше заработал на одной партии фруктов с островов, чем за все ночные поездки по делам сената. Вот если б те, кому я служу, дали моей фелукке разрешение войти в каналы, тогда можно было бы действительно кое-что заработать.

— Нет преступления, которое Святой Марк карает так сурово, как контрабанду. Будь осторожен со своим вином, а не то можешь лишиться не только судна и поручений сената, но и свободы!

— Вот это-то меня и возмущает, синьор Родриго! Мы

для республики когда мошенники, а когда и нет. Иной раз сенат доброжелателен к нам, как отец к детям, а в другой — приходится делать свои дела только ночью. Мне очень не нравится столь изменчивое отношение; как только у меня появляется хоть малейшая надежда на заработок, она тотчас рассыпается в прах от такого хмурого взгляда, какой только Святой Януарий мог бы бросить на грешника.

— Запомни, ты находишься не в Средиземном море, а на одном из каналов Венеции. Такой разговор навлечет на тебя беду, если его услышит кто-нибудь другой, менее дружелюбно к тебе настроенный.

— Спасибо за заботу, хотя вид вон того старого дворца — такое же внушительное предупреждение для болтуна, как для пирата виселица на берегу моря. Я встретил старого приятеля на Пьяцетте, когда там уже стали собираться маски, и мы перекинулись несколькими словами на этот счет. Он уверен, что чуть ли не каждый второй человек в Венеции получает деньги за доносы. Очень жаль, Родриго, что сенат при всей его кажущейся любви к правосудию позволяет разгуливать на свободе разным мошенникам, один вид которых заставил бы и камни покраснеть от стыда и гнева!

— Я и не знал, что такие люди открыто разгуливают по Венеции. Тайное преступление может некоторое время оставаться скрытым, потому что его трудно доказать, но...

— Черт возьми! Мне говорили, что у Совета с грешниками разговор короткий — все признаются в своих злодеяниях. А вот взять этого негодяя Якопо... Что с тобой, дружище? Якорь, на который ты оперся, не из раскаленного железа.

— Но он и не из пуха: от одного прикосновения к нему могут заболеть все кости, не в обиду будь сказано.

— Да, конечно, он из железа, которое ковал сам Вулкан. Этот Якопо не достоин гулять на свободе в порядочном городе, а между тем его можно встретить на площади, и расхаживает он там так же спокойно, как любой патриций на Бролио!

— Я его не знаю.

— Если ты не знаком с храбрейшей рукой и надежнейшим клинком Венеции, добрый Родриго, это делает

тебе честь. Мы же в порту хорошо знаем его и при виде этого человека сразу вспоминаем обо всех своих грехах. Удивительно, что инквизиторы до сих пор не прокляли его на одной из публичных церемоний в назидание преступникам помельче!

— Разве его преступления так хорошо известны, что с ним можно расправиться без всяких доказательств?

— Задай-ка этот вопрос на улицах! Если в Венеции умирает христианин,— а их умирает немало, не говоря уж о тех, кого губит борьба за власть,— все уверены, что умер он от руки Якопо. Синьор Родриго, ваши каналы — великолепные могилы для скоропостижно опочивших.

— Думается, здесь что-то не так. То ты говоришь о руке Якопо, то о каналах, воды которых скрывают умерших. Право же, люди ошибаются в Якопо. Может быть, его несправедливо оклеветали?

— Я понимаю, можно оклеветать священника, потому что он, как христианин, должен охранять свое доброе имя ради чести церкви, но что касается браво, так его оклеветать не удалось бы и бывалому адвокату. Не все ли равно, больше или меньше обагрена рука, если на ней кровь человека!

— Ты прав,— с тяжелым вздохом отвечал мнимый Родриго.— Осужденному на смерть безразлично, за одно или за несколько преступлений его казнят.

— А знаешь ли, друг Родриго, я рассуждаю так же, и это придает мне смелости, когда бывает нужно вывезти отсюда товар, чтобы потом тайно продать его. «Ты как бы в сделке с сенатом, достойный Стефано,— говорю я самому себе,— и потому у тебя нет причин особенно разбираться в качестве товара». У этого Якопо такие глаза и такой грозный вид, что если бы он уселся на престол Святого Петра, то люди и там узнали бы его. Но сними маску, синьор Родриго, пусть морской ветер освежит твои щеки. Нечего играть в прятки со старым, испытанным другом.

— Мой долг по отношению к тем, кто послал меня, запрещает мне такую вольность, иначе я с радостью открыл бы тебе мое лицо, Стефано.

— Ты очень осторожен и скрытен, синьор мой, но я поспорил бы с тобой на десять цехинов из тех, которые

ты должен мне заплатить, что завтра безошибочно узнаю тебя среди тысячи людей в толпе на площади Святого Марка. Потому можешь снять свою маску — говорю тебе, ты знаком мне так же хорошо, как латинские реи моей фелукки.

— Тем более незачем мне снимать маску. Несомненно, люди, которые так часто встречаются, узнают друг друга по многим приметам.

— У тебя красивое лицо, синьор, и прятать его совсем ни к чему. Я заметил тебя среди веселившейся толпы, когда ты и не подозревал об этом, и скажу откровенно, вовсе не думая извлечь из этого какую-либо выгоду, человеку с таким красивым лицом нужно всем его показывать, а не прятать всю жизнь под маской.

— Я же сказал тебе: я делаю то, что мне приказано. А раз ты знаешь меня, смотри не выдай.

— Бог ты мой! Твои тайны в такой же безопасности, как если б ты исповедался своему духовнику! Я не из тех, кто шатается среди продавцов воды и разбалтывает тайны, но ты искоса взглянул на меня, когда танцевал среди масок на площади, и я тебе подмигнул! Разве я не прав, Родриго?

— А ты умнее, синьор Стефано, чем я думал, хоть твоё искусство в управлении фелуккой ни для кого не секрет.

— Есть две вещи, синьор Родриго, которые я ценю в себе, хотя, надеюсь, с надлежащей христианской скромностью. Не многие из моряков, плавающих вдоль этого побережья, могут похвастать большим умением управлять судном в мистраль, сирокко, левантер или зефир; а что касается масок, то я узнаю своего знакомого на карнавале, нарядись он хоть самым сатаной! По части предсказания шторма или опознания маски, синьор Родриго, я не знаю себе равного среди людей не слишком ученых.

— Это ценные качества для того, кто живет морем и сомнительной торговлей.

— Ко мне на фелукку приходил мой старый друг Джино, гондольер дона Камилло Монфорте, а с ним — женщина в маске. Он довольно ловко отделался от нее, решив, наверно, что оставил ее среди незнакомых людей. Но я сразу узнал ее — это была дочь виноторговца, который уже пробовал мое лакрима-кристи. Она очень рас-

сердилась на Джино за его выходку, но мы все же воспользовались случаем и заключили с ней сделку на оставшиеся бочонки вина, спрятанные у меня под балластом, в то время как Джино обделывал дела своего господина на площади Святого Марка.

— А что у него за дела, ты не узнал, добрый Стефано?

— Куда там! Гондольер так спешил, что едва успел со мной поздороваться, но вот Аннина...

— Аннина?!

— Она самая. Ты, конечно, знаешь Аннину, дочь старого Томазо, ведь она танцевала в той же компании, где я заметил тебя! Я не говорил бы о девушке так, если бы не знал, что ты и сам не прочь попробовать вино, которое не проходит через таможню.

— Об этом не тревожься. Я поклялся тебе, что ни одна тайна такого рода не сорвется с моих губ. Но эта Аннина — девушка очень расторопная и смелая.

— Между нами говоря, синьор Родриго, не так легко определить, кому здесь в Венеции властями поручено вести слежку, а кому нет. Иногда мне кажется, судя по твоей привычке вздрагивать и по некоторым оттенкам твоего голоса, что и ты не кто иной, как переодетый адмирал галерного флота.

— И это с твоим-то знанием людей!

— Если бы вера никогда не обманывала, кто ее ценил бы? За тобой, Родриго, видно, еще никогда так отчаянно не гонялся нехристь, а не то ты знал бы, как быстро человек переходит от страха к надежде, от ярости — к смиренной молитве. Помню, однажды, в суматохе и сутолоке, когда ревел ветер и свистели ядра, а перед глазами были одни тюрбаны нехристей и в голове только мысли о бастинадо, я начал молиться Святому Стефано таким голосом, каким кричат на собак, а матросов подгонял жалобным мяуканьем. Черт побери! Нужно испытать такие вещи самому, синьор Родриго, чтобы узнать хотя бы, на что ты способен.

— Ты прав. Но кто этот Джино, о ком ты говорил, и как он стал гондольером в Венеции, если родом он из Калабрии?

— Этого я не знаю. Его хозяин — и, можно сказать, мой тоже, так как я тоже родился в его владениях, — молодой герцог Святой Агаты, тот самый, что добивается

поддержки сената в своих притязаниях на богатства и привилегии последнего из рода Монфорте. Дело это тянется так долго, что малый успел стать гондольером, перевозя хозяина из его дворца к тем знатым господам, чьего содействия он ищет... По крайней мере так объясняет все сам Джино.

— Я знаю его. У него одежда цветов его господина. И он не лишен ума?

— Синьор Родриго, вряд ли кто-нибудь из калабрийцев может похвалиться умом. Мы ничем не отличаемся от наших соседей, но исключения всегда случаются. Джино достаточно ловок в своем деле и вообще человек неплохой, но что говорить — мы ведь не ищем в гусятине прелести жареного бекаса. Природа создала человека, а дворян создают короли. А Джино — всего лишь гондольер.

— И искусный?

— Руки и ноги у него на месте, но, когда речь идет о знании людей и простых вещах, бедный Джино — только гондольер! У малого прекрасное сердце, и он никогда не замедлит услужить другу. Я люблю его, но что правда, то правда.

— Ну, держи наготове свою фелукку, она в любой миг может нам понадобиться!

— Тащи свой груз, а я уж сделаю остальное.

— Прощай. Советую воздержаться от других дел и смотри, чтобы завтрашнее веселье не испортило твоих людей!

— Попутного ветра тебе, синьор Родриго. Все будет в порядке.

Браво вернулся в гондолу, и она скользнула прочь от фелукки с легкостью, которая показывала, что рука, управляющая ею, искусно владеет веслом. Якопо помахал Стефано, и вскоре его лодка затерялась среди судов, заполнивших порт.

Еще несколько минут капитан «Прекрасной соррентинки» шагал по палубе, вдыхая прохладный ветерок с Лидо, а затем отправился вниз, спать.

К этому времени темные, бесшумные гондолы, обычно сотнями снующие по водному простору, уже скрылись. Не слышалось более звуков музыки на каналах, и Венеция, в другое время такая оживленная, теперь, казалось, заснула мертвым сном.

Глава VIII

Рыбак везет семью — жену с ребенком,
Покинув свой зеленый островок.
А рядом — землепашец. Близ него —
Простая деревенская девчушка,
Впервые убежавшая из дома;
Монахини, монахи — на пароме
Столпились все.

Роджерс. «Италия».

Никогда еще массивные купола, великолепные дворцы и сверкающие каналы Венеции не заливало столь ярким солнцем, как в день, наступивший после этой ночи. Солнце едва показалось над низким берегом Лидо, а на площади Святого Марка уже раздались звуки рогов и труб. Долгим эхом прокатился в ответ пушечный выстрел из дальнего Арсенала. Тысяча быстрых гондол заскользила из каналов во всех направлениях, через порт, Джудекку и различные внешние каналы, а морская дорога от Фузины и близлежащих островов оказалась усеяна бесчисленным множеством лодок, спешащих к городу.

Горожане в праздничных одеждах стали спозаранку выходить на улицы и площади. Мосты запестрели яркими платьями простолюдинок. Еще до полудня все улицы, ведущие к большой площади, опять, как и вчера, заполнили веселые людские потоки, и к тому времени, когда на колокольне древнего собора умолк торжественный праздничный перезвон, на площади Святого Марка снова бурлила пестрая толпа. Но сегодня мало кто надел маски, глаза светились радостью, и люди с удовольствием поглядывали друг на друга, открыто и дружелюбно. Одним словом, в день своего любимого торжества Венеция и ее народ были веселы и беззаботны. Знамена покоренных земель полоскались на триумфальных мачтах, на всех колокольнях висели изображения крылатого льва, а дворцы были щедро расцвечены шелковыми драпировками, спускающимися с балконов и окон.

Над всей этой оживленной и яркой сотысячной толпой стоял неумолчный гул голосов. Иногда, заглушая его, ввысь взметались голоса труб и звучал приглушенный хор других инструментов. У подножия мачт, на которых развевались знамена покоренных Кандии, Крита и Мореи, примостились импровизаторы, которые на самом

деле служили негласными агентами Тайного Совета, и живо повествовали простым и ясным языком о былых победах республики, тогда как в ином месте, среди жадно внимающей толпы, бродячие певцы восхваляли славу и справедливость государства Святого Марка. Каждый удачный намек на события, которыми народ гордился, сопровождался возгласами одобрения, и крики «браво», громкие и часто повторяемые, служили наградой служителям властей всякий раз, когда им удавалось особенно искусно сыграть на воображении и тщеславии слушателей.

Тем временем сотни гондол, богато украшенных резьбой и позолотой, начали собираться в порту, доставляя сюда самых прекрасных и изящных венецианок. Корабли уже освободили проход, и гондолам открылся широкий путь из гавани у набережной Пьяцетты к дальним отменям, сдерживающим воды Адриатики. Вдоль всего этого водного пути быстро собиралось множество различных по форме и убранству лодок, где теснились любопытные.

Сутолока все увеличивалась, по мере того как солнце поднималось к зениту. Обширные равнины Падовано, казалось, отдали все свое население непрерывно растущей веселой людской толпе. Появилось несколько робких и нерешительных масок; то были монахи, которые тоже хотели немного развлечься и тайком урвать несколько приятных минут, внеся хоть какое-то разнообразие в свою скучную отшельническую жизнь. Вот появились богатые морские суда послов иностранных государств, поддерживающих связи с Венецией; наконец раздались звуки фанфар, и под приветственные крики из арсенального канала выплыл «Буцентавр» и стремительно двинулся к стоянке у набережной площади Святого Марка.

Все эти необходимые приготовления заняли несколько часов. Но вот алебардщики и другие стражи, охраняющие главу республики, стали расчищать дорогу в толпе. Затем гармоничные звуки сотен музыкальных инструментов возвестили о выходе дожа.

Мы не станем удлинять свое повествование описанием помпезности, с какой роскошествующая и богатейшая аристократия, всегда державшаяся в стороне от тех, кем управляла, теперь, по случаю народного праздника выставляла напоказ все свое великолепие. Из-под галереи дворца появилась длинная вереница сенаторов, одетых в должностные облачения и окруженных слугами в лив-

реях, и спустилась по Лестнице Гигантов в мрачный двор. Оттуда все в стройном порядке вышли на Пьяцетту и заняли места на крытой палубе всем известного судна. Каждому патрицию отводилось свое особое место, и не успели еще последние участники шествия покинуть набережную, как длинный, внушительный ряд суровых законодателей уже восседал на галере строго по старшинству. Посланники, высшие сановники государства и старец, на долю которого в ту пору выпала честь олицетворять собой высшую власть в стране, еще оставались на берегу, с привычной неторопливостью ожидая мгновения, когда им надлежит ступить на палубу корабля.

Как раз в этот миг старый рыбак со смуглым лицом, с босыми ногами и открытой грудью прорвался сквозь стражу и пал на колени перед дожем на камни набережной.

— Справедливости, великий государь! — вскричал храбрец. — Справедливости и милосердия! Выслушай человека, который пролил кровь за республику Святого Марка; эти шрамы — достаточное тому свидетельство!

— Справедливость и милосердие не всегда идут рука об руку, — спокойно отвечал тот, на чьей голове красовался «рогатый чепец» дожа, и жестом приказал страже оставить просителя в покое.

— Великий государь, я взываю к вашему милосердию.

— Кто ты и чем занимаешься?

— Я рыбак с лагун. Зовут меня Антонио, и я прошу свободы для славного мальчика, — моей единственной опоры в жизни, — которого государственная стража силой оторвала от меня.

— Так не должно быть! Насилие несвойственно справедливости. Но, быть может, юноша нарушил закон и наказан за свои преступления?

— Его вина, светлейший и справедливейший синьор, лишь в том, что он молод, здоров, силен и искушен в морском деле. Его забрали в галерный флот, не спросив согласия и не предупредив, а я на старости лет остался в одиночестве.

Выражение жалости, которое появилось было на светлом лице дожа, сразу сменилось недоверием, его взгляд, прежде смягченный состраданием, стал холоден. Дож сделал знак страже и с достоинством поклонился иностранным посланникам, внимательным и любопытным сви-

детелям этого разговора, жестом приказав двигаться дальше.

— Уведите этого человека, — сказал один из сановников, повинувшись взгляду своего повелителя. — Нельзя задерживать церемонию из-за такой вздорной просьбы.

Антонио не оказал никакого сопротивления и, уступая напору окружающих, покорно отступил и затерялся в толпе.

Через несколько минут это происшествие оказалось забыто, и все опять были поглощены более интересным событием.

Как только дож и свита его заняли свои места, прославленный адмирал стал к рулевому колесу, и огромный роскошный корабль с позолоченными поручнями, заполненный знатью, плавно и величественно отчалил от набережной. Тотчас вновь раздались ликующие фанфары, последовал новый взрыв восторга зрителей. Толпа бросилась к воде, и, когда «Буцентавр» достиг середины гавани, канал почернел от гондол, устремившихся следом за ним. Весь этот шумный и веселый кортеж мчался вперед. Иногда какая-нибудь гондола, словно молния, мелькала у носа идущей впереди галеры, другие, будто мелкая рыбешка, теснились поближе к громадному судну, насколько позволял размах его тяжелых весел. По мере того как с каждым новым усилием матросов корабль все дальше уходил от земли, он, казалось, каким-то таинственным образом удлинялся, ибо тянувшийся позади него шлейф все рос и рос. Дружное движение корабля и лодок не нарушилось до тех пор, пока «Бруцентавр» не миновал остров, издавна славившийся своим монастырем благочестивых армян. Здесь движение замедлилось, чтобы множество гондол могло еще приблизиться, и вся процессия, слившись опять воедино, остановилась у места высадки, то есть у берегов острова Лидо.

Венчание дожа с Адриатикой, как называлась эта странная церемония, описано уже много раз, и потому нет необходимости вновь повторять его здесь. Нас интересуют большие события личного и частного свойства, чем общественные, и потому мы пропустим все, что не имеет непосредственного касательства к нашему повествованию.

Когда «Буцентавр» остановился, пространство вокруг его кормы освободили, и на богато убранном мостике, устроенном так, что его было видно далеко вокруг, по-

явился дож. В поднятой руке он держал кольцо, сверкающее драгоценными камнями; затем, произнеся слова, подобающие церемонии обручения, он бросил кольцо на лоно своей символической невесты. Раздались возгласы, снова зазвучали фанфары, и дамы замахали платками, приветствуя счастливый союз.

В ту самую минуту, когда шум еще больше усилился грохотом бортовых орудий кораблей, стоявших на каналах, и пушек в Арсенале, под кормой «Буцентавра» проскользнула лодка. Руки, управлявшие ею, были искусны и сильны, хотя волосы того, кто держал весло, уже поредели и побелели от старости. Человек этот бросил молящий взгляд на счастливые лица людей, украшавших собою палубу властителя, и быстро опустил голову. С лодки упал маленький рыбацкий буй, и она скользнула прочь так быстро, что среди всеобщего оживления и шума никто не обратил на нее внимания.

Вскоре праздничная процессия повернула к городу под оглушительные крики толпы, приветствовавшей счастливое завершение церемонии, которой история и благословение римского папы придали особую святость, еще усугубляемую суеверием. Правда, нашлись бы среди венецианцев и такие, кто относился к знаменитому венчанию дожа с Адриатикой без всякого восторга и умиления, да и некоторые посланники северных морских держав, которым уже случилось сделаться свидетелями этой церемонии, едва скрывали улыбку, обмениваясь многозначительными взглядами. И все же обычай этот продолжал существовать, ибо мнимое величие страны, если оно долго и упорно внушается ее подданным, так влияет на людей, что ни растущая слабость республики Святого Марка, ни всем известное превосходство других стран в Адриатике, которую республика все еще считала своим владением, не побудили их подвергнуть это столь преувеличенное мнение о себе тому осмеянию, какого оно залуживает. История показала миру, что Венеция упорно продолжала лелеять этот обман целые столетия, хотя и благоразумие, и умеренность подсказывали, что его пора прекратить. Но в описываемый нами век упоенное честолюбием государство только начинало, пожалуй, ощущать явные признаки увядания, хотя полностью еще не признавало, что уже быстро катится в бездну. Так и общества и отдельные люди, приближаясь к своему закату, не замечают признаков упадка, пока их не застигнет

врасплох та судьба, что равно сокрушает как мощные империи, так и слабого человека.

«Буцентавр» не вернулся прямо в гавань, чтобы оставить на берегу свой почетный и драгоценный груз. Яркая, праздничная галера бросила якорь в центре порта, напротив широкого устья Большого канала. Целое утро специально назначенные люди только и занимались тем, что заставляли все тяжелые суда, которые обычно сотнями стояли в этой главной артерии города, отойти в сторону и освободить место. Теперь же глашатаи призывали горожан посмотреть гонки, которыми оканчивались торжественные церемонии дня. Венеция благодаря своему образному расположению и огромному количеству людей, сделавших греблю своим ремеслом, издавна славилась этими развлечениями на воде. Предания делают известными и прославляют целые семьи за хранимое ими искусство гребли, подобно тому, как в Риме некоторые семьи известны и прославлены за подвиги, гораздо менее полезные и куда более варварские. Для гонок выбирали обычно гребцов самых сильных и опытных; затем участники молились своим святым покровителям, а публика старалась вдохновить их песнями, сообщающими о подвигах их предков, после чего под крики возбужденной толпы начинались гонки,— зрители изо всех сил старались помочь гребцам, пробуждая в них честолюбие и жажду победы.

Как только «Буцентавр» занял свое место, появилось тридцать или сорок одетых в праздничные наряды гондольеров, окруженных взволнованными друзьями и родными. Будущим соперникам следовало поддерживать былую честь и славу своих имен, и все громко предостерегали их от позора поражения. Мужчины приветствовали их одобрительными возгласами, а слабая половина рода человеческого поощряла улыбками и слезами. Гондольерам напомнили об ожидавшей их награде, вознесли молитву святым о помощи, а затем под веселые возгласы и добрые пожелания толпы отпустили разыскивать предназначенные им места у кормы галеры дожа.

Как уже упоминалось на этих страницах, Венеция разделена на две почти что равные части каналом, гораздо более широким, чем обычные водные дороги города. Эта главная артерия за свои размеры и особое значение для города получила название Большой канал. Течение его так же неровно и изменчиво, как и его русло, в него

очень часто заходят самые большие суда из залива, и потому он служит, по существу, вторым портом, а так как он очень широк, на всем протяжении через него перекинут только один мост — знаменитый Риальто.

На этом канале и происходили гонки, ибо он весьма удобен своей длиной и шириной, да к тому же по берегам его расположены многие дворцы знатных сенаторов, что тоже представляло удобство для наблюдения за состязанием.

Гребцам запрещалось делать какие-либо усилия, когда они плыли на другой конец этого длинного канала, откуда должны были начаться гонки. Взгляд их скользил по роскошным драпировкам, какие и до сих пор вывешиваются в Италии из каждого окна во время празднеств, останавливался на богато одетых женщинах, блиставших особым очарованием, свойственным только знаменитым венецианским красавицам, теснившимся сейчас на балконах. Те из гребцов, кто состояли гондольерами в частном услужении, проплывая мимо дворцов своих господ, поднимались во весь рост и кланялись в знак благодарности за покровительство; остальные же старались обрести поддержку расположенной к ним толпы.

Наконец все было готово, соперники заняли свои места. Их гондолы были много больше обычных, и в каждой посредине помещалось по три гребца, а четвертый, стоя на маленьком кормовом мостике, орудовал рулевым веслом, помогая вместе с тем движению лодки. На носу, на тонких, невысоких шестах, развевались флаги фамильных цветов некоторых благородных семейств республики или простые девизы, подсказанные воображением тех, кому принадлежали суденышки. Кто-то произвел несколько замысловатых взмахов веслом, как это делают искусные фехтовальщики, прежде чем начать наносить и отражать удары; затем, круто развернув гондолы, словно гарцуя на обузданных скакунах, все, как только раздался выстрел, мгновенно устремились вперед. Начало гонки сопровождалось дружным возгласом зрителей, прокатившимся вдоль всего канала; все нетерпеливо оборачивались, следя за гонщиками, несущимися от одного балкона к другому, и наконец это невольное движение сообщилось и тому бесценному грузу, под тяжестью которого изнемогал «Буцентавр».

На протяжении нескольких минут ни один из гребцов не выделился среди прочих. Все гондолы скользили по

волнам так же свободно и легко, как проносится над озером, едва касаясь воды, легкокрылая ласточка, и ни одна из десяти гондол, казалось, не имела преимущества. Но по причине ли ловкости рулевых, или выносливости гребцов, а возможно, и каких-то особых свойств лодок, но так или иначе кучка суденышек, которые вначале шли, как плотная стая взлетевших в испуге птиц, начала растягиваться, и вскоре лодки эти образовали длинную извилистую линию посреди канала. Весь этот караван промчался под мостом такой плотной массой, что грудно еще было предугадать, какая из лодок окажется победительницей, и самая волнующая борьба развернулась уже перед взорами важнейших лиц города.

Здесь обнаружились те особые достоинства, какие в подобных случаях и приносят удачу. Слабейшие начали отставать, караван удлинился; надежды и опасения возросли, и кто оказался впереди, уже являл собою волнующее зрелище успеха, но те, что отстали, продолжали бороться без всякой надежды, являя собой еще более благородное зрелище. Постепенно расстояние между лодками увеличилось, а между ними и финишем быстро уменьшалось, пока наконец три гондолы не вырвались вперед и, мелькнув точно стрелы, примчались под корму «Буцентавра» почти что рядом.

Приз разыгран, победители будут награждены, пушечные выстрелы возвестили начало всеобщего ликования. Музыка вторила грохоту орудий и звону колоколов, и все, даже разочарованные, приветствовали победителей, ибо таково обычное и часто опасное свойство нашей натуры.

Когда шум стих, герольд громко возвестил начало нового состязания. Только что окончившиеся гонки можно назвать народными, ибо в них по старинному обычаю могли участвовать только известные и уже признанные гондольеры Венеции. Награда присуждалась властями города, и само состязание несло оттенок чего-то торжественного и имеющего касательство к делам государственным. Теперь же объявили, что начинаются новые гонки и в них могут принять участие все желающие, независимо от их происхождения и рода занятий. Золотое весло на золотой цепи будет вручено как подарок самого дожа тому, кто покажет самую большую ловкость и силу в предстоящей борьбе; такой же приз, но



из серебра получит тот, кто придет вторым; третьим призом была небольшая лодка, сделанная из менее драгоценного металла. Гондолы, участвовавшие в этом состязании, были обычными для канала суденышками; а так как участникам этих гонок предстояло показать особое искусство гребли, бытующее в городе ста островов, в каждую лодку допускался только один человек, на кого и падали все обязанности управления, когда он поведет свой кораблик.

Гребцы, принимавшие участие в первом состязании, могли участвовать и во втором, и всем желающим предложено было подойти под корму «Буцентавра» и объявить о своем желании не позднее определенного времени. Условия состязания объявили заранее, и перерыв между двумя гонками не затянулся надолго.

Первым, кто подошел к «Буцентавру» из массы лодок, окружавших свободное пространство, оставленное для состязающихся, оказался гондольер, хорошо известный умением владеть веслом и своими песнями на каналах.

— Как тебя зовут и кому ты вручаешь свою судьбу? — спросил герольд, распорядитель этого состязания.

— Все зовут меня Бартоломео, живу я между Пьяцеттой и Лидо и, как верный венецианец, вверяюсь Святому Теодору.

— У тебя сильный покровитель. Занимай место и жди.

Счастливый гондольер коснулся веслом воды, и легкая лодка его, словно лебедь, внезапно скользнула в сторону и вылетела на середину свободного пространства.

— А ты кто такой? — обратился распорядитель к следующему.

— Энрико, гондольер из Фузины. Пришел вот потягаться с хвастунишками с каналов.

— Чьему покровительству ты вверяешься?

— Святому Антонио Падуанскому.

— Тебе понадобится его помощь, хотя мы и одобряем твою смелость. Ступай, займи свое место... А кто ты? — окликнул он третьего, когда гондольер из Фузины с тем же изяществом и легкостью, что и Бартоломео, отвел свою гондолу в сторону.

— Я из Калабрии, зовут меня Джино. Я гондольер на частной службе.

— И кто твой господин?

— Прославленный и высокочтимый дон Камилло Монфорте, герцог и владелец поместья Святой Агаты в Неаполе и по праву сенатор Венеции.

— Можно предположить, будто ты из Падуи, дружище, судя по твоему знанию законов! Вверяешься ли ты тому, кому служишь?

Ответ Джино произвел замешательство среди сенаторов, и перепуганному гондольеру показалось, что он уже ощутил на себе неодобрительные взгляды. Он оглядывался вокруг в поисках того, чьей знатностью похвалялся, словно ища у него поддержки.

— Ну, что, назовешь ты имя того, кто поможет тебе в этом великом испытании сил? — повторил герольд.

— Мой господин, — выдавил из себя испуганный Джино, — Святой Януарий и Святой Марк.

— У тебя хорошая защита. Если тебе и не помогут двое последних, на первого ты всегда можешь рассчитывать.

— Твой господин носит славное имя, и мы рады присутствию его на наших состязаниях, — заметил дож, слегка наклонив голову в сторону молодого калабрийского вельможи, чья лодка стояла неподалеку от правительственной гондолы и кто с глубоким интересом наблюдал за этой сценой. В ответ на столь своевременное вмешательство дожа дон Камилло низко поклонился, и церемония продолжалась.

— Займи свое место, Джино из Калабрии, и желаю тебе успеха, — произнес распорядитель, а затем, повернувшись к следующему, с удивлением спросил: — А ты зачем здесь?

— Хочу испытать скорость моей гондолы.

— Ты стар и не годишься для такого состязания: побереги силы для повседневных трудов. Только безрасудное честолюбие могло побудить тебя решиться на столь бесполезную и опасную выдумку.

Новый соискатель пригнал под корму «Буцентавра» простую рыбацкую гондолу, неплохой формы и довольно легкую, но носившую на себе следы его постоянного труда. Рыбак покорно выслушал замечание и намеревался уже повернуть лодку назад, хотя глаза его стали печальными; но тут дож подал ему знак остановиться.

— Расспросите его, как и других, — сказал дож.

— Как твое имя? — неохотно произнес распорядитель, который, как все подчиненные, гораздо ревнивее

относился к своей почетной обязанности, чем люди, стоящие выше его.

— Меня зовут Антонио, я рыбак с лагун.

— Ты стар!

— Синьор, никто не знает этого лучше меня. Шестидесят раз наступало лето с тех пор, как я впервые закинул невод или поставил сеть в море.

— Ты одет не так, как приличествует участнику гонок, предстоящему перед дожем Венеции.

— На мне лучшее, что у меня есть. Большую честь присутствующим не смог бы оказать никто.

— Твои руки и ноги не прикрыты... твоя грудь обнажена... твои члены слабы. Напрасно ты прерываешь развлечения знатных особ своей легкомысленной затеей. Ступай!

Опять Антонио хотел уж скрыться от десяти тысяч глаз, разглядывавших его, но спокойный голос дожа снова пришел ему на помощь.

— Состязания открыты для всех,— произнес он.— И все же советую бедному старому человеку прислушаться к разумным речам. Дайте ему серебра — возможно, нужда толкает его на столь безнадежное дело.

— Слышишь, тебе предлагают милостыню; уступи место тем, кто сильнее тебя и больше годится для состязаний.

— Я повинуюсь, это доля каждого, кто родился и вырос в бедности. Говорили, будто гонки открыты для всех, и я прошу прощения у благородных господ — я не хотел оскорбить их.

— Справедливость одна для всех,— поспешно вмешался дож.— Если он желает остаться, это его право. Святой Марк гордится тем, что весы его правосудия держит беспристрастная рука.

Гул одобрения сопровождал эти лицемерные слова, ибо провозглашение справедливости власть имущих всегда находит отклик в душах людей, хотя слова эти отнюдь не всегда соответствуют делам.

— Ты слышал, его высочество, чье слово — глас великого государства, разрешил тебе остаться, хотя тебе лучше было бы удалиться.

— Ну, тогда я посмотрю, есть ли еще силы в этих руках,— отвечал Антонио, бросая печальный, но и не лишенный тайной гордости взгляд на свою изношенную,

жалкую одежду.— Конечно, члены мои ослабли в битвах с нехристями, но надеюсь, они еще послужат мне сегодня верой и правдой.

— Кому ты вверяешь свою судьбу?

— Благословению Святого Антония Чудотворца.

— Займи место. Ха! А вот кто-то не хочет быть узанным! Кто же ты, скрывающий свое лицо?

— Зови меня маской.

— Судя по крепким ногам и рукам, тебе нет необходимости прятать свое лицо. Угодно ли будет вашему высочеству допустить маску к состязанию?

— Конечно. В Венеции маска священна. Слава нашим прекрасным и мудрым законам, разрешающим каждому, кто желает пребывать наедине со своими мыслями и избежать любопытных взглядов, скрыть свое лицо и бродить по нашим улицам и каналам, чувствуя себя в такой же безопасности, как если бы он оставался в собственном доме. Таковы великие привилегии свободы, и такова она для всех граждан щедрого, великодушного и свободного государства!

Тысячи голов склонились в знак одобрения, и из уст в уста покатилась молва о том, что какой-то молодой и знатный господин хочет попытать счастья в гонках в угоду своей красавице.

— Такова справедливость! — громко воскликнул герольд; восторг, теснивший его грудь, очевидно, пересилил в нем почтительность.— Счастлив тот, кто родился в Венеции, завидна судьба народа, в советах которого председательствуют мудрость и милосердие подобно прекрасным и добрым сестрам! Кому же ты вверяешь себя?

— Собственной руке.

— Ах, вот как? Это не благочестиво! Столь самонадеянный человек не может принять участие в этих славных гонках.

Торопливое восклицание герольда взволновало зрителей, вызвав внезапное возбуждение толпы.

— Для республики все ее дети равны! — заключил дож.— Мы гордимся этим, и упаси нас благословенный Святой Марк произнести что-либо похожее на хвастовство. Но поистине мы не можем не похвалить себя за то, что не делаем различия между нашими подданными, живущими на островах или на побережье Далмации, между Падуей и Кандией, Корфу и землей Святого Георгия.

И все же никому не дозволено отказываться от помощи святых.

— Назови своего покровителя или уступи место другим,— повторил исполнительный герольд.

Незнакомец помедлил мгновение, словно раздумывая, а затем отвечал:

— Святой Иоанн Пустынник.

— Ты назвал всеми почитаемого святого!

— Я назвал того, кто, возможно, сжалится надо мной в пустыне сей жизни.

— Тебе, конечно, лучше знать себя, но уважаемые патриции, прекрасные дамы и наш добрый народ ожидают следующего участника. Займи свое место.

Пока герольд опрашивал еще троих или четверых желающих участвовать в гонках — все они оказались гондольерами на частной службе,— среди зрителей не умолкал ропот, доказывающий, сколь большой интерес вызвали ответы и внешность двух последних соперников. Тем временем молодые господа, которые покровительствовали последним из опрашиваемых гондольеров, начали пробираться среди скопища лодок, чтобы пожелать успеха слугам и высказать свои надежды и пожелания, как то было в обычаях тех времен.

Наконец объявили, что список участников полон, и гондолы отправились, как и прежде, к месту начала гонок, освободив пространство под кормой «Буцентавра». Сцена, последовавшая за этим, происходила на глазах у всех важных персон, которые взяли на себя заботу о частных интересах людей так же, как и об общественных нуждах Венеции.

Здесь присутствовало много дам высокого происхождения; масок на них не было, и они оживленно глядели по сторонам, сидя в своих гондолах в обществе изящных кавалеров. Но кое-где все-таки сверкающие черные глаза их смотрели сквозь отверстия шелковых масок, скрывавших лица красавиц слишком юных, чтобы показываться на столь веселом празднестве. Одна гондола привлекала к себе особое внимание; в ней находилась женщина, изящество и красота которой не оставляли сомнений, хотя она и была одета намеренно просто. Лодка, слуги и дамы — их там было двое — отличались той изысканно строгой простотой, что свидетельствует о высоком происхождении и тонком вкусе гораздо больше, чем грубая мишура роскоши. Монах-кармелит, чье лицо

скрывал капюшон, своим присутствием подтверждал высокое положение дам и, казалось, обращал на него особое внимание, почтительно и неотступно охраняя своих спутниц. Сотни гондол приближались к этой лодке, и сидевшие там после многих безуспешных попыток разглядеть под масками лица находившихся в ней шепотом расспрашивали друг друга об имени и происхождении юной красавицы, а затем скользили прочь. Но вот ярко украшенное суденышко, великолепно снаряженное, с гребцами в роскошных ливреях, вошло в небольшой круг, состоявший из любопытных, теснившихся вокруг. Мужчина в лодке поднялся — в такой день никто не ставил на гондолах мрачных балдахин — и так приветствовал женщин в масках с непринужденностью человека, умеющего держать себя среди любого общества, и вместе с тем с глубокой почтительностью.

— В этой гонке принимает участие мой гондольер, — проговорил он учтиво, — на силу и ловкость которого я очень надеюсь. До сих пор я тщетно искал даму такой красоты и добродетели, чьей улыбке мог решиться бы посвятить его успех. Теперь я нашел ее.

— У вас очень проницательный взгляд, синьор, если вам удалось разглядеть под маской то, что вы искали, — отозвалась одна из дам, а сопровождавший их монах вежливо поклонился, ибо слова мужчины ничем не отличались от комплиментов, обычных для подобных случаев.

— Увидеть можно не только глазами, сударыня, и восхищаться не только разумом. Прячьте свое лицо сколько вам угодно, я все равно твердо знаю, что передо мной самое прекрасное лицо, самое доброе сердце и самая чистая душа Венеции!

— Смелая догадка, синьор, — отвечала та, что была, очевидно, старшей, бросая взгляд на свою спутницу, словно пытаюсь уловить впечатление, какое произвела на нее эта галантная речь.

— Венеция славится красотой женщин, а солнце Италии согревает многие благородные сердца.

— Следовало бы восхвалять так создателя, а не его создание, — прошептал монах.

— Но ведь можно восхищаться и тем и другим, падре. Надеюсь, таков удел той, кто имеет счастье следовать советам столь добродетельного и мудрого наставника, как вы. Вам вверяю я судьбу своего успеха,

каков бы он ни был,— снова обратился кавалер к даме в маске.— С радостью вверил бы вам и нечто более значительное, если б мне разрешили это.

Говоря так, он подал молчаливой красавице букет прекрасных душистых цветов; среди них были те, какие и поэты и обычай полагают символом любви и верности. Девушка пришла в замешательство, не зная, принять ли этот дар,— такой поступок нарушал пределы учтивости, приличной ее положению и возрасту, хотя в подобных случаях и допускались некоторые вольности. Со скромностью неискушенной девушки она невольно смутилась при таком открытом проявлении чувств.

— Прими цветы, дитя мое,— ласково прошептала ее спутница.— Кавалер предлагает их только из учтивости.

— Время покажет,— с живостью подхватил дон Камилло (так как то был именно он).— До свидания, синьорица, мы уж встретились с вами на воде, но тогда вы не остались так сдержанны, как сегодня.

Он поклонился, подал знак гондольеру, и лодка его вскоре затерялась среди других. Но, прежде чем он отплыл, маска молчаливой красавицы слегка приподнялась, словно девушке стало душно, и неаполитанец был вознагражден за свою любезность, мельком увидев вспыхнувшее лицо Виолетты.

— Твой опекун недоволен,— поспешно шепнула донна Флоринда.— Удивляюсь, как могли узнать нас!

— Я больше удивилась бы, если б этого не произошло. Я смогла бы узнать благородного неаполитанца среди миллиона людей! Ты забыла, чем я обязана ему!

Донна Флоринда не ответила, но мысленно произнесла горячую молитву, прося святых, чтобы услуга эта не повредила будущему счастью той, кому была оказана. Украдкой она обменялась тревожным взглядом с кармелитом, но никто из них не произнес ни слова, и в лодке воцарилось долгое молчание.

Пушечный выстрел и оживление, которое опять началось на канале, неподалеку от места, где происходили состязания, вывели их из задумчивости, а громкий звук трубы напомнил о причине, по которой они очутились здесь, среди веселой, смеющейся толпы, окружавшей их. Но, прежде чем продолжить наше повествование, необходимо вернуться немного назад.

Глава IX

Ты свеж и бодр, и ты сюда явился,
Опережая время.

Шекспир. «Троил и Крессида».

Мы уже видели, как гондолы, допущенные к гонкам, отвели к месту начала их, чтобы гондольеры могли вступить в состязание со свежими силами. Даже бедный, плохо одетый рыбак не остался забыт, и его лодку вместе с другими привязали к большому баркасу, для того предназначенному. Но все же, когда он продвигался так мимо заполненных людьми балконов, мимо скрипевших под тяжестью людей судов, которые вытянулись по обеим сторонам канала, отовсюду раздавался презрительный смех — он всегда тем громче и дружнее, чем несчастнее его жертва.

Старик не остался глух к насмешкам, обращенным к нему; глубоко сознавая свое падение, он не в силах был оставаться равнодушным к столь откровенному презрению. Антонио с грустью оглядывался вокруг, стараясь отыскать в глазах зрителей хоть крупницу сочувствия, которого так жаждала его израненная душа, но даже люди его состояния и ремесла не скупились на едкие фразы; и, хотя из всех участников гонок он был, возможно, единственным, чьи побуждения оправдывали жажду победы, тем не менее он один казался общим для всех объектом поношения. Проявление этой отвратительной черты человеческой натуры мы можем обнаружить не только в Венеции с ее устоями, — давно известно, что никто не бывает столь высокомерен, как униженные, и что трусость и наглость часто уживаются в одном существе.

Движение лодок случайно свело гонщика в маске со старым рыбаком.

— Нельзя сказать, будто ты пользуешься особой любовью этих людей, — заметил первый, когда град насмешек снова обрушился на голову покорного старика. — Ты даже не подумал о своем платье: а ведь Венеция — город роскоши, и тот, кто хочет заслужить рукоплескания, должен стремиться скрыть свою бедность.

— Я знаю их! — отвечал рыбак. — Гордость лишает их разума, и они дурно думают о тех, кто не тешит их тщеславие. Но, неизвестный друг, я не стыжусь пока-

заться на людях, хоть я и стар, и лицо изборождено морщинами и обветрено, словно камни на берегу моря.

— Есть причины, тебе неизвестные, которые заставляют меня носить маску. Но если лицо мое и скрыто, то по моим рукам и ногам ты можешь судить, что у меня довольно силы, чтобы рассчитывать на успех. А ты, видно, недостаточно подумал, прежде чем подвергать себя такому унижению. После твоего поражения люди не станут более доброжелательны к тебе.

— К старости мои члены, конечно, потеряли упругость, синьор Маска, зато они издавна привыкли к тяжелой работе. А что касается позора, если только позорна бедность,— так мне не впервые его терпеть. На меня свалилось слишком большое горе, и эта гонка может облегчить его. Конечно, неприятно слышать насмешки, и не стану притворяться, будто отношусь к ним как к легкому ветерку на лагунах. Нет, человек остается человеком, даже если он очень беден. Но пусть себе смеются, святой Антоний даст мне силы вынести все.

— Ты отважный человек, рыбак, и я с радостью просил бы своего святого покровителя даровать силу твоим рукам, если бы только сам не нуждался в победе. Останешься ты доволен вторым призом, если я сумею как-нибудь помочь тебе? Думаю, металл третьего тебе не по вкусу, как, впрочем, и мне самому.

— Нет, мне не нужно ни золота, ни серебра.

— Неужели слава участия в подобной борьбе пробудила тщеславие даже в таком человеке, как ты?

Старик пристально глянул на собеседника и, покачив головой, промолчал. Новый взрыв смеха заставил его обернуться к насмешникам, и он увидел, что плывет мимо своих приятелей, рыбаков с лагун; они, казалось, чувствовали себя даже оскорбленными таким поступком старика, его нелепыми притязаниями.

— Ну и ну, старый Антонио! — крикнул самый смелый из них. — Как видно, тебе мало того, что ты зарабатываешь сетью, захотелось золотое весло на шею?

— Скоро он будет заседать в сенате! — вторил другой.

— Он мечтает о «рогате чепце» на лысую голову! — выкрикнул третий. — Скоро мы увидим храброго адмирала Антонио на борту «Буцентавра», рядом со знатнейшими людьми республики!

Все эти шутки сопровождались раскатистым смехом.

Даже дамы, украсившие собой балконы, не остались безучастны к насмешкам: уж слишком разительно было несоответствие между торжественной пышностью праздника и столь странным претендентом на победу. Воля старика слабела, но, казалось, какие-то внутренние силы заставляют его упорствовать. Рыбак не умел скрывать чувств и притворяться, и спутник его видел, как меняется выражение его лица. И, когда они наконец приблизились к месту начала гонок, молодой человек снова обратился к старику.

— Еще не поздно уйти,— сказал он.— Неужели тебе хочется стать посмешищем для собственных приятелей и тем омрачить последние годы своей жизни?

— Святой Антоний даже рыб заставил внимать своим проповедям, сотворив великое чудо, и я не струшу теперь, когда мне нужнее всего решительность.

Человек в маске набожно перекрестился и, оставив всякую надежду убедить старика в тщетности его попытки, всецело отдался мыслям о предстоящем состязании.

Каналы Венеции очень узки и изобилуют крутыми поворотами, поэтому устройство гондолы и манера гребли здесь очень своеобразны и требуют некоторых пояснений. Читатель уже, вероятно, понял, что гондола — длинное, узкое и легкое суденышко, приспособленное к особенностям города и отличное от лодок всего остального мира. Ширина каналов между домами так мала, что нельзя даже пользоваться двумя веслами сразу, как на обычной лодке. Необходимость то и дело сворачивать в сторону, чтобы уступать дорогу другим гондолам, множество поворотов и мостов заставляют гребца все время смотреть только вперед и, конечно, стоять. Посредине каждой гондолы, когда она полностью оснащена, расположен балдахин, или навес, и тот, кто управляет лодкой, должен поэтому находиться на возвышении, чтобы видеть поверх него все, что делается впереди. Таковы причины, по которым венецианская гондола управляется одним веслом, а гондольер стоит на корме на маленькой, довольно низкой полукруглой скамейке. Гондольер не просто гребет веслом, как то принято всюду, а как бы отталкивается от воды. Такой способ гребли, когда гребец стоит на корме и тело его от усилия наклоняется вперед, а не назад, как на обычных лодках, часто можно видеть во всех портах Средиземного моря.

Но лодки, совершенно такой же, как гондола, не встретишь нигде, кроме Венеции. Стоячая поза гондольера требует, чтобы уключина, на которую опирается весло, находилась на определенной высоте; для этого у борта гондолы имеется особое устройство нужной высоты, сделанное из гнутого дерева, в котором укреплены две или три уключины, расположенные одна над другой, чтобы лодкой мог управлять человек любого роста и в случае надобности существовала возможность увеличить или уменьшить размах весла. Приходится очень часто перебрасывать весло с одной уключины на другую и так же часто менять направление, поэтому весло движется в своем гнезде совершенно свободно; нужна большая ловкость, чтобы удержать его на месте, и умение точно рассчитывать силу и скорость движения его, чтобы, преодолев сопротивление воды, двигать лодку в нужном направлении. Поэтому можно сказать, что искусство гондольера одно из самых тонких среди всех способов гребли, так как, помимо физической силы, тут надо обладать некоторой ловкостью.

Большой канал Венеции со всеми изгибами имеет протяженность более лиги¹, но расстояние для новых гонок сократили почти что вдвое и местом начала их назначили мост Риальто. К этому месту собрались все гондолы, направляемые теми, кому полагалось следить за размещением их. Зрители, прежде рассеянные вдоль всего канала, теперь столпились между мостом и «Буцентавром», и вся узкая лента пути походила на аллею, окаймленную головами людей. Эта яркая, словно ожившая дорога являла собой внушительное зрелище, и сердца всех гонщиков забились сильнее, ибо надежда, гордость и предвкушение победы овладели ими в эти мгновения.

— Джино из Калабрии! — окликнул церемониймейстер, который размещал гондолы. — Твое место справа. Занимай его, и да поможет тебе Святой Януарий!

Слуга дона Камилло взялся за весло, и лодка изящно скользнула к указанному месту.

— Ты пойдешь следующим, Энрико из Фузины. Молись хорошенько своему падуанскому покровителю и соберись с силами, ибо никто еще никогда не увозил приз из Венеции.

¹ Лига — старая мера длины. Морская лига — 5,56 километра, сухопутная — 4,83 километра.

Затем он вызвал по порядку тех, чьи имена мы не упоминали, и разместил их бок о бок на середине канала.

— Вот твое место, синьор,— продолжал он, склонив голову перед неизвестным гондольером, видимо, убежденный в том, что под маской скрывается кто-нибудь из молодых патрициев, потакающий прихоти одной из взбалмошных красавиц.— Случай отвел тебе крайнее слева.

— Ты забыл позвать рыбака,— заметил человек в маске, ведя свою гондолу на место.

— Упрямый и сумасбродный старик все же хочет показать свое честолюбие и лохмотья лучшим людям Венеции?

— Могу стать и позади,— робко произнес Антонио.— Возможно, кто-либо из гондольеров не захочет оказаться рядом с бедным рыбаком, а несколько лишних ударов весла не имеют значения на таком долгом пути.

— Тебе следовало бы проявить не только скромность, но и сговорчивость, и остаться.

— Если разрешите, синьор, мне хотелось бы посмотреть, что может сделать Святой Антоний для старого рыбака, который неустанно молится ему утром и вечером целых шестьдесят лет.

— Это твое право, и, если тебе так нравится, становись позади всех. Все равно ты тут и останешься. Теперь, славные гондольеры, вспомните правила гонок и обратитесь с последней молитвой к вашим святым покровителям. Нельзя пересекать путь друг другу; нельзя прибегать к каким-либо уловкам — надейтесь на весла и на проворство своих рук; кто выдвинется из строя без причины, возвратится обратно, если только он не окажется первым, а кто нарушит правила или как-либо иначе оскорбит патрициев, тот будет задержан и наказан. Итак, ждите сигнала!

Распорядитель, который сидел в хорошо оснащенной лодке, отплыл назад и разослал гонцов расчистить путь участникам состязания. Едва оказались сделаны эти приготовления, как с ближайшей крыши подали знак, его повторили на колокольне, а потом грохнул пушечный выстрел в Арсенале. Низкий сдержанный гул прокатился по толпе зрителей, сменившись тут же напряженным ожиданием.

Каждый гондольер немного отклонил нос лодки к левому берегу, точно так же, как наездник у столба, отмечающего начало пути, сдерживая пыл скакуна или отвлекая его внимание, чуть оттягивает в сторону его голову. Но после первого широкого, размашистого взмаха весла лодки выровнялись и дружно двинулись вперед.

В течение нескольких минут разницы в скорости не замечалось, и невозможно было определить, кто победит, кто потерпит поражение. Все десять лодок, составлявших переднюю линию, скользили по воде одинаково быстро, нос к носу, словно какое-то таинственное притяжение удерживало их одну подле другой, тогда как убогая, хоть и такая же легкая лодка рыбака упорно держалась на своем месте позади всех.

Вскоре лодки уже набрали скорость. Взмахи весел стали точнее, равномернее, и гребцы вкладывали в них все свое умение. Линия начала колебаться, вот она уже изогнулась: блестящий нос одной из гондол выдвинулся вперед и сломал ее. Энрико из Фузины рванулся вперед и, воспользовавшись успехом, постепенно выбрался на середину канала, избежав таким образом изгибов берега и водоворотов. Этот маневр, который моряк называл бы «лечь на курс», имел и то преимущество, что, вспенивая воду позади себя, гондольер слегка затруднял ход других лодок, идущих за ним. Следом мчался сильный, опытный Бартоломео с Лидо, как обычно называли его приятели. Он шел вплотную к гондоле Энрико и меньше всего страдал от волн, поднимаемых лодкой соперника. Гондольер дона Камилло также скоро вырвался из общей массы и быстро двигался вперед, еще правее и немного позади Бартоломео. За ним на середину канала довольно близко от первого гребца неслись все остальные, то и дело меняясь местами, принуждая друг друга уступать дорогу и всячески увеличивая трудности борьбы. Много левее и так близко от дворцов, как только позволяла длина весла, плыл гондольер в маске, чье движение, казалось, сдерживала какая-то неведомая сила: он отстал от прочих своих соперников на расстояние в несколько длин лодок, но, несмотря на это, спокойно работал веслом, довольно ловко управляя гондолой. Его таинственный вид пробудил расположение толпы, и теперь по каналу прокатился слух, что молодой кавалер неудачно выбрал лодку; другие смотрели на дело серьезнее и осуждали его за то, что он подвергает себя

опасности унижения, ибо участвует в состязаниях с людьми, чей ежедневный труд укрепил их члены, а постоянная работа позволяла им лучше предвидеть все случайности гонки. Когда же взоры всех устремлялись на одинокую лодку рыбака, идущую позади всех, восхищение толпы снова сменялось презрением.

Антонио скинул шапку, с которой обычно не расставался, и поредевшие, растрепанные волосы его развевались над впалыми висками, оставляя лицо открытым. Не раз глаза рыбака обращались с упреком к людям, мимо которых проплывала его гондола, словно их безжалостные шутки причиняли ему острую боль, оскорбляя его чувства, хоть и притупленные бедностью и тяжким трудом, но отнюдь не утраченные. Но с приближением конца пути, чем далее гонщики следовали мимо величественных дворцов, один взрыв смеха сменялся другим, за шуткой следовала еще более жестокая шутка. И отнюдь не владельцы этих роскошных дворцов, а слуги их, сами постоянно унижаемые господами, дали волю давно сдерживаемой грубости и злобе, обрушив потоки ругательств на голову первого же человека, который не в силах был сопротивляться им.

Антонио мужественно, если и не очень спокойно, переносил поношения и не отвечал на них до тех пор, пока снова не достиг того места, где расположились его приятели с лагун. Тут весло дрогнуло в его руках и глаза потемнели от обиды. Насмешки и ругательства посыпались чаще, когда люди эти почувствовали его слабость, и в какое-то мгновение старик, казалось, готов был отступить, выйти из состязания. Но, проведя рукой по лбу, словно стараясь снять пелену, вдруг заставшую глаза, он продолжал усердно работать веслом и, к счастью, быстро миновал место, где решимость его подвергалась особенно тяжкому испытанию. С этой минуты насмешки над рыбаком стали затихать, а когда вдалеке показался «Буцентавр», они почти совсем прекратились — интерес к исходу поглотил все остальные чувства.

Энрико все еще оставался впереди, но знатоки искусства гондольеров уже заметили признаки усталости во взмахах его весла. Гребец с Лидо настигал его, калабриец тоже почти поравнялся с ними обоими. И в этот миг гондольер в маске вдруг обнаружил силу и ловкость, каких никто не ожидал, ибо полагали, будто он принадлежит к привилегированному сословию. Он сильнее налег

на весло, оставив назад стройную, сильную ногу, мускулы на которой напряглись так, что восхищенные зрители невольно зааплодировали. Результаты этого напряжения сил не замедлили сказаться. Гондола неизвестного скользнула мимо остальных, вышла на середину канала и каким-то необъяснимым образом оказалась теперь четвертой. Едва смолкли крики толпы, вознаградившие эти усилия, как совершенно неожиданный оборот событий снова привел зрителей в восторг.

Положившись только на свои силы и почти уже не слыша презрительного смеха, способного обескуражить и более сильных людей, Антонио приблизился к группе прочих своих поотставших соперников. Среди этих гондольеров, не играющих роли в нашем повествовании, имелись и такие, кого хорошо знали на каналах и Венеция гордилась их ловкостью и силой. Но либо сами гондольеры сильно мешали друг другу, или всеми презираемому рыбаку, остававшемуся левее и позади остальных, как раз и помогло то, что он двигался независимо от прочих, — как бы то ни было, он вдруг поравнялся с ними и, судя по сильным взмахам весла и быстроте хода, готов был обогнать. Ожидания эти оправдались. Среди воцарившегося безмолвия зрителей Антонио обошел их всех и стал пятым из вырвавшихся вперед.

С этого мгновения остальные гондольеры, сбившиеся в кучу, больше не интересовали публику. Взоры всех оставались прикованы к идущим впереди, где борьба разгоралась с каждым ударом весла; состязание неожиданно приобрело особую остроту. Гондольер с Фузины, казалось, удвоил усилия, но лодка его не ускоряла хода. Гондола Бартоломео промчалась мимо, за ним устремились Джино и Маска. Толпа молчала, затаив дыхание от восторга. Но когда и лодка Антонио вылетела вперед, по толпе пронесся одобрителный гул, показывавший неожиданную смену ее всегда шаткого настроения. Энрико был вне себя от разочарования и позора. Он напряг все силы, вкладывая их в каждый удар весла, но наконец, совершенно обезумев от отчаяния, рыдая, бросился на дно гондолы и стал рвать волосы. За ним последовали и другие гондольеры, проявив, правда, больше благоразумия: они просто отъехали в сторону, к лодкам, которые толпились вдоль берегов канала, и затерялись среди них.



После того как большинство гондольеров отказались от дальнейшей борьбы, всем стало ясно, какая яростная схватка предстоит тем, кто идет впереди. Человек, особенно охваченный возбуждением, редко сочувствует неудачникам, и потерпевшие поражение тут же оказались всеми забыты. Теперь имя Бартоломео, подхваченное тысячами уст, словно парило в воздухе, а приверженцы его с Пьяцетты и Лидо ободряли его громкими криками, призывая победить во что бы то ни стало. Стойкий гребец старался оправдать их надежды: дворец за дворцом оставались позади, а ни одна лодка не могла его догнать. Как и его предшественник, Бартоломео удвоил усилия, но это не спасло его, и разочарованная Венеция увидела, что на одной из самых блистательных ее гонок вперед вышел иностранец. Не успел Бартоломео оглянуться, как Джино и Маска, а за ними и презираемый толпой Антонио уже проскользнули мимо, оставив вдруг последним того, кто долгое время шел впереди всех. Тем не менее Бартоломео не сдался и продолжал борьбу с достойным одобрения присутствием духа.

Когда состязание приняло этот неожиданный и совершенно новый оборот, между ушедшими вперед гондолами и концом пути оставалось еще значительное расстояние. Джино мчался впереди и, судя по всему, собирался сохранить это преимущество. Толпа, ошеломленная его успехом, забыла, что он калабриец, и шумно ободряла его, а многочисленные слуги герцога радостно выкрикивали его имя. Но и он не сумел удержаться впереди. Теперь гондольер в маске вдруг повел лодку в полную силу. Весло будто ожило и покорилося могучей руке того, чья мощь, подвластная воле, казалось, все возрастала, а движения тела стали стремительными, быстрыми, как у гончей. Послушная гондола легко повиновалась ему и вскоре под крики, пронесшиеся от Пьяцетты до Риальто, вырвалась вперед.

Если успех воодушевляет, придает силу и бодрость духа, то поражение неизменно вызывает ужасающий упадок душевных и телесных сил. Слуга дона Камилло не составлял исключения из этого правила; когда гондольер в маске обогнал его, то и лодка Антонио, словно приводимая в движение ударами того же весла, промчалась мимо него. Расстояние между двумя передними гондолами все сокращалось, и наступила минута, когда все затаив дыхание ждали, что рыбак на са-

мой простой лодке, несмотря на свой возраст, обойдет скрытого под маской соперника.

Но этого не случилось. Человек в маске, словно забыв об усталости, казалось, играючи проделывал свою тяжелую работу — так легок оставался взмах его весла, таким уверенным был удар и так сильны руки, управлявшие лодкой. Впрочем, Антонио оказался достойным ему противником. Если движения его были менее изящны, чем у опытного гондольера с каналов, то мускулы его трудились столь же неустанно. И они не подвели старика, который боролся с неослабевающей силой, порожденной беспрерывным шестидесятилетним трудом, и, хотя его все еще атлетическое тело казалось напряженным до предела, никаких признаков усталости в нем тоже не замечалось.

Прошло несколько мгновений, и обе гондолы удалились на значительное расстояние от остальных. Черный нос рыбацкой гондолы висел над кормой нарядного суденышка соперника, но большего сделать старик не мог. Порт открылся перед ними. С одинаковой, неизменной скоростью они проскользнули мимо собора, дворца, баркаса и фелукки. Гондольер в маске оглянулся, словно желая убедиться в своем преимуществе, а затем, снова склонившись над послушным веслом, сказал негромко, но так, чтобы голос его услышал рыбак, который ни на дюйм не отставал от него.

— Ты обманул меня, рыбак! — произнес он. — Ты гораздо сильнее, чем я предполагал.

— В руках моих сила, а в сердце печаль, — последовал ответ.

— Ты так высоко ценишь золотую безделицу? Будь доволен, если придешь вторым.

— Я должен быть только первым, иначе зачем на старости лет тратить столько сил!

Короткий диалог этот, стремительный и напряженный, свидетельствовал о великой мощи обоих гребцов, ибо немногие смогли бы при таком напряжении сил произнести хоть слово. Гондольер в маске промолчал, но его воля к победе, казалось, угасла. Какие-нибудь двадцать ударов могучего широкого весла — и цель оказалась бы достигнута: но мускулы его рук вдруг будто утратили силу, ноги, только что крепкие и упругие, обмякли, потеряв необходимую твердость. Гондола старого Антонио метнулась вперед.

— Вложи всю душу в весло,— шепнул гондольер в маске,— не то быть тебе битым!

Рыбак собрал все силы для последнего рывка и обогнал гондолу соперника на целых шесть футов. Второй удар весла накренил лодку, и вода забурлила перед носом, как водоворот на стремнине. Затем гондола Антонио пронеслась между двумя баржами, служившими створом, и маленькие флажки, отмечавшие линию финиша, упали в воду. В тот же миг в створ попала и сверкающая лодка Маски, промчавшаяся перед судьями так молниеносно, что на мгновение они даже усомнились, на чью же долю выпал успех. Джино отстал от этих двоих совсем немного, а за ним четвертым, последним, пришел и Бартоломео. Это была самая замечательная гонка, какую когда-либо видели на каналах Венеции.

Люди затаили дыхание от волнения, когда упали флажки. Трудно было с уверенностью сказать, кто же истинный победитель, поскольку гребцы прошли почти рядом. Но вот зазвучали трубы, призывая к вниманию, и герольд возвестил:

— Антонио, рыбак с лагун, выступавший под покровительством Святого Антония Чудотворца, получает золотую награду, а тот, кто скрыл лицо под маской и вверился Святому Иоанну Пустыннику, награждается серебряным призом; наконец, третья награда выпала на долю Джино из Калабрии, слуги высокородного дона Камилло Монфорте, герцога Святой Агаты и владельца многих поместий в Неаполе.

Во время этого торжественного уведомления стояла мертвая тишина. Затем взволнованная толпа единодушно приветствовала криками Антонио, словно какого-нибудь победоносного полководца. Успех совершенно вытеснил недавнее презрение к нему. Рыбаки с лагун, только что поносившие престарелого сотоварища, восхваляли его теперь с восторгом, свидетельствовавшим, как легко переходят люди от поношения к прославлению, причем успех превозносят тем неистовее, чем меньше ожидали его,— так всегда было и будет. Десять тысяч голосов слились воедино, прославляя искусство и победу Антонио: молодые и старые, красивые, веселые, знатные, кто выиграл пари и кто проиграл его,— все стремились хоть одним глазом взглянуть на скромного старика, кто так неожиданно завоевал симпатию и расположение толпы.

Антонио смиренно принимал свое торжество. Когда его лодка достигла цели, он остановил ее и, ничем не выдавая усталости, продолжал стоять, хотя из его широкой загорелой груди вырывалось тяжелое, прерывистое дыхание — силы старика оказались на исходе. Он улыбнулся, когда приветственные возгласы коснулись его слуха: похвала всегда приятна, даже человеку скромному по натуре; но им владело чувство более глубокое, чем гордость. Глаза, потускневшие с годами, сейчас светились надеждой. Лицо его исказилось, и тяжелая горькая слеза скатилась по морщинистой щеке. Затем он вздохнул свободнее.

Гребец в маске, как и его счастливый соперник, тоже не выказывал признаков усталости, обычных после чрезмерного телесного напряжения. Колени его не дрожали, руки все так же крепко сжимали весло, и он тоже продолжал стоять неподвижно, словно воплощение мужественной красоты. Джино и Бартоломео, как только достигли цели, свалились на дно своих лодок; знаменитые гондольеры были так истомлены, что лишь через несколько минут перевели дыхание и обрели способность говорить. Как раз в это время толпа выражала симпатию победителю особенно продолжительными и громкими возгласами. Но едва смолк шум, как герольд приказал Антонио с лагун, гондольеру в маске, вверившемуся покровительству Святого Иоанна Пустынника, и Джино из Калабрии явиться пред очи дожа, чтобы он мог самолично вручить награды, назначенные за победу в состязании.

Глава X

Не медлить мы должны с уплатой долга,
Но сразу же воздать вам за любовь.

Шекспир. «Макбет».

Когда все три гондолы приблизились к «Буцентавру», рыбак остановился позади других, словно сомневаясь в своем праве предстать перед сенатом. Но ему знаком приказали подняться на палубу, а двум другим победителям следовать за ним.

Вся высшая знать города, облаченная в церемониальные одеяния, выстроилась, подобно внушительному

живому обрамлению, от сходней до самой кормы галеры, где расположился сомнительный глава еще более сомнительной республики, внушавшей почтение к высшим сановникам.

— Подойди,— мягко произнес дож, видя, что старик в лохмотьях не решается приблизиться к нему.— Ты победил, рыбак, и тебе я должен передать награду.

Антонио преклонил колена и низко опустил голову, прежде чем повиноваться этому приказанию. Затем, набравшись мужества, он подошел ближе к дожу и остановился, виноватый и смущенный, ожидая дальнейших повелений. Дождавшись, когда улеглось легкое движение вокруг, вызванное любопытством, и воцарилась полная тишина, престарелый правитель заговорил:

— Наша прославленная республика гордится тем, что не ущемляет ничьих прав: люди низшего состояния получают заслуженные награды так же, как и патриции. Святой Марк держит весы правосудия бестрепетной рукой, и почетная награда простому рыбаку, заслужившему ее в этих состязаниях, вручается с той же готовностью, как если б он был самым близким ко двору человеком. Патриций и простые граждане Венеции, учитесь высоко ценить наши прекрасные и справедливые законы, ибо отеческая забота правительства о народе больше всего проявляется именно в них, тогда как в более важных случаях правительству приходится поступать в соответствии с мнением остального мира.

Дождь произнес эти вступительные слова твердым голосом, как человек, уверенный в согласии слушателей, и он не ошибся. Едва он умолк, как восторженный шепот пронесся среди собравшихся, подхваченный тысячами людей, которые стояли далеко и не могли слышать дожа и понять смысл его слов. Сенаторы склонили головы в подтверждение справедливости того, что высказал правитель, а последний, дождавшись этих знаков одобрения, продолжал:

— Мой долг, Антонио,— и долг этот доставляет мне удовольствие,— надеть тебе на шею эту золотую цепь. Весло, которое прикреплено к ней,— символ твоего искусства, и твои сотоварищи, видя его, всегда станут вспоминать о доброте и справедливости республики и о твоей заслуге. Прими награду, мужественный старец! Годы оголили твои виски и избороздили морщинами щеки, но не отняли у тебя силы и твердости духа.

— Ваше высочество! — воскликнул Антонио, отступая на шаг, вместо того чтобы склониться перед дождем, который хотел было надеть цепь ему на шею. — Не подобает мне носить этот знак величия и удачи. Блеск золота только выставил бы напоказ мою нищету, а драгоценность, подаренная мне столь высоким лицом, выглядела бы просто нелепо на моей обнаженной груди.

Этот неожиданный отказ вызвал всеобщее удивление и замешательство.

— Разве не ради этой награды ты принял участие в состязании, рыбак? Впрочем, ты прав, золотое украшение и в самом деле не очень подходит к твоему положению и повседневным нуждам. Надень его сейчас, чтобы все могли убедиться в справедливости и мудрости наших решений, а потом, когда праздник окончится, снеси его моему казначею, и он даст тебе взамен вознаграждение, которое, конечно, больше тебе пригодится. А сейчас — таков обычай и ему нужно следовать.

— Ваша светлость! Вы правы, я старался изо всех сил не без надежды на вознаграждение. Но не золото и желание покрасоваться среди приятелей с этой сверкающей драгоценностью на груди заставили меня переносить презрение гондольеров и немилость патрициев.

— Ты ошибаешься, честный рыбак, если полагаешь, будто мы с неудовольствием встретили понятное твоё стремление. Мы любим смотреть на благородное соперничество среди наших людей, и мы всячески стараемся поощрять тот дух отваги, который приносит честь государству и богатство городу.

— Не смею возражать своему повелителю, — отвечал рыбак. — Но позор и стыд, какие я испытал, заставляют меня думать, что знатные люди получили бы больше удовольствия, если б счастливцев, завоевавший приз, оказался моложе и благороднее меня.

— Ты не должен так думать. А теперь преклони колена, чтобы я смог надеть этот знак тебе на шею. Когда зайдет солнце, ты найдешь в моем дворце того, кто освободит тебя от этого украшения за справедливое вознаграждение.

— Ваша светлость! — сказал Антонио, умоляюще глядя на дождя, который уже поднял руки с цепью и теперь снова удивленно остановился. — Я стар и не избалован судьбой. Того, что я зарабатываю в лагунах с помощью Святого Антония, мне хватает, но в вашей власти

сделать счастливыми последние дни жизни старика, и тогда ваше имя не забудется во многих молитвах, возносимых от всей души. Верните мне моего ребенка и простите настойчивость убитого горем отца!

— Уж не тот ли это старик, кто докучал нам просьбой относительно юноши, призванного на службу государству? — воскликнул дож, и на лице его появилось привычное выражение бесстрастности, так часто скрывавшее истинные его чувства.

— Он самый, — сухо отозвался кто-то. Антонио тут же узнал голос синьора Градениго.

— Только снисхождение к твоему невежеству, рыбак, подавляет во мне гнев. Получай свою цепь и уходи.

Антонио не опустил глаз. Он почтительно преклонил колена и, скрестив руки на груди, промолвил:

— Страдание придало мне смелости, великий государь! Слова мои вызваны сердечной тоской, а не вольностью языка, и я умоляю вашу светлость выслушать меня.

— Говори, но короче, ибо ты мешаешь продолжению празднества.

— Великий дож! Богатство и нищета — вот причина, которая сделала такими непохожими наши судьбы, а знание и невежество усугубили эту разницу. У меня грубая речь, и она куда как неуместна в этом славном обществе. Но, синьор, Бог дал рыбаку те же чувства и ту же любовь к своим детям, что и властителю. Если б я полагался только на свои скудные знания, я оставался бы сейчас нем, но я нахожу в себе мужество говорить с лучшим и благороднейшим человеком Венеции о моем ребенке.

— Ты не смеешь обвинять сенат в несправедливости, старик, и не можешь сказать ничего против всем известной беспристрастности законов!

— Мой повелитель! Соблаговолите выслушать, и вы все поймете. Я, как вы видите, человек бедный, живу тяжелым трудом, и близок уже час, когда меня призовут к стопам милостивого Святого Антония из Римини и я предстану перед престолом еще более высоким, чем этот. Я не настолько тщеславен, чтобы думать, будто мое скромное имя окажется среди имен тех патрициев, что служили республике в ее войнах, — этой чести могут удостоиться лишь люди благородные, знатные и счастливые; но если то небольшое, что я сделал для своей страны, и не занесено на страницы Золотой книги, оно



тем не менее написано здесь,— и, говоря это, Антонио показал на шрамы, изуродовавшие его полуобнаженное тело.— Вот знаки, оставленные турками, и сейчас я предъявляю их как ходатайство о снисходительности сената.

— Ты говоришь туманно. Чего ты хочешь?

— Справедливости, великий государь. Срублена единственная крепкая ветвь гибнущего дерева, с увядающего стебля срезан самый живой отросток; единственного сотоварища моих трудов и радостей — дитя, которому следовало бы закрыть мне глаза, когда Богу угодно будет призвать меня; дитя неопытное и не искушенное в делах чести и добродетели, совсем еще мальчика,— его подвергли всем греховным искушениям, поместив в опасное соседство матросов галер.

— И только? Я думал, твоя гондола отслужила свой век или тебе запрещают ловить рыбу в лагунах!

— «И только»...— повторил Антонио, скорбно оглядываясь вокруг.— Дож Венеции, это выше того, что может вынести измученный старик, осиротевший и одинокий.

— Подойди, возьми свою цепь с веслом и ступай к приятелям. Радуйся победе, на которую ты, по правде говоря, не мог рассчитывать, и предоставь государственные дела тем, кто мудрее тебя и более способен заниматься ими.

Рыбак, привыкший за долгую жизнь почтительно относиться к сильным мира сего, покорно поднялся, но не подошел принять предложенную награду.

— Склони голову, рыбак, чтобы его светлость мог надеть награду тебе на шею,— приказал один из сенаторов.

— Мне не нужно ни золота, ни весла, кроме того, с помощью которого я отправляюсь на лагуны утром и возвращаюсь на каналы ночью. Верните мое дитя или не давайте ничего.

— Уберите его прочь! — слышались голоса.— Он смутяня! Пусть покинет галеру!

Антонио подхватили и с позором столкнули в гондолу. Этот непредвиденный случай, прервавший церемонию, заставил нахмуриться многих, ибо венецианские аристократы сразу почуяли здесь опасную для государства крамолу, хотя сословное высокомерие и заставило их воздержаться от каких-то иных проявлений гнева.

— Пусть подойдет следующий победитель,— продолжал дож с самообладанием, воспитанным привычкой к лицемерию.

Не известный никому гребец, благодаря тайной услуге которого Антонио добился победы, приблизился, все еще не снимая маски.

— Ты выиграл вторую награду,— сказал дож,— хотя по справедливости должен бы получить и первую, ибо нельзя безнаказанно отвергать наши милости. Стань на колена, чтобы я мог вручить тебе ее.

— Простите, ваша светлость!—проговорил гондольер в маске, почтительно кланяясь, но отступая на шаг.— Если вам угодно наградить меня за успех в гонках, то и я осмелился бы просить вас об иной милости.

— Это неслыханно — отказываться от награды, вручаемой самим дожем Венеции!

— Не хочу настаивать, чтобы не показаться непочтительным к высокому собранию. Я прошу немногого, и стоит это гораздо меньше, чем награда, которую предлагает мне республика.

— Чего же ты просишь?

— На коленях, исполненный глубочайшего почтения к главе государства, прошу вас услышать мольбы старого рыбака и вернуть ему внука, ибо служба на галерах развратит мальчика и сделает Антонио несчастным на старости лет.

— Это становится невыносимо! Кто ты и зачем, скрывшись под маской, пришел просить о том, в чем уже отказано?

— Ваша светлость, я второй из победивших в состязаниях.

— Ты изволишь шутить? Маска священна до тех пор, пока не нарушено спокойствие Венеции, а тут, кажется, необходимо подробное разбирательство... Сними ее, я желаю увидеть твое лицо.

— Я слышал, будто в Венеции всякий, кто не нарушает правил вежливости и установлений закона, может, если пожелает, оставаться в маске и его не спрашивают ни об имени, ни о роде его занятий.

— Совершенно верно, если только человек этот не оскорбляет республику. Но твое единодушие с рыбаком подозрительно. Приказываю тебе снять маску.

Неизвестный, прочтя на лицах окружающих необходимость повиноваться, медленно снял ее, и всем откры-

лось бледное лицо и горящие глаза Якопо. Невольно люди, стоявшие рядом, отпрянули, оставив правителя Венеции лицом к лицу с этим наводящим ужас человеком посреди широкого круга удивленных, преисполненных любопытства слушателей.

— Я тебя не знаю! — воскликнул дож, пристально вглядываясь в стоящего перед ним человека и не скрывая изумления, подтверждавшего искренность его слов.

Видно, причина, заставившая тебя надеть маску, более веская, чем причина твоего отказа от награды.

Сеньор Градениго приблизился к главе республики и что-то прошептал на ухо. Дож выслушал его, бросил на бледное лицо браво быстрый взгляд, в котором любопытство смешивалось с отвращением, и знаком приказал ему удалиться, тогда как круг придворных непроизвольно сомкнулся вокруг дожа, словно готовясь защитить его.

— Этим мы займемся на досуге, — проговорил дож. — Пусть празднество продолжается!

Якопо низко поклонился и пошел прочь. Когда он проходил по палубе «Буцентавра», сенаторы поспешно расступались, словно перед зачумленным, но, судя по выражению лиц, делали они это со смешанным чувством. Браво, которого терпели, хотя и сторонились, спустился в свою гондолу, и тут звуки трубы оповестили народ о том, что церемония продолжается.

— Пусть гондольер дома Камилло Монфорте выйдет вперед! — выкликнул герольд, повинувшись жесту распорядителя.

— Ваше высочество, я здесь, — ответил растерянный и перепуганный Джино.

— Ты калабриец?

— Да, ваше высочество.

— Но ты, видимо, давно уже на здешних каналах, иначе не смог бы обогнать лучших наших гребцов... Ты служишь знатному господину?

— Да, ваше высочество.

— Полагаю, герцог Святой Агаты доволен, что у него такой честный и преданный слуга?

— Премного доволен, ваше высочество.

— Преклони колена и получи награду за свою ловкость и решительность.

Джино, не в пример тем, кто опередил его, охотно опустился на колени и принял награду с низким и по-

корным поклоном. Но в эту минуту внимание зрителей от этой короткой и простой церемонии отвлек сильный шум, поднявшийся неподалеку от «Буцентавра». Все бросились к бортам галеры и об удачливом гондольере забыли.

По направлению к Лидо сплошной массой двигалась сотня лодок, и на воде не видно было ничего, кроме красных шапочек рыбаков. Среди них, явственно выделялась непокрытая голова старого Антонио, чью лодку влекли за собой остальные, без всякой помощи с его стороны. Направляли движение этой небольшой флотилии тридцать или сорок сильных гребцов на трех-четырех больших гондолах, шедших впереди.

Причина этой необычной процессии казалась очевидной. С тем самым непостоянством, какое присуще склонностям невежественных людей, обитатели лагун испытывали теперь внезапное изменение чувств к старому своему приятелю. Того, кого лишь час тому назад они высмеивали за тщеславие и нелепые притязания на награду, чью голову так щедро осыпали грубыми проклятиями, теперь они шумно превозносили торжественными криками.

Гондольеров города подвергли осмеянию, и даже ушей надменной власти не пощадила эта ликующая толпа, издеваясь над их изнеженными слугами. Короче говоря, как это часто случается, да и вообще свойственно человеческой натуре, заслуга одного из них стала вдруг их общей славой и торжеством.

Если б торжество рыбаков ограничилось лишь таким естественным проявлением чувства, это не слишком беспокоило бы бдительную, пугливую власть, охраняющую покой республики. Но к крикам торжества и одобрения примешивались и возгласы недовольства. Слышались даже прямые угрозы тем, кто отказался вернуть внука Антонио; на палубе «Буцентавра» шепотом передавалось из уст в уста, что группа бунтовщиков, вообразив, будто победа на гонках — выдающееся событие, отважилась угрожать силой добиться того, что они так дерзко называют справедливостью.

Этот взрыв народных чувств был встречен зловещим, тягостным молчанием членов сената. Человек, непривычный к размышлениям о таких вещах или не умудренный жизнью, мог подумать, будто на мрачных лицах сановников отразились смутение и страх, а кроме того,

что такое знамение времени малоблагоприятно для сохранения власти, полагающейся больше на силу законов, чем на нравственные установления. С другой же стороны, тот, кто в состоянии правильно оценить силу политической власти, опирающейся на установленные ею порядки, увидит, что одних лишь выражений чувств, даже самых пылких и бурных, недостаточно, чтобы сломить ее.

Рыбакам позволили беспрепятственно продолжать свой путь, хотя то там, то здесь к Лидо пробиралась гондола агентов тайной полиции, чей долг — предупредить об опасности власть имущих. Среди таких лодок была и та, что принадлежала виноторговцу; в ней поместилась Аннина с большим запасом вина; торговец отчалил от Пьяцетты, делая вид, будто намерен воспользоваться веселым, буйным настроением обычных своих клиентов. Между тем праздник продолжался и небольшая заминка в церемонии оказалась, видимо, забыта всеми; но страшная и тайная сила, управлявшая судьбами людей в этой необыкновенной республике, ничего и никогда не предавала забвению.

В новом состязании участвовали гребцы много слабее предыдущих, и, пожалуй, не стоит задерживать внимание читателя его описанием.

Хотя сановники, заполнившие «Буцентавр», казалось, с интересом наблюдали за тем, что происходило перед их глазами, на самом деле они прислушивались к каждому звуку, доносившемуся с далекого Лидо. И не раз можно было заметить, как сам дож глядел в ту сторону, выдавая тем тревогу, царившую в его душе.

И все же праздник продолжался как обычно. Победители ликовали, толпа рукоплескала, и сенат, казалось, тоже участвовал в развлечениях народа, которым правил с уверенностью, напоминавшей страшную и таинственную власть рока.

Глава XI

Кто здесь купец, а кто еврей?

Шекспир. «Венецианский купец».

В столь оживленном городе, как Венеция, мало кто стал бы проводить вечер подобного дня в тоскливом уединении. Пестрая, возбужденная толпа

вновь заполнила огромную площадь Святого Марка, и сцены, уже описанные в первых главах нашего повествования, теперь повторялись вновь, с той лишь разницей, что участники их с еще большим, если такое возможно, самозабвением предавались мимолетным радостям. Паяцы и шуты вновь показывали свое искусство, выкрики торговцев фруктами и прочими лакомствами смешались со звуками флейты, гитары и арфы, а в укромных уголках, как и прежде, встречались бездельники и дельцы, люди бездумные и расчетливые, заговорщики и агенты полиции.

Было уже за полночь, когда гондола, своим плавным движением напоминая лебедя, легко проскользнув между стоявшими в порту кораблями, коснулась носом набережной там, где канал Святого Марка соединяется с заливом.

— Приветствую тебя, Антонио,— произнес человек, приблизившийся к одинокому гребцу, когда тот закрепил лодку у берега, как все гондольеры, воткнув в щель между камнями железный крюк на конце каната, привязанного к носу лодки.— Приветствую тебя, Антонио, хоть ты и запоздал.

— Я начинаю узнавать твой голос, даже когда лицо твое скрыто маской,— отвечал рыбак.— Друг, удачей нынешнего дня я обязан твоей доброте, и, хотя то, о чем я мечтал и молился, не свершилось, моя благодарность не станет от этого меньше. Как видно, и ты хлебнул немало горя, иначе едва ли стал бы заботиться о старом, презираемом человеке в минуту, когда ликующие крики толпы уже звучали в твоих ушах и молодая кровь кипела гордостью и торжеством победы.

— Тебе дано красиво говорить, рыбак. Верно, дни моей юности прошли не в играх и пустых забавах, свойственных этому возрасту, жизнь не стала для меня праздником, но сейчас речь не об этом... Сенату не угодно уменьшить команду галеры, и тебе придется подумать о какой-нибудь иной награде. Я принес цепь и золотое весло — надеюсь, они будут благосклонно приняты тобой.

Антонио был поражен; поддавшись естественному любопытству, он на минуту жадно впился глазами в обещанную награду, но затем, вздрогнув, отпрянул, нахмурился и голосом человека, принявшего бесповоротное решение, произнес:

— Нет, я всегда стану думать, что безделица эта отлита из крови моего внука. Оставь ее у себя. Тебе ее вручили, и она твоя по праву; раз они отказались исполнить мою мольбу, награда должна принадлежать тому, кто честно ее заработал.

— Рыбак, ты совсем забыл разницу наших лет и силу молодости! Думаю, присуждая подобные награды, судьям следовало бы помнить об этом, и тогда они признали бы, что ты превзошел всех нас. Клянусь Святым Теодором, я провел детство с веслом в руке, но никогда прежде не встречал в Венеции человека, который мог заставить меня так стремительно гнать мою гондолу! Ты касаешься воды легко, словно девушка, перебирающая струны арфы, но с силой, подобно могучей волне, что обрушивается на Лидо!

— Я помню время, Якопо, когда твоя молодая рука изнемогла бы в подобном состязании. То было еще до рождения моего старшего сына, который погиб потом в битве с турками, оставив мне своего дорогого мальчика грудным младенцем... Ты ни разу не видел моего сына, добрый Якопо?

— Нет, старик, не пришлось. Но, если он походил на тебя, стоит оплакивать его гибель. Клянусь Дианой, с моей стороны было бы глупо хвастать ничтожным превосходством, какое дает мне молодость!

— Какая-то внутренняя сила гнала и меня и лодку все вперед, но что проку? Твоя доброта и последние усилия старика, изнуренного нуждой и лишениями,— все вдребезги разбилось о каменные сердца аристократов.

— Не говори так, Антонио. Милостивые святые могут внять нашим молитвам как раз, когда мы меньше всего ожидаем этого. Пойдем, ведь меня послали за тобой.

Рыбак с удивлением глянул на нового знакомого, после чего, задержавшись на несколько секунд, чтобы позаботиться, как обычно, о своей лодке, с радостью выразил готовность следовать за Якопо. Место, где они стояли, было расположено в стороне от проезжей части набережной, и, хотя луна светила ярко, присутствие здесь двух человек в неприметных одеждах едва ли привлекло бы чье-нибудь внимание; и все же браво не казался спокоен. Он подождал, пока Антонио вышел из гондолы и затем, расправив плащ, перекинутый через

руку, без разрешения набросил его на плечи рыбака. Потом он достал шапку, точь-в-точь как его собственная, и надел ее на седую голову Антонио, что довершило преобразование внешности старика.

— Маска тебе не нужна,— проговорил Якопо, внимательно оглядев фигуру рыбака.— В этом наряде, Антонио, тебя никто не узнает.

— А есть ли нужда в том, что ты сделал, Якопо? Я благодарен тебе за добрые намерения, за то великое благодеяние, какое ты хотел оказать мне и не смог лишь из-за жестокосердия вельмож и богачей. Но все-таки я должен сказать, что ни разу еще маска не скрывала моего лица; ибо зачем человеку, который встает вместе с солнцем, чтобы приняться за свой тяжкий труд, и обязан тем немногим, что имеет, милости Святого Антония, зачем ему разгуливать подобно кавалеру, собирающемуся похитить доброе имя девушки, или ночному разбойнику?

— Тебе известны нравы Венеции, и для дела, которое нам предстоит, не вредно принять некоторые предосторожности.

— Ты забываешь, что твои намерения все еще неизвестны мне. Скажу еще раз, и скажу от всей души и с благодарностью: я очень обязан тебе; хотя мои надежды рухнули и мальчик все еще томится в этой плавающей школе порока, я хотел бы, чтобы кличка «браво» принадлежала не тебе. Мне трудно поверить тому, о чем говорили сегодня на Лидо про человека, который так жалеет слабых и обиженных.

Браво застыл на месте; наступившее вдруг тягостное молчание было столь мучительным для рыбака, что, когда, наконец успокоившись, Якопо глубоко вздохнул, Антонио тоже почувствовал облегчение.

— Я не хотел сказать...

— Неважно,— прервал bravo глухим голосом.— Неважно, рыбак, мы поговорим обо всем этом в другой раз. А пока следуй за мной и молчи.

С этими словами самозванный проводник Антонио жестом пригласил его следовать за собой и направился в сторону от канала. Рыбак повиновался, ибо этому несчастному человеку с разбитым сердцем было все равно куда идти. Якопо воспользовался первым же входом, ведущим во внутренний двор Дворца Дожей. Шаги его оставались неторопливыми, и в глазах прохожих оба

они ничем не выделялись среди многочисленной толпы, заполнившей улицу, чтобы подышать мягким ночным воздухом или насладиться развлечениями, какие обещала Пьяцца.

Оказавшись во дворе, освещенном слабо и то лишь местами, Якопо на миг задержался, видимо для того, чтобы разглядеть находившихся здесь людей. Надо полагать, он не усмотрел никакой причины для дальнейшего промедления, так как, незаметно подав своему спутнику знак не отставать, пересек двор и поднялся по известной лестнице, той самой, с какой скатилась голова Фальеро¹ и которую по статуям, стоящим на верху ее, называют Лестницей Гигантов. Миновав знаменитые Львиные пасти, они быстро пошли по открытой галерее, где их встретил алебардщик из гвардии дожа.

— Кто идет? — спросил наемник, выставив вперед свое длинное грозное оружие.

— Друзья государства и Святого Марка!

— В такой час никто не проходит здесь без пароля.

Жестом приказав Антонио оставаться на месте, Якопо приблизился к алебардщику и что-то шепнул ему. Оружие тотчас поднялось, и стражник вновь принялся шагать по галерее с глубоко равнодушным видом. Едва путь перед ними открылся, как оба двинулись дальше. Антонио, немало удивленный тем, что ему пришлось увидеть, с нетерпением следовал за Якопо, ибо сердце его сильно забилося горячей, хотя и смутной, надеждой. Не так уж несведущ был он в людских делах, чтобы не знать, что правители иногда втайне уступают там, где согласиться открыто им мешают государственные соображения. Поэтому, полагая, что сейчас его приведут к самому дожу и наконец-то дитя вернется в его объятия, старик легко шагал по мрачной галерее и, пройдя вслед за Якопо через какой-то проход, вскоре оказался у подножия новой широкой лестницы. Рыбак теперь едва представлял себе, где находится, так как спутник его оставил в стороне главные входы дворца и, пройдя через потайную дверь, вел его мрачными, тускло освещенными коридорами. Они не раз поднимались и спускались по лестницам, проходили через мно-

¹ Фальеро, Марино — дож Венеции, казненный в 1355 году на Лестнице Гигантов, видимо, за попытку проведения самостоятельной политики.

жество небольших, просто обставленных комнат, так что в конце концов у Антонио совсем закружилась голова и он окончательно перестал понимать, куда идет. Наконец они достигли помещения, темные стены которого, украшенные довольно безвкусным орнаментом, казались еще более мрачными из-за слабого освещения.

— Ты неплохо знаешь жилище дожа,— сказал рыбак, когда к нему вернулась способность говорить.— Похоже, ты гуляешь по всем этим галереям и коридорам свободнее, чем самый старый гондольер Венеции по каналам города.

— Мне приказали привести тебя, а все, что мне поручают, я стараюсь делать как следует. Ты из тех людей, Антонио, которые не боятся предстать перед лицом великих,— в этом я сегодня убедился. Собери все свое мужество, ибо настал час испытания.

— Я смело говорил с дожем. Кроме самого всевышнего, кого еще мне бояться на свете?

— Ты говорил, пожалуй, даже слишком смело, рыбак. Укроти свой язык, ибо великие не любят непочтительных слов.

— Значит, истина им неприятна?

— Смотря какая. Они любят слушать, как восхищаются их делами, если дела заслуживают похвалы; но им не нравится, когда действия их порицают, даже если ясно, что порицания эти справедливы.

— Боюсь,— сказал старик, простодушно глядя на своего собеседника,— между великим и ничтожным окажется мало разницы, когда с обоих снимут одежду и они предстанут взору нагими.

— Подобную истину нельзя высказывать здесь.

— Почему? Разве патриции отрицают, что они христиане, что они смертны и грешны?

— Первое они считают благом, Антонио, о втором забывают и не терпят, чтобы кто-нибудь, кроме них самих, замечал третье!

— Тогда, Якопо, я начинаю сомневаться в том, что добьюсь свободы для моего мальчика.

— Говори с почтением, остерегайся задеть их самолюбие, оскорбить их власть, и многое простят тебе, в особенности если ты примешь мой совет.

— Но ведь это та самая власть, которая отобрала у меня мое дитя! Разве я могу восхвалять тех, кто поступает несправедливо?

— Ты должен притвориться, иначе твоя просьба останется тщетной.

— Мне лучше вернуться на лагуны, друг Якопо, ибо всю жизнь язык мой говорил лишь то, что подсказывало сердце. Боюсь, я слишком стар, чтобы говорить, будто сына можно по праву насильно оторвать от отца. Передай от меня, что я приходил выразить им свое почтение, но, поняв, сколь безнадежны дальнейшие просьбы, вернулся к своим сетям, вознося молитвы Святому Антонию.

С этими словами Антонио крепко стиснул руку своего спутника, который точно застыл на месте, и повернулся, собираясь уходить. Но не успел он сделать и шага, как две алебарды скрестились на уровне его груди; только теперь старик заметил вооруженных людей, преградивших ему путь, и понял, что стал пленником. Природа наделила рыбака умением сохранять присутствие духа в любых обстоятельствах, а многолетние испытания закалили его. Оценив истинное положение вещей, он ничем не выдал своей тревоги и, не пускаясь в бесполезные споры, снова повернулся к Якопо; лицо его выражало терпение и покорность судьбе.

— Видно, высокие синьоры хотят поступить со мной по справедливости,— произнес он, приглаживая поредевшие волосы, как то делают люди его сословия, готовясь предстать перед господами,— и смиренному рыбаку не пристало лишать их такой возможности. Все же лучше, чтобы у нас в Венеции пореже применяли силу даже во имя справедливости. Но сильные любят показывать свою власть, а слабым приходится подчиняться.

— Посмотрим,— отвечал Якопо, который не выказал никаких чувств, когда его спутнику не удалось уйти.

Наступило глубокое безмолвие. Алебардщики, одетые и вооруженные по обычаям того времени, вновь, подобно безжизненным изваяниям, застыли в тени у стен, да и Якопо со своим спутником, неподвижно стоявшие посреди комнаты, едва ли больше, чем стражники, походили на живые и разумные существа.

Здесь уместно познакомить читателя с особенностями государственного устройства страны, о которой мы повествуем, имеющими отношение к событиям, излагаемым далее, ибо само понятие республика — если слово это означает что-то определенное,— бесспорно

подразумевает представление и преобладание интересов народа, но оно так часто осквернялось ради защиты интересов власть имущих, что читатель, возможно, задумается, какая же все-таки имеется связь между государственным укладом Венеции и более справедливыми — хотя бы потому, что они ближе к демократическим, — установлениями его собственной страны.

В век, когда правители оставались достаточно нечестивы, чтобы утверждать, будто право повелевать ближними дается человеку непосредственно Богом, а подданные их не в силах были противиться этому, считалось достаточным хотя бы на словах отказаться от сего дерзновенного и эгоистического принципа, чтобы придать делам государства оттенок свободы и здравомыслия. В таком мнении есть даже известная доля истины, поскольку оно основывается, пусть только в теории, государственную власть на представлении, существенно отличном от того, какое полагает всю власть привилегией одного человека, который, в свою очередь, есть представитель непогрешимого и всемогущего Правителя Мира. Нам незачем пускаться в обсуждение первого из упомянутых принципов: достаточно лишь добавить, что существуют положения, столь порочные по самой своей природе, что достаточно лишь просто выразить их в отчетливой и ясной форме, как они сами опровергнут себя. Что же касается второго, то мы вынуждены ненадолго отвлечься от темы нашего повествования и рассмотреть заблуждения, свойственные Венеции того времени.

Когда патриции Святого Марка закладывали политические устои своего общества, им, вероятно, казалось, будто сделано все необходимое, чтобы государство по праву носило высокое и благородное имя республика. Они отошли от общепринятого порядка и, подобно многим другим, — здесь они не были ни первыми, ни последними, — мнили, будто сделать несколько робких шагов в направлении государственного благоустройства достаточно, чтобы тотчас достигнуть совершенства. Венеция не придерживалась учения о божественной природе верховной власти, и, поскольку ее дож оставался не более чем пышным театральным персонажем, она дерзко уверовала в свое право называться республикой. Венецианцы считали главнейшей целью правительства защиту интересов наиболее блестящих и знатных членов обще-

ства и, до конца верные этому опасному, хотя и соблазнительному, заблуждению, видели в коллективности власти общественное благо.

Можно утверждать, что определяющим направлением развития любого общества является то, что сильным свойственно становиться сильнее, а слабым — слабее, пока либо первые не потеряют способности властвовать, либо вторые — терпеть. В этой важной истине заложена тайна гибели всех государств, рухнувших под тяжестью собственных злоупотреблений. Урок, который следует извлечь из нее, состоит в необходимости укрепить основу, на коей строится общество, чтобы обеспечить справедливую защиту интересов всего народа, без чего развитие государства прекратится и в конце концов собственные крайности приведут его к упадку.

Венеция, несмотря на тщеславное упорство, с каким она цеплялась за название республика, в действительности оставалась замкнутой, грубой и чрезвычайно жестокой олигархией. Единственное, что давало ей право домогаться названия республики, был отказ от уже упомянутого откровенно бесстыдного принципа; что же касается действий, то малодушной и нетерпимой своей замкнутостью, каждым проявлением своей власти как вне государства, так и внутри него, она вполне заслужила два последних упрека. Правлению аристократии постоянно не хватает как обаяния личности, благодаря которому деспотическую власть порой смягчают особенности натуры диктатора, так и великодушных и человеколюбивых устремлений народовластия. Правда, к достоинствам подобной формы правления принадлежит то, что на место интересов отдельных людей она ставит интересы государства, но, к несчастью, государство для всех она превращает в государство для немногих. Аристократия отличается — и всегда отличалась, хотя, конечно, в разной мере в различные века, сообразно с господствующими взглядами и отношениями — эгоистичностью, свойственной всем правителям, поскольку ответственность одного человека, — в силу того, что в своих действиях он вынужден подчиняться интересам правящей группы, — распыляется, дробясь между множеством людей. В век, о котором мы пишем, Италия насчитывала несколько таких самозванных республик, среди коих нельзя назвать ни одной, где власть действительно принадлежала бы народу, хотя, вероятно, все они рано

или поздно приводились в качестве доказательства неспособности народа управлять собой.

Основу государственного устройства Венеции составляли сословные различия, ни в коей мере не определявшиеся волей большинства. Власть, хотя и не принадлежавшая одному человеку, составляла здесь наследственное право не в меньшей мере, чем в странах, где она открыто признавалась даром провидения. Сословие патрициев пользовалось высокими и исключительными привилегиями, которые охранялись и поддерживались с чрезвычайным себялюбием и всеми средствами. Тот, кто не рожден был править, едва ли мог надеяться, что ему когда-либо дадут пользоваться самыми естественными человеческими правами, меж тем как другой, по воле случая, мог сосредоточить в своих руках власть самого ужасного и деспотического свойства. По достижении определенного возраста все имевшие звание сенатора (стараясь сохранить обманчивую видимость народовластия, венецианская знать изменила обычные свои титулы) получали доступ в государственные советы. Самые могущественные фамилии были занесены в список, который носил пышное название Золотая книга, и лица, обладавшие завидным преимуществом иметь предка, чье имя значилось в этом документе (за редким исключением, вроде того, о котором говорилось в связи с делом дона Камилло), могли явиться в сенат и потребовать себе власти, даваемой «рогатым чепцом».

Ограниченность времени и необходимость вернуться к главной теме нашего повествования не позволяют нам сделать отступление, достаточно пространное, чтобы мы могли рассмотреть основные черты этой глубоко порочной системы, которую подданные полагали сносной, быть может, только по сравнению с невыносимым угнетением, царившим в зависимых и покоренных землях, которые, как, впрочем, во всех случаях колониального владычества, несли на себе наибольшую тяжесть тирании. Читатель без труда заметит, что это обстоятельство, делавшее деспотизм так называемой республики терпимым для ее граждан, стало еще одной причиной ее последующей гибели.

После того как число членов сената выросло настолько, что он уже не мог более с достаточной скрытностью и быстротой управлять делами государства, запутанными и сложными, защиту важнейших государст-

венных интересов поручили Совету, состоявшему из трехсот членов сената. Во избежание опасности разглашения и промедлений, возможных даже в такой небольшой организации, произведен был вторичный отбор и создан Совет Десяти, сосредоточивший большую часть исполнительной власти, которую аристократы, ревниво оберегавшие свое влияние, не желали отдать номинальному главе государства. Вплоть до этого времени устройство органов управления Венецианской республики при всей его порочности сохраняло по крайней мере простоту и естественность. Государственные деятели оставались на виду и, хотя всякая подлинная ответственность перед народом давно исчезла, растворившись в подавляющем влиянии патрициев, направлявших дела государства к выгоде своего сословия, правителям не всегда удавалось избежать огласки, которой общественное мнение могло предать их несправедливости и беззаконию. Но государство, благополучие которого основывалось главным образом на контрибуциях и доходах от колоний и чьему существованию в равной мере угрожали ложность собственных принципов и рост соседних и прочих держав, нуждалось в еще более действенном органе, ибо Венеция из-за желания называться республикой лишена была главы исполнительной власти. Следствием этого явилось создание государственной инквизиции, ставшей со временем одной из самых страшных полицейских организаций, какие знала история. Власть столь же безответственная, сколь и безграничная, постоянно сосредоточивалась в еще более узкой организации, отправлявшей свои деспотические и тайные функции под именем Совета Трех. Избрание этих временных властителей определялось при помощи жребия, причем результаты оставались никому не известными, кроме самих членов Совета, а также нескольких пользовавшихся наибольшим доверием постоянных правительственных сановников. Таким образом, в самом сердце Венеции неизменно существовала тайная абсолютная власть, сосредоточенная в руках людей, слывших вполне добропорядочными в обществе, не подозревавшем об их действительной роли; на самом же деле она действовала под влиянием системы политических принципов, самых безжалостных, тиранических и жестоких из всех, какие когда-либо создавались порочной изобретательностью человека. Короче говоря, то была сила, какую, не опасаясь злоупотреблений, мож-

но доверить разве что непогрешимой добродетели и всеобъемлющему разуму, понимая эти определения в пределах человеческих возможностей; но здесь ее отдали людям, чье право на власть определялось двойной случайностью: их происхождением и цветом шаров,— и применяли они эту власть, не давая никакого отчета обществу.

Совет Трех собирался тайно, выносил свои решения, не вступая, как правило, в общение ни с каким другим государственным учреждением, и осуществлял их с ужасающей таинственностью и внезапностью, напоминая удары судьбы. Сам дож был подвластен ему и обязан подчиняться его решениям; известен также случай, когда один из членов могущественного триумvirата был осужден своими коллегами. До наших дней сохранился длинный список догм, которыми этот трибунал руководствовался в своих действиях, и не будет преувеличением сказать, что авторы его полностью пренебрегали всем, кроме соображений выгоды: всеми законами религии и принципами правосудия, какие признает и ценит человечество.

Прогресс человеческого разума, коему способствует распространение гласности, может в наш век смягчить действия подобной безграничной власти, но нет такой страны, где подмена выборных органов бездушной корпорацией не привела бы к установлению системы правления, для которой все принципы истинной справедливости, все права граждан — не более чем пустые слова. Пытаться создать видимость обратного, проповедуя взгляды, несовместимые с действиями,— значит лишь дополнять присвоение власти лицемерием.

Возникновение злоупотреблений вообще является, по видимому, неизбежным следствием такого положения, когда власть осуществляется постоянной организацией, ни перед кем не несущей ответственности и никому не подчиняющейся. Если к тому же власть эта действует тайно, злоупотребления становятся еще более тягостными. Примечательно также, что народам, которые не избегли — прежде или теперь — подобного дурного и опасного воздействия, свойственны самые преувеличенные притязания на справедливость и великодушие; ибо если гражданин демократической страны, которому нечего страшиться, во всеуслышание выражает свое недовольство, а подданный государства откровенно деспотическо-

го полностью лишен голоса, то живущему под властью олигархии самой необходимостью навязывается способ существования, благопристойный по виду, как одно из условий его личной безопасности. Поэтому Венеция так кичилась правосудием Святого Марка, и немногие государства казались внешне столь величественными и более красноречиво утверждали, будто обладают сим священным атрибутом, чем это, вынужденное даже при разнузданных нравах того времени скрывать истинные принципы своего государственного устройства.

Глава XII

Достаточно ту силу помянуть
В беседе невзначай — и говорящий
Снижает голос, воздевая очи,
Как бы перед лицом господним.

Роджерс.

Читатель, вероятно, уже понял, что Антонио оказался в преддверии неумолимого тайного судилища, описанного в предыдущей главе. Подобно всем представителям своего сословия, рыбак имел некоторое, хотя и смутное, понятие о существовании и назначении Совета, перед которым ему следовало теперь предстать, но его бесхитростный ум был далек от понимания всей глубины влияния, природы и образа действий учреждения, рассматривавшего равным образом как важнейшие интересы республики, так и самые незначительные дела какого-либо знатного семейства. Антонио строил различные догадки о возможном исходе предстоящей беседы, когда дверь отворилась и служитель жестом велел им войти.

Глубокое, торжественное безмолвие, наступившее вслед за тем, как оба они предстали перед Советом Трех, позволит нам бегло осмотреть помещение и людей, которые там находились. Не в пример обычаям этой страны, комната эта была сравнительно небольшой, но своими размерами она вполне отвечала особенностям совещаний, происходивших здесь. Пол был вымощен белыми и черными мраморными плитами; мрачная черная ткань скрывала стены; единственная лампа из темной бронзы висела посреди комнаты над столом, крытым,

подобно прочим предметам скудной обстановки, сукном того же, что и ткань на стенах, цвета, навевавшего тягостные мысли. По углам находились украшенные лепкой потайные шкафы, которые, впрочем, могли оказаться и проходами в другие помещения дворца. Двери оставались скрыты от посторонних взглядов занавесями, что придавало комнате леденящий, мрачный вид. У стены напротив того места, где стоял Антонио, в креслах, инкрустированных слоновой костью, сидели три человека, но маски и скрывавшие фигуру мантии исключали всякую возможность узнать их. Один из членов могущественного триумvirата был закутан в багровую мантию — знак, коим судьба отметила главу высокого Совета дожа; черные одеяния двух других свидетельствовали о том, что они вынули счастливые или, вернее, злополучные шары, когда в Совете Десяти, который и сам оставался временным и случайным по составу комитетом сената, бросали жребий. У стола находились один или два секретаря, но и они, подобно прочим низшим чиновникам, присутствовавшим там, облачены были в те же наряды, что и их начальники. Якопо смотрел на это как человек, привыкший к подобному зрелищу, но с явным почтением и благоговейным страхом; Антонио же был просто потрясен, и это не осталось незамеченным. Долгая пауза, последовавшая за тем, как ввели рыбака, была, вероятно, и рассчитана на то, чтобы изучить произведенное на него впечатление, ибо пристальные взгляды все время следили за выражением его лица.

— Ты Антонио с лагун? — обратился наконец к нему один из секретарей, сидевших у стола, после того как одетый в красную мантию член этого ужасного трибунала незаметно подал ему знак начинать.

— Бедный рыбак, ваша светлость, обязанный всем, что имеет, милости Святого Антония, сотворившего чудо с неводом.

— И у тебя есть сын, который носит твое имя и кормится тем же промыслом?

— Долг христианина — покоряться воле божьей! Моего мальчика уже двенадцать лет как нет в живых, с того самого дня, когда галеры республики гнали нехристей от Корфу до Кандии. В этой кровавой битве, благородный синьор, он был убит, как и многие другие.

Удивленные писцы в некотором смятении принялись шептаться между собой и поспешно ворошить бумаги.

Они то и дело оглядывались на судей, продолжавших сидеть неподвижно, окутанные непроницаемой таинственностью, как им и подобало. Вскоре вооруженным стражникам незаметно подали знак вывести Антонио и его спутника из комнаты.

— Какая оплошность! — слышался суровый голос одного из Трех, едва стихли шаги ушедших. — Инквизиции Святого Марка не пристало проявлять такую неосведомленность.

— Но ведь речь идет всего лишь о семье безвестного рыбака, пресветлый синьор, — с дрожью в голосе отвечал секретарь. — И, кроме того, он, возможно, просто лживый человек и хочет ввести нас в заблуждение с самого начала...

— Ты ошибаешься, — прервал его другой член трибунала. — Этого человека зовут Антонио Веккио, и его сын действительно пал в жаркой битве с турками. Дело, которым мы занимаемся, касается его внука, совсем еще мальчика.

— Благородный синьор совершенно прав, — отозвался секретарь. — В спешке мы составили ошибочное мнение, но мудрость Совета сумела быстро все исправить. Счастье для республики Святого Марка, что в самых знаменитых и старинных ее семействах имеются сенаторы, так подробно осведомленные о делах ничтожнейших из ее сыновей!

— Пусть снова введут этого человека, — продолжал судья, слегка кивнув в ответ на слова секретаря. — Подобные случайности неизбежны в спешных делах.

Отдали соответствующее приказание, и Антонио, от которого Якопо не отставал ни на шаг, вновь появился перед судьями.

— Сын твой погиб, служа республике, Антонио? — спросил секретарь.

— Да, синьор. Сжался, пресвятая Мария, над его злосчастной судьбой и внемли моим молитвам! Надеюсь, для спасения души такого прекрасного сына и храброго человека не обязательно служить молебны, не то его смерть оказалась бы для меня вдвойне плачевна, ибо я слишком беден, чтобы за них платить.

— Есть у тебя внук?

— У меня был внук, благородный сенатор. Надеюсь, он еще жив.

— Разве он не вместе с тобой на лагунах?

— Да угодно будет Святому Теодору, чтобы он остался со мной! Его забрали, сударь, равно как и многих других юношей, на галеры, откуда да вернет его целым и невредимым мать божья! Если вашей милости случится говорить с генералом галер или еще с кем-нибудь, кто властен в этом деле, на коленях умоляю вас замолвить словечко за ребенка, за моего доброго, благочестивого мальчика, который и удочку-то не закинет без того, чтобы не прочесть «Ave»¹ или молитву Святому Антонию, и кто сроду ничем не огорчил меня, пока не попал в руки Святого Марка.

— Встань! Не об этом деле я обязан допросить тебя. Сегодня ты обращался со своей просьбой к нашему пресветлому правителю — дожу.

— Я умолял его высочество отпустить мальчика.

— Ты сделал это публично и без должного почтения к высокому достоинству и священной особе главы республики!

— Я поступил как отец и человек. Если б хоть половина всего, что говорят о справедливости и доброте правителей оказалась правдой, его высочество сам, как отец и человек, выслушал бы меня.

Среди членов страшного триумвирата произошло легкое движение, и секретарь помедлил с вопросом; но, заметив, что начальники его предпочитают хранить молчание, он продолжал:

— Ты уже сделал это однажды в присутствии народа и сенаторов, но, когда твое прошение, неуместное и неразумное, было отвергнуто, ты стал искать другого случая, чтобы вновь высказать его?

— Верно, ваша светлость.

— В неподобающей одежде ты присоединился к гондольерам, принимавшим участие в гонках, и оказался первым среди гребцов, которые соревновались за право снискать благосклонность сенаторов и нашего правителя.

— Я пришел в одежде, какую ношу перед лицом пречистой девы и Святого Антония, а если я оказался первым на состязаниях, то обязан этим больше доброте и милости человека, что стоит сейчас рядом со мной, чем остаткам сил, еще сохранившихся в этих дряблых мускулах и высохших костях. Святой Марк да помянет

¹ «Ave», или «Ave Maria», — молитва святой Марии.

его в трудную годину и да смягчит сердца сильных, чтобы они вняли мольбам осиротевшего отца!

Вновь среди инквизиторов возникло едва заметное движение, свидетельствовавшее об их изумлении или любопытстве, и вновь секретарь умолк.

— Ты слышал, что сказал рыбак, Якопо? — промолвил один из Трех. — Что ты ответишь на его слова?

— Синьор, он сказал правду.

— Ты посмел насмеяться над увеселениями города и пренебречь желаниями дожа?

— Светлейший синьор, если преступно пожалеть старика, оплакивающего свое дитя, и пожертвовать собственным торжеством ради его любви к мальчику, то я виновен в этом преступлении.

После этих слов воцарилось длительное безмолвие. Якопо говорил, как всегда, почтительно, но с тем мрачным спокойствием, какое составляло, по-видимому, неотъемлемую особенность его натуры. Во время ответа инквизитору он оставался бледен, как обычно, и выражение его горящих глаз, которые так удивительно озаляли и придавали живость его мертвенному лицу, не изменилось. Тайный знак вновь побудил секретаря вернуться к исполнению своих обязанностей.

— Итак, успехом на состязаниях гребцов ты обязан милости соперника — того, что стоит рядом с тобой перед лицом Совета?

— Тому свидетели Святой Теодор и Святой Антоний, покровитель города и мой хранитель.

— И единственное твоё желание при этом было — вновь высказать уже отвергнутую просьбу за юного моряка?

— Я не думал ни о чем другом, синьор. Может ли человек моих лет и моей судьбы кичиться победой над гондольерами или радоваться безделкам вроде игрушечного весла и цепочки?

— Ты забываешь, что весло и цепь сделаны из золота.

— Светлейшие синьоры, золото не может залечить раны, которые горе нанесло истерзанному сердцу. Верните мое дитя, чтобы не пришлось чужим людям закрыть мне глаза и чтобы мальчик мог услышать добрые наставления, пока есть еще надежда, что он запомнит мои слова, и тогда не нужны мне все богатства Риальто! Пусть вот это сокровище, которое я подношу благо-



родным синьорам с почтением, подобающим их величию и мудрости, докажет вам правдивость моих слов.

Умолкнув, рыбак приблизился неловкой походкой человека, не привыкшего находиться в присутствии знатных особ, и положил на темное сукно стола кольцо, в котором сверкали камни, по-видимому, исключительной ценности. Изумленный секретарь поднял кольцо и в ожидании держал его перед глазами судей.

— Возможно ли? — воскликнул тот из них, кто чаще всех вмешивался в ход допроса. — Оно похоже на наш свадебный залог!

— Так и есть, светлейший сенатор: это то самое кольцо, которым дож обручился с Адриатикой в присутствии послов и народа.

— Ты и к этому имеешь какое-нибудь отношение, Якопо? — грозно спросил судья.

Браво с любопытством взглянул на драгоценность и отвечал неизменно глубоким и твердым голосом:

— Нет, синьор, до сих пор я ничего не знал об этой удаче рыбака.

Подчиняясь поданному знаку, секретарь возобновил допрос:

— Ты должен объяснить нам, Антонио, ничего не утаивая, как эта святыня попала в твои руки. Помог ли тебе кто-нибудь добыть ее?

— Да, синьор, у меня был помощник.

— Немедленно назови его, и мы примем меры, чтобы его задержать.

— Это бесполезно. Власть Венеции тут бессильна.

— Глупец, о чем ты говоришь? Правосудие и власть республики распространяются на всех живущих в ее пределах. Отвечай прямо, если тебе дорога жизнь!

— Пытаться обмануть вас, чтобы спасти от бича свое старое и немощное тело, значило бы для меня дорожить вещью, ничего не стоящей, и совершить великую глупость и великий грех. Если вашим светлостям угодно выслушать меня, вы увидите, что и я очень хочу поведать вам, как ко мне попало это кольцо.

— В таком случае рассказывай, но не лги.

— Видно, вам часто приходится слушать лживые речи, синьоры, раз вы так настойчиво предостерегаете меня; но мы, рыбаки с лагун, не боимся говорить о том, что видели и что делали, потому что большую часть жизни проводим среди волн, на ветру, а ими ведь пове-

левают сам Господь Бог. У рыбаков, синьоры, есть предание, будто в давние времена один из наших выловил со дна залива кольцо, которым, по обычаю, дож обручился с Адриатикой. Но к чему такое сокровище человеку, если он ежедневно добывает себе пропитание неводом? И он отнес его дожу, как и подобает рыбаку, коему святые ниспослали находку, на которую он не имел никаких прав, словно хотели испытать его честность. Об этом поступке нашего собрата много рассказывают на лагунах и на Лидо, и я слышал, в залах дворца есть прекрасная картина одного венецианского художника, где изображена вся эта история: дож сидит на троне, а счастливый босоногий рыбак возвращает его высочеству утраченную драгоценность. Надеюсь, синьоры, для такого поверья есть основание, и это льстит нашему самолюбию и помогает многим из нас вести жизнь более праведную и более угодную Святому Антонию.

— Да... случай такой известен.

— А картина, ваша милость? Надеюсь, тщеславие не обмануло нас и в отношении картины?

— Картина, о которой ты говоришь, висит во дворце.

— Слава Богу! На этот счет у меня имелись опасения, ибо не часто случается, что богачи и счастливцы обращают такое внимание на поступки простых, бедных людей. Эту картину создал сам Тициан, ваша светлость?

— Нет, над ней трудился менее знаменитый художник.

— Говорят, Тициан умел писать людей словно живых, и я думаю, в честном поступке бедного рыбака такой художник, как он, мог увидеть для себя нечто поистине прекрасное. Впрочем, может быть, сенат посчитал опасным оказать нам, жителям лагун, такую честь?

— Продолжай свой рассказ о кольце.

— Светлейшие синьоры, я часто размышлял об удаче моего древнего собрата, и не раз мне снилось, как дрожащей рукой вытягиваю я сети, с нетерпением ожидая, что найду в них это сокровище. И вот то, о чем я так долго мечтал, наконец сбылось. Я старый человек, синьоры, и мало найдется водоемов между Фузиной и Джорджио, куда я не забрасывал сети или удочки, или отмелей, на которые я не вытаскивал снасти. Мне хорошо известно, куда направляется «Буцентавр» во время церемонии, и я постарался устлать там сетями

все дно в надежде, что вытащу кольцо. Когда его высочество бросил сокровище, я поставил на этом месте поплавков. Вот и вся история, синьоры. Помощником моим был Святой Антоний.

— Какие причины побудили тебя поступить так?

— Матерь божья! Разве недостаточно желания вырвать моего мальчика из тисков галеры? — воскликнул Антонио с горячностью и простодушием, часто соединяющимися в характере человека. — Я думал, если дожу и сенаторам угодно было запечатлеть на картине случай с кольцом и осыпать почестями одного рыбака, они с радостью вознаградят другого тем, что освободят мальчика, от которого республике вряд ли много пользы, но который дороже всего на свете его деду.

— Итак, твоя просьба к его высочеству, участие в состязании гребцов и поиски кольца преследовали одну и ту же цель?

— В моей жизни, синьор, только одна цель.

Среди членов Совета возникло легкое, но сдержанное движение.

— Когда его высочество отказал тебе в твоей просьбе, поданной в неподобающий миг...

— Ах, синьор, если у человека седая голова, а рука с каждым днем становится все слабее, он не может выжидать подходящего мгновения в таком деле! — прервал рыбак с истинно итальянской горячностью.

— Когда тебе отказали в просьбе и ты отверг награду победителя, ты отправился к своим друзьям и наполнил их уши жалобами на несправедливость Святого Марка и на тиранию сенаторов?

— Нет, синьор. Я ушел в печали и с разбитым сердцем, ибо не думал, что дож и знатные господа откажут в таком нехитром благодеянии победившему гондольеру.

— И ты не замедлил сообщить об этом рыбакам и бездельникам Лидо?

— Ваша светлость, в этом не оказалось надобности — несчастье мое стало известно сотоварищам, а ведь всегда найдутся языки, готовые болтать лишнее.

— Произошло возмущение, во главе которого стоял ты. Смутьяны призывали к мятежу и похвалялись, будто флот лагун сильнее флота республики.

— Разница между обоими невелика, синьор, разве что в одном люди плавают на гондолах с сетями, а в другом — на галерах государства. Зачем же братьям убивать друг друга?

Волнение судей стало еще заметнее. Некоторое время они шепотом совещались о чем-то, а затем секретарю, проводившему допрос, передали листок бумаги, где карандашом было набросано несколько строк.

— Ты обращался к своим сообщникам и открыто говорил о якобы нанесенных тебе обидах; ты осуждал законы, обязывающие граждан служить республике, когда ей приходится высылать против врагов свой флот.

— Трудно молчать, синьор, когда сердце переполнено.

— Вы также сговорились целой толпой прийти во дворец и от имени черни, живущей на Лидо, требовать, чтобы дож отпустил твоего внука.

— Нашлись великодушные люди, синьор, которые предлагали это, но остальные советовали обдумать все как следует, прежде чем браться за такое неверное дело.

— А ты — каково было твое мнение?

— Я стар, ваша светлость, и, хоть не привык, чтобы меня допрашивали знатные сенаторы, все же достаточно насмотрелся на то, как управляет республика Святого Марка, чтобы усомниться, будто нескольких безоружных рыбаков и гондольеров выслушают без...

— Ах, вот как! Значит, гондольеры тоже на твоей стороне! А я-то думал, будто они с завистью и досадой отнесутся к победе человека, не принадлежащего к их сословию.

— Гондольеры тоже люди, им, как и всем, трудно было сдержать свои чувства, когда они оказались побежденными, но, услышав, что у отца отняли сына, они также не остались холодны. Синьор, — продолжал Антонио с глубокой искренностью и поразительным простодушием, — в городе будет много недовольных, если мальчик останется на галерах!

— Это твое мнение. А много ли гондольеров было на Лидо?

— Когда увеселения окончились, ваша светлость, они начали приходить целыми сотнями, и надо отдать должное этим великодушным людям: в своей любви к справедливости они забыли о собственной неудаче. Черт возьми, эти гондольеры совсем не такой уж дурной люд, как думают некоторые, — они такие же, как все, и могут сочувствовать человеку не хуже других!

Секретарь остановился, ибо он уже исполнил свою обязанность. В мрачной комнате воцарилось снова полное безмолвие. После короткой паузы один из судей заговорил.

— Антонио Веккио,— произнес он,— ведь ты сам служил на упомянутых галерах, к которым питаешь теперь такое отвращение, и, как я слышал, служил с честью?

— Я исполнил свой долг перед Святым Марком, синьор. Я сражался с нехристями, но к тому времени у меня уже выросла борода и я научился отличать добро от зла. Нет долга, который все мы исполняем с большей охотой, чем защита островов и лагун.

— И всех остальных подвластных республике земель. Не следует устанавливать различие между отдельными владениями государства.

— Существует мудрость, какой Господь просветил великих, скрыв ее от бедных и слабых духом. Я вот никак не могу взять в толк, почему Венеция, город, построенный на нескольких островах, имеет больше прав владеть Корфу или Кандией, чем турки — нами.

— Как! Неужели ты смеешь сомневаться в правах республики на завоеванные ею земли?! А может быть, и все рыбаки так же дерзко отзываются о славе республики?

— Ваша светлость, я плохо понимаю права, которые приобретаются насилием. Господь Бог дал нам лагуны, но я не знаю, дал ли он нам еще что-нибудь. Слава, о которой вы говорите, возможно, не утруждает плечи сенатора, но она тяжким бременем давит сердце рыбака.

— Дерзкий человек, ты говоришь о том, чего не разумеешь!

— К несчастью, синьор, природа не дала силы разума тем, кого наделила великой силой переносить страдания.

Наступила напряженная тишина.

— Ты можешь удалиться, Антонио,— сказал наконец судья, который, по-видимому, председательствовал на этих заседаниях Совета Трех.— Ты никому не скажешь ни слова о том, что здесь происходило, и будешь ждать непререкаемого правосудия Святого Марка, зная, что оно неминуемо свершится.

— Благодарю вас, пресветлый сенатор, и подчиняюсь вашему приказу, но сердце мое переполнено,

и я хотел бы сказать несколько слов о своем мальчике, прежде чем покину это высокое собрание.

— Говори, здесь ты можешь свободно высказать все свои желания и печали, если они у тебя есть. Для Святого Марка нет большего удовольствия, чем выслушивать желания своих детей.

— Я вижу, клеветают на республику те, кто называет ее властителей бессердечными честолюбцами! — воскликнул старик с благородной пылкостью, не обращая внимания на суровое предостережение, сверкнувшее в глазах Якопо. — Сенаторы тоже люди, среди них есть и дети и отцы, так же как среди нас, жителей лагун!

— Говори, но воздержись от мятежных и постыдных речей, — полупшепотом предупредил его секретарь. — Продолжай.

— Мне осталось теперь сказать вам немного, синьоры. Я не привык хвастать своими заслугами перед государством, но человеческой скромности приходится иногда уступать место человеческой природе. Вот эти шрамы я получил в дни, которыми гордится Святой Марк, на передовой галере флота, сражавшегося у Греческих островов. Отец моего дорогого мальчика тогда оплакивал меня так же, как я теперь оплакиваю его сына. Да, хоть и стыдно в этом признаться людям, но, сказать правду, разлука с мальчиком заставила меня проливать горькие слезы одиночества в ночной тьме.

Много недель я находился между жизнью и смертью, а когда выздоровел и вернулся к своим сетям и своей работе, не стал удерживать сына, которого звала республика. Он пошел вместо меня навстречу нехристям — и не вернулся домой. Эта служба была уделом взрослых, умудренных опытом мужей, дурное общество галерных гребцов уже не смогло бы воспитать в них безнравственности. Но, когда в когти дьявола толкают детей, отец не может не горевать, и — если это слабость, я готов в ней признаться — у меня теперь нет того мужества и той гордости, чтобы послать свое дитя навстречу опасностям войны и влиянию развращенных людей, как в дни, когда дух мой был так же крепок, как мои члены.

Верните же мне моего мальчика, и до того дня, когда он проводит мое старое тело в песчаную могилу, я сумею с помощью Святого Антония внушить ему боль-

ше твердости в любви к добру, научить его жить так, чтобы никакой предательский ветер соблазна не сбил его лодку с верного пути. Синьоры, вы богаты, сильны, окружены славой, и, хотя самим вашим знатным происхождением и богатством вы можете быть поставлены перед искушением творить зло, вы ничего не знаете о тех испытаниях, каким подвергаются люди бедные. Что значат искушения самого Святого Антония по сравнению с теми, с которыми сталкивается человек в порочном обществе галерных матросов! И еще, синьоры,— хотя, быть может, это вас рассердит,— я скажу, что если у старика не осталось на свете ни одного близкого человека, которого он мог бы прижать к своей груди, кроме единственного мальчика, то хорошо, если б Святой Марк вспомнил, что даже рыбак с лагун имеет такие же человеческие чувства, как и царственный дож. Все это я говорю, благородные синьоры, движимый горем, а не злобой; ведь я только хочу вернуть свое дитя и умереть в мире и со знатными людьми, и с теми, кто мне ровня.

— Можешь идти,— проговорил один из Трех.

— Еще не все, синьоры; я хочу сказать кое-что о тех, кто живет на лагунах и кто громко негодует, когда юношей загоняют на галеры.

— Мы готовы выслушать их мнение.

— Благородные синьоры, если б я стал слово в слово повторять все, что они говорят, это оскорбило бы ваш слух. Человек остается человеком, лишь пречистая дева и святые принимают поклонение и молитвы тех, кто носит куртку из грубой шерсти и шапку рыбака. Я хорошо понимаю свой долг перед сенатом и воздержусь от таких грубых речей. Я не стану повторять их бранные слова, синьоры, но они говорят, что Святой Марк должен прислушиваться к смиреннейшим своим подданным не меньше, чем к самым богатым и знатным; что ни один волос не должен упасть с головы рыбака так же, как если бы голову эту венчал «рогатый чепец»; и что не следует человеку клеймить того, на ком сам Господь не поставил печати своего гнева.

— Неужели они смеют рассуждать так?

— Не знаю, рассуждают они или нет, благородный синьор, но так они говорят, и это святая правда. Мы, бедные люди с лагун, встаем с зарей, чтобы закинуть

свои сети, а к ночи возвращаемся домой к своей скудной пище и жесткой постели; но мы на это не сетовали бы, лишь бы сенаторы считали нас людьми и христианами. Я хорошо знаю, что Бог не всех оделил равно; ведь часто случается, что я выбираю из моря пустую сеть, когда мои приятели кряхтят от натуги, вытаскивая свой улов; это делается в наказание за мои грехи или чтоб смирить мое сердце; но выше сил человеческих заглянуть в тайники души или предречь, какое зло ожидает ребенка, еще не согрешившего. Святой Антоний ведает, скольких лет страданий может впоследствии стоить мальчику его пребывание на галере! Подумайте о том, синьоры, умоляю вас, и посылайте на войну мужей, укрепившихся в добродетели.

— Теперь ты можешь идти, — прервал его судья.

— Мне будет горько, — оставив без внимания его слова, продолжал Антонио, — если кто-нибудь из моего рода окажется причиной вражды между рожденными повелевать и рожденными повиноваться. Но природа сильнее даже закона, и я погрешу против нее, если уйду, не сказав того, что мне следует сказать как отцу! Вы отняли у меня дитя и послали его служить государству с опасностью для его тела и души, не дав мне возможности хотя бы поцеловать и благословить его на прощание, — кровь от крови и плоть от плоти моей забрали вы себе, будто это кусок дерева из оружейной мастерской; вы отправили мальчика на море, словно он чугунное ядро, вроде тех, которыми забрасывают нехристей. Вы остались глухи к моим мольбам, как если бы то были слова злодея, и после того, как я умолял вас на коленях, изнурял свое дряхлое тело, чтобы развлечь вас, вернул вам драгоценность, вложенную в мою сеть Святым Антонием, надеясь, что сердце ваше смягчится, после того, как я спокойно беседовал с вами о ваших делах, вы холодно отворачиваетесь, будто я не вправе защищать своего отпрыска, которого Бог даровал мне для утешения моей старости! Нет, это не прославленное правосудие Святого Марка, сенаторы Венеции, вы жестоки, вы отнимаете у бедняка последнюю корку хлеба, а так делать не пристало даже самому хищному ростовщику Риальто!

— Не хочешь ли ты сказать еще что-нибудь, Антонио? — спросил судья с коварным намерением заставить рыбака до конца обнажить свою душу.

— Разве недостаточно, синьоры, что я говорю о моих годах, моей бедности, шрамах и о моей любви к мальчику? Не знаю, кто вы, но ведь от того, что вы скрыли лица под масками и закутались в мантии, вы не перестали быть людьми. Если есть среди вас отец или, быть может, человек, на котором лежит еще более святой долг — забота о ребенке умершего сына, я обращаюсь к нему! Как можете вы говорить о справедливости, когда бремя вашей власти давит тех, кому и так приходится туго. Думайте что хотите, но даже последнему гондольеру известно...

Закончить фразу рыбаку помешал Якопо, который грубо зажал ему рот рукой.

— Почему ты осмелился прервать жалобы Антонио? — сурово спросил судья.

— Не подобает, благородные сенаторы, слушать столь непочтительные речи в присутствии таких знатных особ, — с глубоким поклоном отвечал Якопо. — Ослепленный любовью к внуку, старый рыбак, досточтимые синьоры, может сказать такое, в чем ему потом придется горько раскаиваться, как только пыл его угаснет.

— Республика Святого Марка не боится правды! Если у него осталось еще что-нибудь, пусть скажет.

Но Антонио стал понемногу приходить в себя. Румянец, покрывший было обветренные щеки, исчез, грудь его перестала тяжело вздыматься. Как человек, в ком пробудилось не столько почтение к судьям, сколько благоразумие, с более спокойным взглядом и лицом, выражавшим свойственную его возрасту покорность и сознание своего низкого положения, он произнес уже мягче:

— Если я оскорбил вас, высокочтимые патриции, умоляю забыть горячность невежественного старика, чьи чувства берут верх над разумом и который лучше умеет говорить правду, чем делать ее приятной для благородных ушей.

— Ты можешь удалиться.

Вооруженные стражники выступили вперед и, повинаясь знаку секретаря, вывели Антонио и его спутника в ту самую дверь, через которую они вошли. За ними последовали и должностные лица Совета, а тайные судьи остались одни в зале суда.

Глава XIII

О дни, что нам в удел достались!

Шелтон.

Воцарилась тишина, которая часто сопутствует самосозерцанию и, возможно, осознанному сомнению в избранных средствах. Затем члены Совета Трех все вместе поднялись и начали не спеша освобождаться от скрывавших их облачений. Они сняли маски, обнаружив свои немолодые лица, на коих мирские заботы и страсти оставили такие глубокие следы, какие уже ни покой, ни отрешение от мира не могли стереть. Пока они разоблачались, никто не произнес ни слова, ибо дело, которым они только что занимались, вызвало у каждого чувства непривычные и неприятные. Избавившись наконец от ненужных уже мантий и масок, они придвинулись ближе к столу; каждый искал душевного и телесного отдыха, что естественно после той скованности, в какой они пребывали столь длительное время.

— Перехвачены письма французского короля,— заговорил один, после того как прошло достаточно времени, чтобы все могли собраться с мыслями.— Речь в них идет как будто о новых замыслах императора.

— Возвратили их послу? Или вы полагаете, что подлинники следует представить сенату? — спросил другой.

— Об этом мы еще посовещаемся в свободное время. У меня нет больше никаких новостей, кроме той, что приказ перехватить папского гонца исполнить не удалось.

— Секретари уже сообщили мне о том. Мы должны расследовать причину небрежности посланных нами людей, поскольку есть основания полагать, что в случае поимки гонца мы получили бы много полезных сведений.

— Неудавшаяся попытка стала известна народу, и о ней много толкуют. Необходимо поэтому издать приказы об аресте грабителей, иначе слава республики понесет урон в глазах ее друзей. В нашем списке есть немало лиц, давно заслуживающих наказания; в тех местах, где произошло все это, найдутся люди, которым можно приписать подобный проступок.

— Этим нужно заняться со всей тщательностью, ибо дело, как вы говорите, очень важное. Правительство,

равно как и частное лицо, пренебрегающее добрым мнением о себе, не может рассчитывать надолго сохранить уважение друзей.

— Честолюбивые притязания дома Габсбургов не дают мне покоя! — воскликнул другой, с отвращением отбросив бумаги, которые перед тем просматривал. — Клянусь Святым Теодором! Сколь пагубно для народа желание увеличить свои владения и распространить несправедливую власть, перейдя все границы разума и естества! Уж много веков никто не оспаривает наших прав на владение провинциями, приспособленными к государственному устройству Венеции, чьи нужды и желания они удовлетворяют, — провинциями, которые с доблестью завоевали наши предки и которые неотделимы от нас так же, как наши укоренившиеся привычки; и все же они становятся предметом алчной зависти нашего соседа, а мы своей все растущей слабостью потворствуем его тщеславным притязаниям. Синьоры, размышляя о нравах и страстях людей, я теряю всякое почтение к ним, а когда я изучаю их склонности, чувствую, что предпочел бы родиться собакой. Кто станет спорить, что среди всех правителей на земле австрийский император одержим самой неутолимой жаждой власти?

— Вы полагаете, досточтимый синьор, будто он превосходит в этом даже государя Кастилии? Тогда вы недооцениваете страстное желание испанского короля присоединить Италию к своим владениям.

— Габсбурги или Бурбоны, турки или англичане — всеми ими, как видно, движет одна и та же неукротимая жажда власти; и вот теперь, когда Венеции не на что более надеяться, кроме как на сохранение нынешних ее преимуществ, ничтожнейшее из наших владений делается предметом алчных вожделений наших врагов. Это кипение страстей так изнурительно, что поневоле захочешь покончить с государственными делами и удалиться в монастырь на покаяние!

— Всякий раз, когда я слушаю вас, синьор, я ухожу отсюда умнее, чем пришел! Поистине стремление чужеземцев ущемить наши права, обретенные — это можно сказать с уверенностью — нашей кровью и нашими деньгами, со дня на день становится все заметнее. Если оно вовремя не будет пресечено, у Святого Марка не останется в конце концов и клочка земли, достаточного, чтобы к нему могла причалить хоть одна гондола.

— Достопочтенный синьор, прыжки Крылатого Льва становятся короче, иначе подобных вещей не случилось бы! Мы бессильны теперь убеждать или приказывать, как в прежние времена, а в наших каналах вместо тяжело груженных парусников и быстроходных фелукк плавают лишь скользкие водоросли.

— Португальцы нанесли нам непоправимый урон — ведь без их африканских открытий мы все еще могли бы держать в своих руках торговлю с Индией. Всем сердцем ненавижу эту нечистую нацию, помесь готов с маврами!

— Я воздерживаюсь от суждений по части их происхождения или поступков, друзья мои, чтобы предубеждение не смогло разжечь в моем сердце чувства, неподобающие человеку и христианину. В чем дело, синьор Градениго, о чем вы задумались?

Третий член Тайного Совета, оказавшийся человеком, уже знакомым читателю, не произнес ни слова, с тех пор как увели допрашиваемого; теперь он медленно поднял голову, выведенный этим обращением из глубокой задумчивости.

— Допрос рыбака оживил в моей памяти сцены детства, — отвечал он с оттенком искренности, какую редко можно было здесь услышать.

— Помню, ты говорил, будто он твой молочный брат, — заметил собеседник, с трудом подавляя зевоту.

— Мы вскормлены одним молоком и первые годы нашей жизни играли вместе.

— Такое мнимое родство часто доставляет неприятности. Рад, что ваша озабоченность не вызвана никакой другой причиной, ибо я слышал, будто ваш юный наследник последнее время проявляет склонность к распушенности, и опасался, не стало ли вам, как члену Совета, известно что-либо такое, о чем, как отец, вы предпочли бы не знать.

Выражение высокомерия мгновенно исчезло с лица синьора Градениго. Он украдкой недоверчиво и пытли-во глянул на собеседников, сидевших с опущенными глазами, стремясь прочесть их тайные мысли, прежде чем рискнуть обнаружить свои.

— Юноша в чем-нибудь провинился? — спросил сенатор неуверенно. — Беспокойство отца вам, конечно, понятно, и вы не станете скрывать от меня правду.

— Синьор, вы знаете, тайные соглядатаи весьма дея-

тельны, и почти все, что становится известно им, доходит до членов Совета. Но даже в самом худшем случае речь идет не о жизни и смерти. Легкомысленному юноше грозит всего лишь вынужденная поездка в Далмацию или приказание провести лето у подножия Альп.

— Что делать, синьоры, юность — пора безрассудств,— заметил отец, облегченно вздохнув.— И, поскольку всякий, кто дожил до седин, некогда был молод, мне незачем тратить лишние усилия, чтобы пробудить в вас воспоминания о слабостях этого возраста. Полагаю, мой сын не может быть замешан в заговоре против республики?

— В этом его никто не подозревает.— На лице старого сенатора мелькнула тень иронии, когда он произносил эти слова.— Как сообщают, он слишком настойчиво домогается руки и состояния вашей воспитанницы; но ведь она находится под особой опекой Святого Марка, и никто не может претендовать на ее руку без согласия сената, что должно быть хорошо известно одному из самых старых и почитаемых его членов.

— Таков закон, и я не потерплю, чтобы кто-либо из моей семьи отнесся к нему без должного почтения. Я объявил о своих притязаниях на этот союз открыто и смиренно и всецело полагаюсь на ваше благоволение.

Двое остальных вежливо кивнули в знак признания справедливости его слов и правильности поступков, но с видом людей, слишком привыкших к лицемерию, чтобы так легко дать себя обмануть.

— Никто в этом не сомневается, достойный синьор Градениго, твоя преданность государству служит примером молодым и приводит в восхищение людей более зрелых. Можешь ли ты сообщить что-нибудь о привязанностях молодой наследницы?

— С огорчением должен сказать, что глубокая признательность дону Камилло Монфорте, как видно, сильно подействовала на ее юное воображение, и, как я предвижу, государству придется преодолеть причуды женского сердца, чтобы по своему усмотрению распорядиться судьбой моей воспитанницы. Своенравие этого возраста доставит нам больше затруднений, чем гораздо более важные дела.

— Постоянно ли девица окружена подходящим обществом?

— Все ее друзья известны сенату. В столь затрудни-

тельных обстоятельствах я никогда не решился бы действовать помимо его воли и согласия. Но дело это щекотливое и требует осторожности. Так как значительная часть владений моей подопечной находится в церковных землях, прежде чем предпринимать какие-либо решительные действия, необходимо выждать подходящий миг и воспользоваться ее правами, чтобы перевести ее достояние в пределы республики. Едва имущество окажется надежно закреплено за ней, можно без дальнейшего промедления решать ее судьбу в согласии с интересами государства.

— Богатство, происхождение и красота девицы могут оказаться в высшей степени полезными в обстоятельствах, которые теперь так сильно сковывают наши действия. Ведь когда-то дочь Венеции, не более прекрасная, чем эта, стала супругой монарха!

— Синьор, годы славы и величия миновали. Если сенаторы сочтут разумным пренебречь естественной склонностью моего сына и выдать мою воспитанницу замуж, руководствуясь лишь интересами республики, то мы достигнем этим не более чем выгодной уступки в каком-либо договоре или незначительного возмещения одной из многочисленных потерь, какие терпит республика. В этом отношении она может принести пользы столько же, если не больше, чем самый старый и мудрый из нас. Но чтобы девушка могла поступить по своей воле и ничто не смогло помешать ее счастью, необходимо скорее дать ответ на требование дона Камилло. Не лучше ли пойти на соглашение с ним, чтобы он поскорее отправился к себе домой, в Калабрию?

— Прежде чем принять столь важное решение, надлежит все тщательно взвесить.

— Но герцог жалуется уже на нашу медлительность, и, надо признать, не зря! Пять лет прошло с тех пор, как он впервые предъявил свои права.

— Синьор Градениго, люди здоровые и полные сил могут двигаться стремительно, но тем, кто стар и не твердо держится на ногах, следует ходить осторожно. Поторопиться в столь важном деле и не извлечь из него выгод для республики значило бы пустить по ветру богатства, которые потом никакой сирокко уже не загонит на наши каналы. Необходимо заставить герцога Святой Агаты согласиться с нашими условиями, иначе мы нанесем большой ущерб собственным интересам.

— Я напомнил об этом вашим светлостям как о деле, достойном вашего мудрого решения; думается, мы не проиграем, удалив с глаз и из памяти влюбленной девушки столь опасного человека.

— Девуца очень влюбчива?

— Она итальянка, синьор, а наше солнце горячит воображение и туманит рассудок!

— В исповедальную ее, пусть обратится к молитвам! Благочестивый настоятель собора Святого Марка станет смирять ее воображение, пока она не сочтет неаполитанца за нехристя-мавра. Да простит мне праведный Святой Теодор, но ты, мой друг, наверно, еще помнишь то время, когда церковная епитимья оказывалась неплохим лекарством от твоего легкомыслия и праздности.

— Синьор Градениго слыл в свое время настоящим повесой,— заметил третий,— это хорошо помнят все, кто бывал в его обществе. О тебе ходило немало разговоров в Версале и Вене. Нет, не пытайся отрицать свои успехи передо мной: не отказывай мне в едва ли не единственном оставшемся у меня достоинстве — ясной памяти.

— Я протестую против искажения прошлого,— возразил обвиняемый, и его поблекшие черты озарились слабой улыбкой.— Мы все были молоды, синьоры, но даже тогда я не знал венецианца с более светскими манерами и пользовавшегося большим успехом, особенно у французских дам, чем тот, кто сейчас говорил все это.

— Не стоит сводить счеты, не стоит — все это лишь заблуждения молодости и дань времени! Но я помню, Энрико, как видел тебя в Мадриде,— более веселого и изящного кавалера не было при испанском дворе.

— Ты оказался ослеплен дружбой — уверяю тебя, я был не более чем жизнерадостный мальчишка. Ты слышал в Париже о моей истории с мушкетером?

— Слышал ли я о «великой войне»? Ты слишком скромн, если сомневаешься, знаю ли я про поединок, который целый месяц служил темой разговоров в свете, словно военная победа! Приятно было в то время называть его соотечественником, ибо могу тебя заверить, синьор Градениго, на улицах Парижа невозможно было встретить кавалера более галантного и блестящего.

— Ты рассказываешь мне о вещах, которые я видел собственными глазами. Когда я приехал в Париж, повсюду только о нем и говорили. Что за блестящий двор,

как великолепно была столица Франции в наше время, синьоры!

— Не существовало города приятнее и с более свободными нравами — да поможет мне Святой Марк своими молитвами! Сколько сладостных часов провел я в Марэ и Шато! ¹ Встречал ли ты когда-нибудь в версальском парке графиню де Миньон?

— Тсс! Ты становишься слишком болтлив, дорогой мой; но изящества и привлекательности у нее было более чем достаточно, это я могу сказать. А какая игра шла тогда в модных салонах!

— О, я испытал это на себе! Поверите ли, дорогие друзья, я поднялся из-за стола прекрасной герцогини де ***, проиграв тысячу цехинов, а ведь игра длилась не более минуты, помню как сейчас.

— И мне запомнился тот вечер. Ты сидел между супругой французского посла и английской леди. Ты играл в «красное и черное» — играл кое-как, ибо, вместо того чтобы глядеть в карты, ты не мог глаз отвести от своих соседок. Я охотно заплатил бы половину твоего проигрыша, Джулио, чтобы прочитать письмо, которое ты получил от достопочтенного сенатора, твоего отца, после этого!

— Он об этом так и не узнал. Никогда. У меня имелись друзья на Риальто, и через несколько лет по счету было все уплачено. А ты, Энрико, кажется, был тепло принят Нинон?

— Она делила со мной свой досуг, и я наслаждался блестящими ее остроумия.

— О нет, говорили, будто ты удостоился еще больших милостей...

— Пустые салонные сплетни! Я решительно отвергаю их, господа; меня, конечно, принимали лучше других... но досужие языки всегда найдут тему для разговоров.

— А ты, Алессандро, помнится, оказался в обществе молодых людей, которые в погоне за развлечениями носились из страны в страну, так что за десять недель побывали при десяти дворах Европы?

— Да кто же был их предводителем, если не я? Похоже, ты начинаешь терять память. Это было пари

¹ Марэ и Шато — аристократические кварталы старого Парижа.

на сто золотых луидоров, и мы с честью его выиграли. Отмена приема при дворе курфюрста Баварии чуть не подвела нас, но, если ты помнишь, мы подкупили дворцового камердинера и как бы случайно очутились в обществе монарха.

— Разве это считалось достаточно?

— Да, по условиям пари мы должны были в течение десяти недель побеседовать с десятью монархами в их собственных дворцах. О, мы честно выиграли пари и, надо сказать, очень весело истратили выигрыш!

— За последнее ручаюсь — ведь я не расставался с тобой, пока весь он до последней монеты не был израсходован. В северных столицах есть немало способов тратить золото, и мы быстро с ним расправились... Приятно в молодости провести несколько праздных лет в этих странах!

— Жаль только, климат там суровый.

Остальные, как истинные итальянцы, поежились при одном упоминании о холоде, что, конечно, не помешало продолжению беседы.

— Конечно, солнце у них не столь жаркое и небо не такое уж ясное, но веселья и гостеприимства им не занимать, — отозвался синьор Градениго, тоже принимавший деятельное участие в разговоре, хотя мы и не считаем нужным отмечать, кто именно высказывал то или иное суждение, в равной мере характерное для всех собеседников. — Немало приятных часов провел я и в Генуе, хотя на этом городе лежит отпечаток трезвости и благоразумия, что не всегда отвечает склонностям молодого человека.

— Ну, и в Стокгольме и в Копенгагене есть свои прелести, уверяю тебя. Мне довелось прожить несколько месяцев в каждом из них. Датчане большие весельчаки и хорошие собутыльники.

— В этом всех превосходят англичане! Если я осмелюсь рассказать вам об их образе жизни, вы не поверите. Многие вещи даже мне кажутся невероятными, несмотря на то что я не раз видел их собственными глазами. Мрачная это земля, и, в общем, не по душе нам, итальянцам.

— Англия не идет ни в какое сравнение с Голландией. Бывал ли кто из вас в Голландии, друзья? Наслаждались ли вы изысканностью Амстердама и Гааги? Я помню, как один молодой римлянин уговаривал прия-

теля провести там зиму; остроумный бездельник назвал ее «сказочной страной прекрасного пола»!

Трое старых итальянцев, в которых оживленный разговор пробудил множество забавных воспоминаний и приятных грез, разразились громким, дружным смехом. Этот надтреснутый смех, гулко прозвучав в мрачной и торжественной комнате, внезапно напомнил им об их обязанностях. Каждый, словно ребенок, которому угрожает наказание за леность, мгновение прислушивался, будто ожидая, что необычное нарушение никогда не нарушаемой тишины должно повлечь за собой какие-то чрезвычайные последствия; затем глава Совета украдкой отер выступившие слезы, и его лицо приняло прежнее суровое выражение.

— Синьоры,— сказал он, роясь в кипе бумаг,— займемся делом рыбака, но прежде разберем случай с кольцом, оставленным прошлой ночью в Львиной пасти. Синьор Градениго, расследование было возложено на вас.

— Поручение выполнено, благородные синьоры, и к тому же гораздо успешнее, чем я мог надеяться. Из-за недостатка времени мы не смогли при прошлой встрече прочесть бумагу, к которой было привязано кольцо; как теперь стало ясно, эти вещи имеют связь между собою. Вот донос, обвиняющий дона Камилло Монфорте в намерении похитить и увезти из-под надзора сената донну Виолетту, мою воспитанницу, с целью завладеть ее рукой и богатством. Обвинитель пишет о доказательствах, какими он располагает, из чего можно предположить, что это один из доверенных слуг неаполитанца. По-видимому, в залог правдивости своих слов, поскольку никакая другая причина не указана, он прилагает к письму кольцо дона Камилло с печатью, которое могло оказаться только в руках человека, пользующегося доверием этого знатного синьора.

— Точно ли установлено, что кольцо принадлежит ему?

— Это доподлинно известно. Вы знаете, мне поручен разбор его требований к сенату, из-за чего нам неоднократно приходилось встречаться с ним, и я имел возможность заметить, что он всегда носил перстень с печатью, которого теперь нет на его руке. Мой ювелир подтвердил, что это кольцо и есть исчезнувший перстень.

— До сих пор все кажется ясным, кроме одного довольно туманного обстоятельства, а именно: перстень обвиняемого найден вместе с письмом обвинителя; пока это не разъяснится, обвинение представляется смутным и бездоказательным. Есть ли у вас какие-либо догадки относительно автора письма или средства узнать, кем оно послано?

На щеках синьора Градениго проступили крошечные, еле заметные красные пятна, что не ускользнуло от весьма проницательных взглядов его недоверчивых коллег; но он подавил свою тревогу и уверенно объявил, что на этот счет у него нет никаких сведений.

— В таком случае нам придется повременить с выводами, пока не появятся новые доказательства. Справедливость Святого Марка слишком широко известна, чтобы рисковать его репутацией, поспешно решив дело, так близко затрагивающее интересы одного из влиятельнейших людей Италии. Дон Камилло Монфорте носит прославленное имя, и среди его родни насчитывается слишком много знатных людей, чтобы с ним можно было обойтись, как с каким-нибудь гондольером или гонцом из чужой страны.

— В том, что касается его, синьоры, вы несомненно правы. Но не подвергаем ли мы нашу наследницу опасности таким чрезмерным мягкосердечием?

— Синьор, в Венеции достаточно монастырей.

— Монашеская жизнь плохо согласуется с характером моей подопечной,— сдержанно заметил синьор Градениго.— А испытывать его кажется мне опасным. Золото — это ключ, который отворит любую келью; кроме того, соображения благопристойности не позволяют поместить дитя республики в заточение.

— Синьор Градениго, мы подвергли это дело долгому и тщательному рассмотрению и, поступив, как предписывают законы в случае, если один из нас непосредственно заинтересован в исходе какого-либо процесса, обратились за советом к его высочеству, который разделяет наше мнение. Личная заинтересованность в судьбе этой девицы, по-видимому, сказала на ясности вашего суждения, во всех остальных случаях безошибочного; когда б не это обстоятельство, не сомневайтесь, что мы пригласили бы и вас участвовать в нашем совещании.

Старый сенатор, так неожиданно для самого себя оказавшийся в стороне от того самого дела, которое больше всего другого заставляло его ценить свою временную власть, растерянно молчал; прочитав в то же время на его лице желание узнать больше, коллеги высказали ему все, о чем намеревались сообщить.

— Решено перевести девушку в уединенное место, и для этого уже кое-что сделано. Таким образом, на некоторое время вы освободитесь от чрезвычайно обременительной обязанности, выполнение коей не могло не омрачать ваше душевное состояние и не умалить столь ценные услуги, оказываемые вами республике.

Неожиданное сообщение произнесено было в особенно любезной манере, но тон и способ выражения весьма ясно показали сенатору Градениго, какие подозрения возникли на его счет. Сенатор слишком хорошо знал гибкие методы Совета, членом которого он неоднократно состоял, чтобы не понимать, что, выразив сомнение в справедливости принятого решения, он рискует навлечь на себя обвинения более серьезные. Изобразив поэтому улыбку не менее лживую, чем у его коварного собрата, Градениго отвечал с притворной признательностью.

— Его светлость и вы, мои высокочтимые коллеги, принимая это решение, руководствовались, видимо, не столько соображениями долга смиреннейшего из подданных Святого Марка, обязанного, пока у него хватает разума и сил, трудиться на своем поприще, сколько собственной благожелательностью и добросердечием, — проговорил он. — Справляться с женскими капризами — дело нелегкое; позвольте мне поэтому принести благодарность за внимание, проявленное ко мне, и выразить готовность немедленно вернуться к своим обязанностям, как только государству станет угодно вновь возложить их на меня.

— Никто не убежден в этом более нас, и никого не удовлетворяет столь полно ваша способность с честью выполнять порученное. Но, синьор, соображения наши вам понятны, и вы согласитесь с тем, что и республике и одному из самых именитых ее граждан в равной мере не пристало оставлять нашу подопечную в обстоятельствах, которые могут навлечь на этого достойного синьора незаслуженные нарекания. Поверьте, принимая сие решение, мы меньше думали о Венеции, чем о чести

и интересах дома Градениго; ведь если б неаполитанцу удалось расстроить наши замыслы, осуждение пало бы на вас одного.

— Тысяча благодарностей, благородный синьор,— отвечал бывший опекун.— Вы сняли тяжесть с моей души и вернули мне свежесть и легкость молодости! Необходимость ответить на притязания дона Камилло теряет теперь свою безотлагательность, поскольку вам угодно, чтобы девушка провела лето вдали от города.

— Всего разумнее держать его в постоянном ожидании, хотя бы для того, чтобы это занимало его мысли. Продолжайте видаться и беседовать с ним, как прежде, но не лишайте надежды — мощного средства ободрения сердец, не иссушенных еще жизнью. Мы не скроем от нашего собрата, что уже близятся к концу переговоры, которые снимут с плеч государства заботу об этой девушке, и не без выгоды для Святого Марка. То обстоятельство, что ее владения находятся за пределами республики, значительно облегчает соглашение, о котором вам ничего прежде не сообщали по тем соображениям, что последнее время мы и так чрезмерно занимали вас делами.

Вновь синьор Градениго поклонился скромно и с притворной радостью. Он понял, что, несмотря на искусное лицемерие и внешнее беспристрастие, все его тайные замыслы раскрыты, и он покорился с тем безнадежным смирением, которое становится если и не чертой характера, то привычкой у людей, долгие годы живущих при деспотическом правлении. Когда этот щекотливый вопрос оказался разрешен,— для чего потребовалась вся тонкость, какую сумели проявить венецианские государственные мужи, поскольку затрагивались интересы одного из членов страшного Совета,— все трое обратились к другим делам с тем кажущимся беспристрастием, личину которого обычно надевают люди, знакомые с кривыми тропами политических интриг.

— Поскольку мы так удачно сошлись во мнениях относительно устройства будущего донны Виолетты,— невозмутимо заметил самый старший,— теперь можно заняться нашими очередными делами. Что найдено сегодня в Львиной пасти?

— Несколько обычных, ничего не значащих доносов, продиктованных личной ненавистью,— отвечал другой.— Некто обвиняет соседа в том, что тот нерадиво относит-

ся к своему религиозному долгу, небрежен в соблюдении постов, установленных святой церковью,— глупейший упрек, достойный разве что слуха викария.

— А что еще?

— В другом письме — жалоба на мужа, пренебрегающего супружеским долгом. Жалоба написана рукой женщины и, по всему видно, продиктована женской злобой.

— Которая легко разгорается и быстро угасает. Предоставим соседям успокоить супругов своими насмешками. Еще что?

— Истец жалуется на медлительность судей.

— Тут затронуто достоинство Святого Марка! Этим следует заняться.

— Не торопитесь,— вмешался синьор Градениго.— Суд поступает благоразумно. Речь идет о деле одного еврея, которому, как подозревают, известны важные секреты. Оно требует осмотрительности, смею вас уверить.

— Порвите жалобу. Что-нибудь еще?

— Ничего особенного. Как обычно, много шуток и корявых стихов, впрочем, вполне безобидных. Из тайных доносов, конечно, можно извлечь кое-что полезное, но в большинстве случаев это сплошной вздор. Я высек бы десятилетнего мальчишку, если б он не сумел слепить из благозвучных итальянских слов стишок получше, например, вот этого.

— Подобная вольность есть следствие безнаказанности. Не станем обращать внимание — ведь все, что служит для забавы, отвлекает от мятежных помыслов. Но не пора ли нам отправиться к его высочеству, синьоры?

— Вы забыли о рыбаке,— устало заметил синьор Градениго.

— Вы говорите истинную правду. Что за светлая голова у вас, синьор! Ничто важное не ускользает от вашего быстрого ума!

Старый сенатор, слишком искушенный, чтобы принимать подобные похвалы за чистую монету, счел все же необходимым сделать вид, будто он польщен. Он поклонился, решительно возражая против комплиментов, по его словам совершенно незаслуженных. Закончив эту маленькую интермедию, все углубились в дело, которое еще предстояло разобрать.

Поскольку из дальнейшего нашего повествования станет ясно, к какому решению пришел в конце концов

Совет Трех, мы воздержимся от подобного описания разговора, возникшего в ходе обсуждения. Заседание было долгим, настолько долгим, что когда, наконец, покончив с делом, все поднялись со своих мест, башенные часы на площади глухо пробили полночь.

— Вероятно, дож проявляет уже нетерпение,— заметил один из двух членов Совета, чьи имена так и остались не названы читателю, в то время как они надевали плащи, готовясь выйти из комнаты.— Мне кажется, его высочество выглядел во время сегодняшнего празднества более слабым и утомленным, чем обычно.

— Его высочество уже не молод, синьор. Если память мне не изменяет, он значительно превосходит годами каждого из нас. Мадонна ди Лоретто, дай ему сил и мудрости еще долго и достойно носить чепец дожа!

— Недавно он отправил подношения ее храму.

— Да, синьор. Духовник его светлости сам повез дары, мне это доподлинно известно. То было не крупное пожертвование, просто дож пожелал оправдать возникший вокруг него ореол святости. Боюсь, его правление окажется недолгим!

— Действительно, в нем заметны признаки увядания. Это достойный государь, и мы осиротеем, когда нам придется оплакивать его кончину!

— Справедливые слова, синьор; даже «рогатый чепец» не может защитить от смерти. Годы и болезни не повинуются нашей воле.

— Ты печален сегодня, синьор Градениго. Редко ты бываешь так молчалив со своими друзьями.

— И тем не менее я благодарен за их милости. Если лицо мое и омрачено, на сердце у меня радость. Человек, подобно тебе, счастливо выдавший замуж дочь, легко поймет, с каким облегчением я воспринял весть о решении дел моей подопечной. Радость часто имеет то же выражение, что и горе: порой она заставляет даже проливать слезы.

Собеседники взглянули на него с притворным сочувствием. Потом все вместе они покинули роковую комнату. Вошедшие вслед за тем слуги погасили светильники, и помещение погрузилось в темноту, не менее беспросветную, чем мгла, окутывавшая мрачные тайны этого дворца.

Глава XIV

Тогда услышал серенаду я,
Которая нарушила безмолвье.
Надежда, что звучала в ней, проникла
Сквозь каменные стены.

Роджерс. «Италия».

Несмотря на поздний час, каналы города повсюду оглашались звуками музыки. Гондолы продолжали скользить среди опустившейся тьмы, под сводами дворцов раздавались смех и пение. На Пьяцце и Пьяцетте еще сверкали огни и пестрели толпы неугомонных гуляк.

Дворец донны Виолетты находился в стороне от этой арены всеобщего веселья. Несмотря на отдаленность, время от времени до слуха обитателей его долетал шум толпы и громкие звуки духовых инструментов, приглушенные расстоянием, придававшим им таинственное очарование.

Свет луны сюда не проникал, и узкий канал под окнами комнат донны Виолетты был погружен во мрак. Юная пылкая девушка стояла на балконе, выступающем над водой, и, вся подавшись вперед, как зачарованная, со слезами на глазах, вслушивалась в один из тех нежных венецианских напевов, в которых голоса певцов-гондольеров перекликаются с разных концов канала. Гувернантка, ее неизменная спутница, находилась возле нее, в то время как духовный отец оставался в глубине комнаты.

— Вероятно, на свете есть города, превосходящие наш красотой и весельем,—проговорила очарованная Виолетта, выпрямившись, после того как умолкли голоса певцов,—но в такую ночь, в этот волшебный час, что может сравниться с Венецией?

— Провидение не столь пристрастно в распределении земных благ, как это представляется взорам непосвященных,—отозвался внимательный кармелит.—У нас свои радости и свои достоинства, заслуживающие пристального изучения, у других городов свои преимущества; Генуя и Пиза, Флоренция, Анкона, Рим, Палермо и самый великолепный — Неаполь.

— Неаполь, падре?

— Неаполь, дочь моя. Среди городов солнечной Италии он самый прекрасный и богаче других наделен дарами природы. Из всех мест, какие я посетил за свою жизнь, полную скитаний и паломничеств, это земля, на которой заметнее всего печать божественного творца!

— Вы говорите сегодня, как поэт, добрый отец Ансельмо. Должно быть, это и правда прекрасный город, если воспоминание о нем способно так воспламенить воображение кармелита.

— Твой упрек справедлив. Я говорил больше под влиянием воспоминаний, сохранившихся от дней праздности и легкомыслия, чем как человек с просветленной душой, которому подобает видеть руку создателя даже в самом простом и непривлекательном из его чудесных творений.

— Вы напрасно упрекаете себя, святой отец,— заметила кроткая донна Флоринда, подняв глаза на бледное лицо монаха.— Восхищаться красотой природы — значит преклоняться перед ее творцом.

В это мгновение на канале под балконом внезапно раздались звуки музыки. Донна Виолетта от неожиданности отпрянула назад, у нее перехватило дыхание, изумление и восторг наполнили душу молодой девушки, и при мысли, что она покорила чье-то сердце, лицо ее залилось краской.

— Проплывает оркестр,— спокойно проговорила донна Флоринда.

— Нет, это какой-то кавалер! Вон гондольеры, одетые в его ливреи.

— Поступок столь же дерзкий, сколь и галантный,— заметил монах, прислушиваясь к музыке с явным неудовольствием.

Теперь уж не оставалось никаких сомнений, что исполняется серенада. Хотя этот обычай был очень распространен, донне Виолетте впервые оказывали подобный знак внимания. Всем известная замкнутость ее образа жизни, уготованная ей судьба, страх перед ревностью деспотического государства и, быть может, глубокое уважение, которое внушали нежный возраст и высокое положение девушки, до сих пор удерживали вздыхателей, честолюбцев и людей расчетливых на значительном расстоянии.

— Это мне! — прошептала Виолетта в мучительном, трепетном восторге.

— Да, это одной из нас,— отозвалась ее осторожная подруга.

— Кому бы ни предназначалась серенада, это дерзость,— вмешался монах.

Донна Виолетта скрылась от глаз посторонних за оконную портьеру, но, когда просторные комнаты наполнились нежными звуками музыки, она не сумела скрыть свою радость.

— С каким чувством играет оркестр! — почти шепотом произнесла она, не рискуя говорить полным голосом из боязни пропустить хотя бы звук.— Они исполняют один из сонетов Петрарки! Как это неосторожно и все же как благородно!

— Благородства тут больше, чем благоразумия,— заметила донна Флоринда, выходя на балкон и пристально всматриваясь в то, что происходило внизу.— Музыканты, которые находятся в одной из гондол, одеты в цвета какого-то знатного синьора, а в другой лодке — одинокий кавалер.

— Разве с ним никого нет? Неужели он сам гребет?

— Нет, здесь соблюдены все приличия: лодкой правит человек в расшитой ливрее.

— Скажи же им что-нибудь, милая Флоринда, умоляю тебя!

— Удобно ли это?

— Конечно, я думаю. Говори с ними прямо. Скажи, что я принадлежу сенату. Это безрассудство таким образом добиваться склонности дочери республики. Скажи что хочешь... но только откровенно.

— Ах! Это дон Камилло Монфорте! Я узнаю его по благородной осанке и по тому, как изящно он подает знак рукой.

— Такой опрометчивый поступок погубит его! Ему откажут в ходатайстве, а самого вышлют из Венеции. Кажется, близок час, когда проплывает гондола городской стражи? Убеди его поскорее уехать, добрая Флоринда... И все же... можем ли мы допустить подобную грубость по отношению к столь именитому синьору?

— Падре, что делать? Вы знаете, что грозит неаполитанцу за его безрассудную отвагу. Помогите нам своей мудростью, время ведь не терпит.

Кармелит внимательно и с ласковым состраданием наблюдал волнение, какое пробудили непривычные чувства в пылкой душе прекрасной, но наивной венецианки.

Жалость, печаль и сочувствие написаны были на его скорбном лице, когда он увидел, как чувства берут верх над бесхитростным разумом и горячим сердцем; все это говорило о нем как о человеке, скорее познавшем опасности страстей, чем осуждающем их, не попытавшись даже вникнуть в их источник и силу. Услыхав обращенные к нему слова гувернантки, он повернулся и молча вышел из комнаты. Донна Флоринда покинула балкон и подошла к своей воспитаннице. Ни словом, ни жестом не пытались они поведать друг другу о владевших ими чувствах. Виолетта бросилась в объятия более искушенной подруги и спрятала лицо у нее на груди. В это мгновение музыка внезапно смолкла и слышался плеск весел.

— Он уехал! — воскликнула девушка, чей разум, несмотря на смущение, сохранил свою остроту. — Гондолы уплывают, а мы не сказали даже обычных слов благодарности!

— И не нужно! Этим можно только увеличить опасность, и без того достаточно серьезную. Вспомни о своем высоком предназначении, дитя, и не мешай им удалиться.

— А все-таки, мне кажется, девушке знатного происхождения не следует пренебрегать правилами вежливости. Эта любезность могла быть всего лишь простым знаком внимания, и нехорошо, что мы отпустили их, не поблагодарив.

— Оставайся в комнате. Я посмотрю, куда направились лодки, ибо пребывать в неведении выше сил женщины.

— Спасибо, дорогая Флоринда! Поспешь, а то они свернут в другой канал, прежде чем ты их увидишь.

Гувернантка вмиг очутилась на балконе. Но не успела она окинуть взглядом погруженный во тьму канал, как нетерпеливая Виолетта уже спрашивала, что она видит.

— Лодки уплыли, — был ответ. — Гондола с музыкантами уже входит в Большой канал, гондола же кавалера куда-то исчезла!

— Нет, посмотри еще. Не может быть, чтобы он так спешил покинуть нас.

— Ах да, я не там его искала. Вон его гондола, у моста через канал.

— А кавалер? Он ожидает какого-нибудь знака внимания? В этом мы не должны ему отказать.

— Я его не вижу. Его слуга сидит на ступенях причала, а в гондоле, кажется, никого нет. Слуга как будто ждет кого-то, но я нигде не вижу господина.

— Святая Мария! Неужели что-нибудь случилось с доблестным герцогом Святой Агаты?

— Ничего, если не считать, что ему выпало счастье упасть к вашим ногам! — произнес кто-то совсем рядом.

Донна Виолетта обернулась и увидела возле себя на коленях того, кто занимал все ее мысли.

Удивленные возгласы девушки и ее подруги, быстрые, твердые шаги монаха — и вот наконец все действующие лица собрались вместе.

— Не надо, не надо! — с упреком сказал монах. — Встаньте, дон Камилло, не заставляйте меня раскаиваться, что я внял вашим мольбам; вы нарушаете наш уговор.

— Точно так же, как чувства мои нарушают все расчеты, — отвечал герцог. — Падре, бесполезно противиться воле провидения. Оно послало меня на помощь этому прелестному созданию, когда по вине несчастного случая она оказалась в водах Джудекки, и снова провидение оказывает мне милость, открыв чувства этой девушки. Говори, прекрасная Виолетта, скажи, что ты не станешь жертвой своекорыстного сената, — ведь ты не подчинишься желанию отдать твою руку какому-нибудь торговцу, который готов надругаться над святейшим из всех обетов, лишь бы завладеть твоим богатством?

— Кому же я предназначена?

— Не все ли равно кому, раз не мне? Какому-то удачливому купцу, ничтожеству, злоупотребляющему дарами фортуны.

— Тебе известны венецианские обычаи, Камилло, и ты должен понять, что я полностью в их власти.

— Встаньте, герцог Святой Агаты, — повелительно сказал монах. — Я допустил, чтобы вы вошли в этот дворец, стремясь предотвратить недопустимую сцену у его ворот и спасти вас самого от опрометчивого пренебрежения волей сената. Бесполезно питать надежды, которым противостоят усмотрения республики. Встаньте же и не забывайте своих обещаний.

— Пусть будет так, как решит моя госпожа. Поддержи меня хотя бы одним ободряющим взглядом, прекрас-

нейшая Виолетта, и тогда вся Венеция с ее дожем и инквизицией не помешает мне пасть перед тобой на колени!

— Камилло,— отвечала девушка дрогнувшим голосом,— не тебе, моему спасителю, становиться передо мной на колени!

— Герцог Святой Агаты! Дочь моя!

— О, не слушай его, благородная Виолетта! Он говорит, что принято,— он говорит, как все в том возрасте, когда человек порицает чувства его юности. Он кармелит и должен казаться благоразумным. Он никогда не был во власти страстей! Холод кельи остудил его сердце. Будь он человечнее, он знал бы любовь, а узнав любовь, не надел бы рясы.

Отец Ансельмо отступил на шаг, как человек, почувствовавший укоры совести, и его аскетическое лицо мертвенно побледнело. Губы его шевелились, словно монах хотел что-то сказать, но не мог произнести ни звука. Кроткая Флоринда, заметив его волнение, сама попыталась встать между порывистым юношей и своей подопечной.

— Может быть, это и правда, синьор Монфорте,— сказала она,— что сенат с отеческой заботой подыскивает достойного супруга наследнице рода столь прославленного и богатого, как род Тьеполо, что в этом необычного? Разве не все знатные люди Италии ищут себе невест, равных по происхождению и богатству, чтобы все гармонировало в супружеском союзе? Можем ли мы быть уверены, что владения моей юной подруги не имеют для герцога Святой Агаты такой же ценности, что и для человека, которого сенат может избрать ей в супруги?

— Неужели это правда? — воскликнула Виолетта.

— Клянусь Богом, нет! Дело, ради которого я прибыл в Венецию, ни для кого не тайна. Я добиваюсь возврата земель и поместий, давно отнятых у моего рода, а также места в сенате, принадлежащего мне по праву. От всего этого я с радостью отказываюсь в надежде на твою благосклонность.

— Ты, слышишь, Флоринда? Синьору Камилло можно верить!

— Что такое сенат и власть Святого Марка! Разве могут они отнять у нас счастье? Будь моей, прелестная Виолетта, и в твердыне моего неприступного калабрий-

ского замка нам станут не страшны их интриги и месть. Над их неудачей посмеются мои вассалы, а нашим счастьем будут счастливы тысячи. Я не выражаю неуважения к достоинству правительственных советов и не приножусь равнодушным к тому, что теряю, но ты мне дороже «рогатого чепца» со всем его призрачным могуществом и славой.

— Великодушный Камилло!

— Будь моей и лиши холодных корыстолюбцев сената возможности совершить новое преступление. Они хотят распорядиться тобой, словно ты — бездушный товар, который можно продать с выгодой. Но ты разрушишь их замыслы! В глазах твоих я читаю благородное решение, Виолетта; ты выскажешь свою волю, и она окажется сильнее их коварства и бездушия.

— Я не допущу, чтобы мною торговали, дон Камилло Монфорте! Руки моей будут добиваться так, как того требует мое происхождение. Возможно, мне все же оставят свободу выбора. Синьор Градениго в последнее время не раз тешил меня этой надеждой, когда мы говорили об устройстве моей жизни, о чем пора уже подумать в моем возрасте.

— Не верь ему. В Венеции нет человека с более холодным сердцем, с душой более чуждой состраданию! Он хочет добиться твоей склонности к своему собственному сыну, повесе, человеку без чести, который знается с распущенными гуляками и попал теперь в лапы ростовщиков. Не доверяй ему, он закоренелый лжец.

— Если это правда, ему суждено стать жертвой собственной лживости! Из всех юношей Венеции мне менее всех по сердцу Джакомо Градениго.

— Пора кончать беседу, — произнес монах, решительно вмешиваясь в разговор и заставляя влюбленного подняться с колен. — Легче избежать мук за грехи, чем скрыться от соглядатаев! Я трепещу, что это посещение станет известным, ибо мы окружены слугами государства, и нет в Венеции дворца, за которым велось бы более пристальное наблюдение, чем за этим. Если твое присутствие обнаружат, неосторожный молодой человек, юность твоя увянет в тюрьме, а эту чистую, беспечную девушку постигнут по твоей вине незаслуженные гонения и горести.

— В тюрьме, падре?

— Да, дочь моя, и это еще не самое худшее. Даже не столь тяжкие преступления караются более суровым приговором, когда затронуты интересы сената.

— Ты не должен оказаться в тюрьме, Камилло!

— Не бойся! Возраст и свойственное монаху смирение сделали его пугливым. Я давно ждал этого счастливого мгновения, и мне хватит часа, чтобы Венеция со всеми ее карами стала нам не страшна. Дай мне только благословенный залог своей верности, а в остальном доверься мне.

— Ты слышишь, Флоринда?

— Подобная решительность пристала мужчине, дорогая, но не тебе. Благородной девушке следует ждать решения опекунов, данных ей судьбой.

— А вдруг выбор падет на Джакомо Градениго?

— Сенат не станет и слушать об этом! Двуличие его отца тебе давно уже известно; а по тому, как он скрывает свои действия, ты могла бы догадаться, что он сомневается в благосклонности сенаторов. Республика позаботится о том, чтобы устройство твоей судьбы оправдало твои надежды. Многие домогаются твоей руки, и опекуны лишь ждут предложений, какие более всего отвечали бы твоему высокому происхождению.

— Предложений, соответствующих моему происхождению?

— Они ищут супруга, который подходил бы тебе летами, происхождением, воспитанием и надеждами на будущее.

— Значит, донна Камилло Монфорте нужно считать человеком, стоящим ниже меня?

Тут вновь вмешался монах.

— Пора окончить свидание,— проговорил он.— Все, чье внимание привлекла ваша неуместная серенада, синьор, уже успели отвлечься, и вам следует уйти, если вы хотите сохранить верность своему слову.

— Уйти одному, падре?

— Неужели донна Виолетта должна покинуть дом своего отца столь поспешно, словно попавшая в немилость служанка?

— Нет, синьор Монфорте, вы не должны были ожидать от этого свидания больше, чем зарождения надежды на будущую благосклонность, чем некоего обещания...— сказала донна Флоринда.

— И это обещание?..

Виолетта перевела взгляд со своей наставницы на возлюбленного, а затем — на монаха и опустила глаза:
— Я даю его тебе, Камилло.

Испуганные возгласы вырвались одновременно у гувернантки и монаха.

— Прости меня, дорогая Флоринда,— смущенно, но решительно продолжала Виолетта,— если я обнадежила дона Камилло и тем заслужила неодобрение от тебя, исполненной благоразумия и девической скромности, но подумай сама: если бы он не поспешил в свое время броситься в воду Джудекки, я сейчас вообще не могла бы оказать ему эту незначительную милость. Должна ли я быть менее великодушной, чем мой спаситель? Нет, Камилло, если сенат прикажет мне обручиться с кем-нибудь, кроме тебя, он обречет меня на безбрачие: стены монастыря навеки скроют мое горе!

Беседа, неожиданно принявшая столь решительный оборот, оказалась вдруг прервана тихим, тревожным звоном колокольчика: испытанному и верному слуге приказано было звонить, прежде чем войти в комнату. Но существовало для него и другое предписание: входить, только если позовут или в случае крайней необходимости. Поэтому даже в такую важную минуту этот сигнал насторожил всех.

— В чем дело? — воскликнул кармелит, обратившись к слуге, стремительно вошедшему в комнату.— Почему ты пренебрег моим приказанием?

— Падре, этого требует республика!

— Неужели Святому Марку угрожает такая опасность, что приходится звать на помощь женщин и монахов?

— Внизу ждут представители власти и именем республики требуют, чтобы их впустили!

— Дело становится серьезным,— произнес дон Камилло, один из всех сохранивший присутствие духа.— О моем посещении узнали, и хищная ревность республики разгадала его цель. Призовите всю свою решимость, донна Виолетта, а вы, падре, будьте мужественны! Если то, что мы делаем,— преступление, я возьму вину на себя и избавлю остальных от расплаты.

— Запретите ему это, отец Ансельмо! Милая Флоринда, мы разделим с ним наказание! — в страхе воскликнула совершенно потерявшая самообладание Виолетта.— Если б не я, он не совершил бы этого безрас-

судства. Он не позволил себе ничего, к чему не получил поощрения!

Монах и донна Флоринда глянули друг на друга в немом изумлении, и взгляды их выражали также понимание того, что напрасно люди, движимые одним лишь благоразумием, будут предостерегать тех, чьи чувства стремятся вырваться из-под опеки.

Монах жестом призвал всех к молчанию и обратился к слуге:

— Кто эти служители республики? — спросил он.

— Падре, это чиновники правительства и, судя по всему, высокого звания.

— Чего они хотят?

— Чтобы их допустили к донне Виолетте.

— Пока еще есть надежда! — сказал монах, вздохнув с облегчением. Он пересек комнату и отворил дверь, которая вела в дворцовую часовню. — Скройтесь в этой священной обители, дон Камилло, а мы подождем объяснения столь неожиданного визита.

Поскольку нельзя было больше терять ни минуты, герцог тотчас же исполнил приказание монаха. Он вошел в молельню, и, как только за ним закрылась дверь, достойного всяческого доверия слугу послали за теми, кто ждал снаружи.

В комнату вошел только один из них. С первого взгляда ожидавшие узнали в нем человека важного, известного правительственного сановника, которому часто поручалось выполнение тайных и весьма тонких дел. Из почтения к тем, чьим посланником он являлся, донна Виолетта пошла ему навстречу, и самообладание, свойственное людям высшего света, вернулось к ней.

— Я тронута вниманием моих прославленных и грозных хранителей, — сказала она, благодаря чиновника за низкий поклон, которым он приветствовал богатейшую в Венеции наследницу. — Чему обязана я этим посещением?

Чиновник с привычной подозрительностью огляделся по сторонам и затем, вновь поклонившись, отвечал:

— Синьорина, мне приказано встретиться с дочерью республики, наследницей славного дома Тьеполо, а также донной Флориндой Меркато, ее наставницей, отцом Ансельмо, приставленным к ней духовником, и со всеми остальными, кто удостоен ее доверия и имеет удовольствие наслаждаться ее обществом.



— Те, кого вы ищете,— перед вами. Я — Виолетта Тьеполо; я отдана материнскому попечению этой синьоры, а этот достойный кармелит — мой духовный наставник. Нужно ли позвать всех моих домочадцев?

— В этом нет необходимости — мое поручение скорее личного свойства. После кончины вашего достопочитенного и поныне оплакиваемого родителя, славного сенатора Тьеполо, радение о вашей персоне, синьорина, было поручено республикой, вашей естественной и заботливой покровительницей, особому попечению и мудрости синьора Алессандро Градениго, человека прославленного и высоко ценимых достоинств.

— Все это правда, синьор.

— Хотя отеческая любовь правительственных советов могла показаться вам опочившей, на самом деле она вечно оставалась недреманной и бдительной. Теперь, когда возраст, образование, красота и другие совершенства их дочери достигли столь редкостного расцвета, им угодно связать себя с ней более крепкими узами, приняв заботу о ней непосредственно на себя.

— Значит ли это, что синьор Градениго не является более моим опекуном?

— Синьорина, ваш быстрый ум позволил вам сразу проникнуть в смысл моего сообщения. Этот прославленный патриций освобожден от столь ревностно и тщательно выполнявшихся им обязанностей. С завтрашнего дня новые опекуны возьмут на себя эту почетную роль, до тех пор пока мудрость сената не соизволит одобрить такой брачный союз, какой не окажется унижителен для вашего знатного имени и достоинств, могущих украсить и трон.

— Предстоит ли мне расстаться с дорогими мне людьми? — порывисто спросила Виолетта.

— Положитесь в этом на мудрость сената. Мне неизвестно его решение касательно тех, кто давно живет с вами, но нет никаких оснований сомневаться в его чуткости и благоразумии. Мне остается только добавить, что, пока не придут люди, на которых теперь возложена почетная обязанность стать вашими покровителями и защитниками, желательно, чтобы вы по-прежнему соблюдали обычную для вас скромную сдержанность в приеме посетителей и чтобы двери вашего дома, синьорина, были закрыты для синьора Градениго точно так же, как и для других представителей его пола.

— Мне не позволено даже поблагодарить его за попечение?

— Он уже многократно вознагражден благодарностью сената.

— Было бы приличнее мне самой выразить свои чувства синьору Градениго. Но то, в чем отказано языку, вероятно, позволительно доверить перу.

— Сдержанность, подобающая человеку, который пользуется столь исключительными милостями, должна быть совершенной. Святой Марк ревниво относится к тем, кого любит. А теперь, когда поручение мое исполнено, я смиренно прошу разрешения удалиться, польщенный тем, что меня сочли достойным предстать перед лицом столь знатной особы для выполнения столь почетной миссии.

Когда сановник окончил речь, Виолетта ответила на его поклон и обратила взор, полный тяжелых предчувствий, к печальным лицам друзей. Всем им был слишком хорошо известен иносказательный способ выражения, употреблявшийся людьми, выполнявшими подобные поручения, чтобы у них могла остаться какая-то надежда на будущее. Все понимали, что завтра им предстоит разлука, хотя и не могли угадать причину этой внезапной перемены в действиях правительства. Расспрашивать было бесполезно, поскольку, очевидно, удар был нанесен Тайным Советом, постичь побуждения которого казалось возможным не более, чем предвидеть его поступки. Монах воздел руки, молча благословляя свою духовную дочь, в то время как донна Флоринда и Виолетта, неспособные даже в присутствии постороннего человека сдержать проявление своего горя, плакали в объятиях друг у друга.

Тем временем тот, кто явился орудием, нанесшим этот жестокий удар, медлил с уходом, словно человек, в котором зреет какое-то решение. Он пристально всматривался в лицо кармелита, но тот не замечал его взгляда, свидетельствовавшего о том, что человек этот привык все тщательно взвешивать, прежде чем на что-либо решиться.

— Преподобный отец,— заговорил он после раздумья,— могу ли я просить вас уделить мне частицу вашего времени для дела, касающегося души грешника?

Монах очень удивился, но не мог не откликнуться на подобную просьбу. Повинуясь знаку чиновника, он

вышел вслед за ним из комнаты и, пройдя через великолепные покои, спустился к его гондоле.

— Должно быть, вы пользуетесь большим доверием сената, если государство поручило вам исполнение столь важной обязанности при особе, в которой оно принимает столь большое участие?

— Смею надеяться, что это так, сын мой. Своей скромной жизнью, посвященной молитвам, я мог снискать себе друзей.

— Такие люди, как вы, падре, заслуживают того уважения, каким они пользуются. Давно ли вы в Венеции?

— Со времени последнего конклава¹. Я прибыл в республику как духовник покойного посланника Флоренции.

— Почетная должность. Вы, следовательно, пробыли здесь достаточно долго, чтобы знать, что республика не забывает оказанных ей услуг и не прощает обид.

— Венеция — древнее государство, и влияние его простирается повсюду.

— Идите осторожно. Мрамор опасен для нетвердых ног.

— Мне часто приходилось спускаться здесь, и походка моя всегда тверда. Надеюсь, я схожу по этим ступеням не в последний раз?

Посланец Совета сделал вид, будто не понял вопроса, и ответил только на предшествующее замечание:

— Поистине Венеция государство древнее, но от старости его порой лихорадит. Всякий, кому дорога свобода, падре, должен скорбеть душой, видя, как приходит в упадок столь славная республика. «*Sic transit gloria mundi!*»². Вы, босоногие кармелиты, поступаете разумно, умерщвляя свою плоть в юности и избегая тем самым страданий, которые вызывает постепенная потеря сил на склоне лет. Ведь такой человек, как вы, наверно, совершил в молодости не так много дурных поступков, в коих теперь приходится раскаиваться.

— Все мы не без греха, — возразил, перекрестившись, монах. — Тот, кто тешит душу, возомнив себя совершенством, лишь увеличивает тщеславием бремя своих грехов.

¹ Конклав — совет кардиналов, собирающийся для избрания папы римского.

² Так проходит слава земная! (лат.)

— Люди, исполняющие такие обязанности, как я, почтенный кармелит, редко имеют возможность заглянуть в собственную душу, поэтому я благословляю случай, приведший меня в общество столь благочестивого человека. Моя гондола ждет — входите же!

Монах недоверчиво глянул на своего спутника, но, зная, что противиться бесполезно, пробормотал короткую молитву и подчинился. Сильный удар весел возвестил, что они отчалили от ступенек дворца.

Глава XV

О гондольер в гондоле,
 Фи да лин!
О гондольер в гондоле,
 Фи да лин!
На своей прекрасной лодке
Ты плывешь волне навстречу,
 Фи да лин, лин, ла!
 Венецианская баркарола.

Луна стояла высоко в небе. Потоки ее лучей падали на вздымающиеся купола и высокие крыши Венеции, а мерцающие воды залива яркой чертой обозначали границу города. Этот величественный вид едва ли не превосходил красотой картину, созданную руками человека, фоном которой он служил, ибо даже королева Адриатики с ее неисчислимыми произведениями искусства, величественными памятниками, множеством великолепных дворцов и прочими творениями изощренного людского честолюбия не могла все же сравниться с ослепительной красотой природы.

Над головой простирался небесный свод, грандиозный в своей безмерности, сверкавший, словно жемчужинами, мириадами светил. Внизу, куда только достигал взгляд, раскинулись необъятные дали Адриатического моря, такого же безмятежного, как небесный свод, что отражался в его волнах, и все море казалось светящимся. Там и здесь среди лагун чернели небольшие острова, тысячелетним трудом отвоеванные у моря, которым скромные крыши рыбацкой деревушки или группа иных строений придавали живописный вид. Ни всплеск весла, ни песня, ни смех, ни хлопанье паруса, ни шутки моряков — ничто не нарушало тишины. Вблизи все было оку-

тано очарованием полуночи, а даль дышала торжественностью умиротворенной природы. Город и лагуны, залив и дремлющие Альпы, бесконечная Ломбардская равнина и бездонная синева неба — все покоилось в величественном забытьи.

Неожиданно из каналов города показалась гондола. Бесшумно, словно призрак, она заскользила по необъятной глади залива; лодка шла быстро и безостановочно, направляемая чьей-то умелой и нетерпеливой рукой. По тому, как стремительно несло суденышко, было понятно, что одинокий гребец в нем очень торопился. Гондола двигалась в сторону моря, направляясь к выходу из залива, расположенному между южной его оконечностью и знаменитым островом Святого Георга. С полчаса гондольер продолжал грести без передышки; при этом он то оглядывался назад, словно спасался от погони, то напряженно смотрел вперед, выдавая горячее стремление побыстрее достичь своей цели, которая пока что оставалась скрытой от его глаз. Наконец, когда гондолу отделил от города широкий водный простор, гребец дал отдых своему веслу, а сам занялся напряженными, тщательными поисками.

Совсем близко от выхода в открытое море он заметил маленькое черное пятнышко. Весло с силой разрезало воду, и гондола, резко изменив направление, снова понеслась вперед, что означало конец сомнений гребца. Вскоре при свете луны стало заметно, как это черное пятнышко качается на волнах. Затем оно начало приобретать очертания и размеры лодки, которая, очевидно, стояла на якоре. Гондольер перестал грести и наклонился вперед, пристально всматриваясь в этот неясный предмет, словно всеми силами пытался заставить свои глаза видеть зорче. В этот миг над лагуной послышалось тихое пение. Голос певца был слаб и чуть дрожал, но пел он музыкально и чисто, как обычно поют в Венеции. Это человек в лодке, видневшейся вдалеке, коротал время, скрашивая свое одиночество рыбацкой песней. Мелодия была приятная, но звучала так жалобно, что навевала печаль. Песню эту знали все, кто работал веслом на каналах; была она знакома и нашему гондольеру. Он подождал окончания куплета и сам пропел следующий. Так певцы продолжали чередоваться вплоть до последнего куплета, который исполнили вместе.

С окончанием песни гондольер вновь принялся вспенивать воду веслом, и вскоре обе лодки оказались рядом.

— Рано же ты забрасываешь свою снасть, Антонио,— сказал прибывший, перебираясь в лодку старого рыбака, уже хорошо знакомого читателю.— Многих людей беседа с Советом Трех заставила бы провести ночь без сна и в молитвах.

— Нет в Венеции часовни, Якопо, в которой грешнику так легко открыть свою душу, как тут. Здесь, среди пустынных лагун, я оставался наедине с Богом, и перед моим взором растворялись врата рая.

— Такому, как ты, не нужны иконы, чтобы прийти в молитвенное настроение.

— Я вижу образ спасителя, Якопо, в этих ярких звездах, в луне, в синем небе, в туманных очертаниях гористого берега, в волнах, по которым мы плывем!.. Да что там — даже в моем дряхлом теле, как и во всем, что создано мудростью всевышнего и его могуществом. Много молитв прочел я с тех пор, как взошла луна.

— Неужели привычка молиться так сильна в тебе, что ты размышляешь о Боге и своих грехах, даже когда ловишь рыбу?

— Бедняки должны работать, грешники — молиться. Мои мысли в последнее время были настолько поглощены мальчиком, что я забывал о еде. И если я вышел рыбачить позже или раньше обычного, то это лишь потому, что горем сыт не будешь.

— Я подумал о твоём положении, честный Антонио; вот здесь то, что поддержит твою жизнь и укрепит мужество. Взгляни сюда,— добавил браво, протянув руку к своей гондоле и вытаскивая оттуда корзинку.— Вот хлеб из Далмации, вино из Южной Италии и инжир Леванта — поешь и ободришь.

Рыбак грустно взглянул на яства, ибо пустой желудок настойчиво взывал к слабости естества, но рука его не выпустила удочки.

— И все это ты даришь мне, Якопо? — спросил он, и в голосе его, несмотря на решимость отказаться от угощения, слышались муки голода.

— Антонио, это все лишь скромное приношение человека, который чтит тебя и преклоняется перед твоим мужеством.

— Ты купил это на свой заработок?

— А как же иначе? Я не нищий, слава Богу, а в Венеции немного найдется людей, кто дает, когда их не просишь. Ешь без опасений; редко угостят тебя от более чистого сердца.

— Убери это, Якопо, если любишь меня. Не искушай больше, пока я в силах терпеть.

— Как! Разве на тебя наложена епитимья? — поспешно спросил Якопо.

— Нет, нет. Давно уже не случалось у меня ни досуга, ни решимости пойти на исповедь.

— Тогда почему же ты не хочешь принять дар друга? Вспомни о своих годах и нужде.

— Я не могу есть то, что куплено ценою крови!

Браво отдернул руку, словно коснулся огня. Луна осветила в этот миг его сверкнувшие глаза, и, хотя честный Антонио считал себя, по существу, правым, он почувствовал, как сердце его обливается кровью, когда он встретился с яростным взглядом своего приятеля. Последовала долгая пауза, во время которой рыбак старательно хлопотал над своей удочкой, впрочем, совершенно не думая об улове.

— Да, я сказал так, Якопо,— наконец произнес рыбак,— и язык мой всегда говорит то, что я думаю. Убери свою еду и забудь о том, что случилось. Ведь я сказал так не из презрения к тебе, но заботясь о своей собственной душе. Ты знаешь, как я горюю о мальчике, но после него горше, чем кого бы то ни было из падших, я готов оплакивать тебя.

Браво не отвечал. В темноте слышалось лишь его тяжелое дыхание.

— Якопо,— с волнением заговорил опять рыбак,— пойми же меня. Жалость страдальцев и бедняков не похожа на презрение знатных богачей. Если я и коснулся твоей раны, то ведь не грубым каблуком. Боль, которую ты сейчас ощущаешь, дороже самой большой из прежних твоих радостей...

— Довольно, старик,— проговорил браво сдавленным голосом,— твои слова забыты. Ешь без опасений: угощение куплено на заработок не менее чистый, чем деньги, собранные нищим монахом.

— Лучше я буду надеяться на милость Святого Антония и свой крючок,— просто отвечал старик.— Мы, с лагун, привыкли ложиться спать без ужина. Убери корзину, добрый Якопо, и давай поговорим о другом.

Браво не предлагал больше рыбаку свое угощение. Он отставил корзину в сторону и сидел, размышляя над происшедшим.

— Неужели ты проделал такой далекий путь только ради этого, добрый Якопо? — спросил старик, желая загладить острую обиду, которую нанес своим отказом.

Вопрос, по-видимому, заставил Якопо вспомнить о цели своего приезда. Он выпрямился во весь рост и с минуту пристально оглядывался вокруг. Когда он повернулся в сторону города, взгляд его принял более озабоченное выражение. Он не отрываясь всматривался вдаль, пока невольная дрожь не выдала его удивления и тревоги.

— Кажется, это лодка, вон там, где колокольня? — быстро спросил он, показывая в сторону города.

— Похоже, что так. Для наших еще рановато, но последнее время никому не везло с уловом, да и вчерашнее празднество многих отвлекло от работы. Патрициям нужно есть, а бедным — трудиться, не то помрут и те и другие.

Браво медленно опустился на сиденье и с беспокойством посмотрел в лицо собеседнику.

— Ты давно здесь, Антонио?

— Не больше часа. Когда нас вывели из дворца, помнишь, я рассказал тебе о своих заботах. Вообще-то на лагунах нет лучшего места для лова, чем это, и все-таки я уже долго впустую дергаю леску. Голод — тяжелое испытание, но, как и всякое другое, его нужно перенести. Уж трижды я обращался с молитвой к моему святому покровителю, и когда-нибудь он услышит мои просьбы... Послушай, Якопо, тебе знакомы нравы этих аристократов в масках. Как ты думаешь, возможно, чтобы они вняли голосу рассудка? Надеюсь, мое плохое воспитание не испортило дела; я говорил честно и откровенно, обращаясь к ним как к людям с душой, у которых тоже есть дети.

— Как сенаторы, они не имеют ни детей, ни души. Ты плохо понимаешь, Антонио, некоторые особенности этих патрициев. Во дворцах в часы веселья и в своем кругу никто лучше их не скажет тебе о человечности, справедливости и даже о Боге! Но когда они сходятся для обсуждения того, что называют интересами Святого Марка, тогда на самой холодной вершине Альп не найдешь камня более бездушного, а в долинах — волка более свирепого, чем они!

— Сурово ты судишь, Якопо. Я бы не хотел быть несправедливым даже к тем, кто сделал мне так много зла. Сенаторы тоже люди, а Бог всех нас наделил и чувствами, и душой.

— В таком случае они пренебрегают божьим даром! Ты теперь видишь, как трудно без постоянного помощника, рыбак, и ты горюешь о своем мальчике, а потому можешь сочувствовать и чужой беде; но сенаторы не знают страданий — их детей никогда не волокут на галеры, их надежды никогда не разрушаются законами жестоких тиранов, им не приходится проливать слезы о детях, гибнущих оттого, что они брошены в общество негодяев! Они любят говорить о гражданских добродетелях и служении государству, но, едва дело коснется их самих, начинают видеть добродетель в славе, а служение обществу — в том, что приносит им почести и награды. Нужды государства и есть их совесть, хотя они стараются, чтобы и эти нужды не оказались им в тягость.

— Якопо, само провидение создало людей различными. Одного — большим, другого — маленьким; одного — слабым, другого — сильным; одного — мудрым, другого — глупцом. Не следует роптать на то, что создано провидением.

— Не провидение создало сенат — его придумали люди! Послушай меня, Антонио, ты оскорбил их, и тебе опасно оставаться в Венеции. Они могут простить что угодно, кроме обвинений в несправедливости. Твои слова слишком близки к истине, чтобы их забыли.

— Неужели они могут причинить зло тому, кто хочет лишь вернуть свое дитя?

— Если б ты был великим и могущественным, они постарались бы повредить твоему состоянию и достоинству, чтобы ты не мог представлять опасности для их правления, а раз ты слаб и беден, они просто убьют тебя, если только ты не станешь вести себя тихо. Предупреждаю тебя, что важнее всего для них — сохранить свою систему правления.

— Неужели Бог потерпит такое?

— Нам не понять его тайн, — возразил браво, перекрестившись. — Если б его царство ограничивалось здешним миром, можно было бы усмотреть несправедливость в том, что он допускает торжество зла, но сейчас

дело обстоит так, что мы... Эта лодка слишком быстро приближается! Не очень-то мне нравится ее вид и то, как она мчится.

— Правда, это не рыбаки: на лодке много весел и есть кабина!

— Это гондола республики! — воскликнул Якопо, поднимаясь и переходя в свою, которую он успел отвязать от лодки собеседника, пока тот раздумывал, что ему делать дальше. — Антонио, лучше всего для нас — скорее убраться отсюда.

— Твои страхи понятны, — отвечал рыбак, не двигаясь с места, — и мне очень жаль, что для них есть причина. Такому умелому гребцу, как ты, хватит еще времени, чтобы ускользнуть от самой быстроходной гондолы на каналах.

— Скорее поднимай якорь, старик, и уходи! У меня глаз верный, я знаю эту лодку.

— Бедный Якопо! Что за проклятье — беспокойная совесть! Ты был добр ко мне в трудную минуту, и, если молитвы, произнесенные от чистого сердца, могут тебе помочь, в них недостатка не будет.

— Антонио! — крикнул браво, который уж погнал прочь свою лодку, но вдруг, остановившись в нерешительности, продолжал: — Мне нельзя больше задерживаться... не доверяй им... они лживы, как дьяволы... нельзя больше терять ни минуты... мне нужно скрыться.

Рыбак помахал рукой вслед уплывавшему и что-то пробормотал с состраданием в голосе.

— Милостивый Святой Антоний, храни моего мальчика, чтобы он не дошел до столь жалкой жизни! — добавил он. — Этот юноша — доброе семя, упавшее на каменную почву; редко встречаются люди с более доброй и отзывчивой душой. Подумать только, что такой человек, как Якопо, может жить платой за убийство!

Приближение незнакомой гондолы поглотило теперь все внимание старика. Она шла быстро, подгоняемая мощными ударами шести весел, и рыбак с лихорадочным волнением глянул в ту сторону, куда скрылся беглец. С находчивостью, ставшей благодаря необходимости и большой сноровке почти что произвольной, Якопо выбрал такое направление, что след его лодки терялся в полосе, проведенной по поверхности воды ослепительным лунным светом, которая скрывала все оказав-

шею в ее пределах. Увидев, что браво исчез, рыбак улыбнулся с явным облегчением.

— Ну, пусть плывут сюда,— произнес он.— У Якопо окажется больше времени. Бедняга, с тех пор как вышел из дворца, успел, наверно, еще кого-нибудь ударить кинжалом, и теперь сенат ни за что не пощадит его. Блеск золота соблазнил этого человека, и он оскорбил тех, кто так долго терпел его. Да простит мне господь, что я знался с подобным человеком! Но, когда на сердце тяжело, даже ласкающийся пес согревает душу. Мало кому теперь есть до меня дело, иначе я никогда не принял бы дружбу такого, как он.

Антонио умолк, так как гондола республики стремительно приблизилась к его лодке и замерла на месте. Вода еще бурлила под веслами, когда какой-то человек уже перебрался к рыбаку; теперь большая гондола рванулась прочь и, отплыв на несколько сотен футов, остановилась.

Антонио с молчаливым любопытством наблюдал за происходящим. Увидев, что гребцы государственной гондолы подняли весла, он вновь украдкой бросил взгляд в ту сторону, куда скрылся Якопо, и, обнаружив, что все благополучно, доверчиво взглянул на прибывшего. Яркий свет луны позволил рыбаку по одежде и внешности незнакомца убедиться, что перед ним — босоногий кармелит. Стремительность, с какой мчалась гондола, и необычность поручения привели монаха в еще большее смятение, нежели то, которое испытывал Антонио. Но, несмотря на это, удивление отразилось на его скорбном лице, когда он увидел жалкого старика с редкими прядями седых волос.

— Кто ты? — вырвался у него изумленный возглас.

— Антонио с лагун. Рыбак, многим обязанный незаслуженным милостям Святого Антония.

— Как же случилось, что такой, как ты, навлек на себя гнев сената?

— Я прямой человек и всем готов воздать должное. Если это оскорбляет сильных мира сего, значит, они скорее достойны сожаления, чем зависти.,

— Осужденные всегда более склонны считать себя несчастными, чем виновными. Подобное роковое заблуждение следует искоренить из твоего ума, дабы оно не привело тебя к смерти.

— Пойди и скажи это патрициям. Они весьма нуждаются в откровенном совете и увещевании церкви.

— Сын мой, гордость, злоба и упрямство звучат в твоих ответах. Грехи сенаторов — а будучи людьми, и они не безгрешны — не могут служить оправданием твоих грехов. Если даже ужасный приговор обречет человека на казнь, преступления против Бога останутся в их первозданном безобразии. Люди могут пожалеть того, кто безвинно пострадал от их гнева, но церковь лишь тому дарует прощение, кто, осознав свои заблуждения, искренне в них раскается.

— Падре, вы пришли исповедовать кающегося грешника?

— Таково данное мне поручение. Я глубоко этим огорчен, и, если правда то, чего я опасаясь, мне особенно жаль, что под карающей десницей правосудия придется склонить голову человеку твоих лет.

Антонио улыбнулся и вновь обратил взгляд к ослепительной полосе света, скрывшей лодку браво.

— Падре,— сказал он, после того как его долгое и пристальное наблюдение закончилось,— не будет большого вреда, если я открою правду человеку, облеченному святым саном. Тебе, должно быть, сказали, что здесь, на лагунах, находится преступник, навлекший на себя гнев Святого Марка?

— Ты прав.

— Нелегко догадаться, когда Святой Марк доволен, а когда нет,— продолжал Антонио, спокойно закидывая свою удочку.— Ведь он так долго терпел того самого человека, кого теперь разыскивают. Да, его пускали и к самому дожу. У сената есть на то свои причины, скрытые от понимания невежественных людей, но для души несчастного юноши было б лучше, а для республики — пристойнее, если б она с самого начала строже отнеслась к его поступкам.

— Ты говоришь о другом! Значит, не ты преступник, какого они ищут?

— Я грешен, как и все рожденные женщиной, благочестивый кармелит, но моя рука никогда не держала другого оружия, кроме доброго меча, которым я разил нехристей. А только что здесь был человек,— и мне горько это говорить,— который не может сказать того же!

— И он скрылся?

— Падре, у вас есть глаза, и вы сами можете ответить на свой вопрос. Его здесь нет, и, хотя он не так уж далеко, самой быстрой гондоле Венеции, хвала Святому Марку, теперь его не догнать!

Кармелит склонил голову, и губы его зашептали не то молитву, не то благодарение Богу.

— Монах, ты огорчен, что грешник бежал?

— Сын мой, я радуюсь тому, что мне не придется исполнять сей тягостный долг, но и скорблю, что есть душа столь развращенная, что долг этот должен быть исполнен. Позовем же слуг республики и скажем им, что поручение их невыполнимо.

— Не торопись, добрый падре. Ночь тиха, наемники заснули у своих весел, словно чайки на лагунах. У юноши останется больше времени для раскаяния, если его никто не потревожит.

Кармелит, поднявшийся было на ноги, тотчас сел вновь, точно им руководило сильное внутреннее побуждение.

— Я думал, что он успел уже далеко уйти от погони,— пробормотал монах, как бы извиняясь за свою излишнюю поспешность.

— Он слишком дерзок и, боюсь, поплывет назад, к каналам, так что вы можете встретиться с ним возле города... а может быть, за ним охотятся и другие гондолы республики. Одним словом, падре, самый надежный способ уклониться от исповедования наемного убийцы — это выслушать исповедь рыбака, который давно уж не имел случая покаяться в грехах.

Люди, стремящиеся к одной цели, понимают друг друга с полуслова. Кармелит уловил желание Антонио. Он откинул капюшон, и старому рыбаку открылось лицо монаха, готового выслушать его исповедь.

— Ты христианин, и человеку твоего возраста не приходится напоминать, что должен чувствовать кающийся грешник,— начал монах.

— Я грешен, падре. Наставь меня и отпусти мне грехи, чтобы я мог надеяться на спасение.

— Молитва твоя услышана, а просьба будет исполнена. Приблизься и преклони колена.

Антонио прикрепил удочку к сиденью, осмотрел с обычной тщательностью свою сеть, набожно перекрестился и стал перед кармелитом на колени. Началась исповедь. Тяжкие переживания придали словам и мыс-

лям рыбака достоинство, которое монах не привык встречать у людей этого сословия. Он поведал, какие надежды связывал со своим мальчиком и как они были разрушены несправедливыми и бездушными действиями государства, рассказал обо всех своих попытках освободить внука, о дерзких уловках во время состязания гребцов и символического обручения дожа с Адриатикой. Подготовив таким образом кармелита к пониманию природы греховных страстей, в которых долг повелевал ему теперь признаться, старик поведал об этих страстях и о том влиянии, какое они оказали на его душу, привыкшую жить в мире с людьми. Он говорил просто, ни о чем не умалчивая, и речь эта внушила монаху почтение к нему и пробудила горячее участие.

— Как мог ты дать волю подобным чувствам по отношению к таким почитаемым и могущественным венецианцам? — воскликнул монах, изображая суровость, которой он вовсе не чувствовал.

— Перед Богом признаю свой грех! В ожесточении сердца я проклинал их, ибо они казались мне людьми, лишенными сочувствия к беднякам, и бессердечными, как мраморные статуи в их дворцах.

— Ты знаешь, что, если хочешь быть прощенным, должен сам прощать. Можешь ли ты, не тая злобы ни на кого, забыв причиненное тебе зло, можешь ли ты с христианской любовью к ближним молиться тому, кто принял смерть ради спасения рода человеческого, за тех, кто заставил тебя страдать?

Антонио опустил голову на обнаженную грудь и, казалось, вопрошал свою душу.

— Падре, — произнес он смиренно, — надеюсь, что могу.

— Не следует на свою погибель говорить, не подумавши. Небесный свод над нашей головой скрывает око, которое охватывает взором всю Вселенную и заглядывает в самые сокровенные тайники человеческого сердца. Способен ли ты, сокрушаясь о своих собственных грехах, простить патрициям их заблуждения?

— Моли Бога о них, Святая Мария, как я сейчас прошу к ним милосердия! Падре, я прощаю их.

— Аминь!

Кармелит поднялся и стал над коленопреклоненным Антонио; лицо его, озаренное светом луны, выражало глубокое сострадание. Воздев руки к звездам, он произ-

нес слова отпущения грехов, и в голосе его звучала пламенная вера.

— Аминь! Аминь! — воскликнул Антонио, вставая и крестясь. — Да помогут мне Святой Антоний и пречистая дева исполнить свой долг!

— Я стану поминать тебя, сын мой, в моих молитвах. Прими мое благословение, чтобы я мог уйти.

Антонио вновь преклонил колена, и кармелит твердым голосом благословил его. Исполнив этот последний обряд, оба некоторое время безмолвно молились, после чего тем, кто находился в государственной гондоле, был подан знак приблизиться. Гондола рванулась вперед и через мгновение оказалась уже рядом. Два человека перебрались в лодку Антонио и услужливо помогли монаху занять свое место в гондоле республики.

— Преступник исповедался? — полушепотом спросил один из них, по-видимому, старший.

— Произошла ошибка. Тот, кого вы ищете, ускользнул. Этот престарелый человек — рыбак, по имени Антонио, и он едва ли повинен в серьезных преступлениях против Святого Марка. Браво уплыл по направлению к острову Святого Георга, и его следует искать не здесь.

Сановник отпустил монаха, который быстро подошел к кабине и, обернувшись, бросил последний взгляд на лицо рыбака. Заскрипел канат, и резкий рывок сдвинул с места якорь лодки Антонио. Послышался громкий всплеск воды, и обе лодки, словно сцепившись, вместе помчались прочь, покорные отчаянным усилиям гребцов. В гондоле республики, с ее темной, похожей на катафалк кабиной, виднелось прежнее число гребцов, склонившихся над веслами, лодка же рыбака была пуста!

Плеск весел и звук падения в воду тела Антонио смешались с шумом моря. Когда рыбак чуть позже всплыл на поверхность, он оказался один среди обширного безмятежного водного пространства. Возможно, у него затеплилась смутная надежда, когда, вынырнув из морской пучины, он очутился среди дивного великолепия лунной ночи. Но купола спящей Венеции были слишком далеки и недостижимы для человеческих возможностей, а лодки с бешеной скоростью мчались по направлению к городу. Рыбак повернулся и поплыл с трудом, ибо голод и утреннее напряжение истощили его силы; он не сводил глаз с темного пятнышка, которое, как он твердо знал, было лодкой браво.



Якопо не отрываясь следил за всем происходящим, до предела напрягая зрение. Преимущество его положения состояло в том, что он наблюдал за всем, сам оставаясь незамеченным. Он видел, как кармелит совершал отпущение грехов, а затем подошла большая лодка. Он услышал всплеск более громкий, чем удар весел о воду, и увидел, как уносится на буксире пустая гондола Антонио. Едва гребцы республиканской гондолы успели взметнуть воды лагун своими веслами, как его собственное весло пришло в движение.

— Якопо! Якопо! — пугающе слабо донеслось до его ушей.

Якопо узнал этот голос и сразу же понял все, что произошло. Вслед за криком о помощи послышался шум волны, вспенившей перед носом гондолы браво. Звук рассекаемой воды был подобен дыханию ветра. За кормой оставались рябь и пузыри, словно обрывки облаков, гонимых ветром по звездному небу; могучие мускулы, которые уже показали в этот день такую исполинскую силу на гонках гондол, теперь, казалось, трудились с удвоенным напряжением. Сила и ловкость чувствовались в каждом взмахе весла, и гондола темным силуэтом летела вдоль светящейся полосы подобно ласточке, касающейся воды своим крылом.

— Сюда, Якопо... ты правишь мимо!

Нос гондолы повернулся, и горящие глаза браво уловили очертания головы рыбака.

— Быстрее, Якопо, друг... нет сил!

Вновь рокот волн заглушил голос рыбака. Якопо бешено заработал веслом; при каждом ударе легкая гондола словно взлетала над водой.

— Якопо... сюда... дорогой Якопо!

— Да поможет тебе мать божья, рыбак! Я иду!

— Якопо... мальчик! Мальчик!

Вода забурлила, рука мелькнула в воздухе и исчезла. Гондола подплыла к месту, где она виднелась только что, и, задрожав, мгновенно остановилась, повинувшись обратному взмаху весла, согнувшему ясеновую лопасть, как тростинку.

Лагуна закипела от этих неистовых движений, но, когда волнение улеглось, вода стала вновь безмятежно спокойной, как отражавшийся в ней синий небосвод.

— Антонио! — вырвалось у браво.

Ужасающее безмолвие последовало за этим зовом.

Ни ответа, ни признака человеческого тела. Якопо стиснул рукоять весла железными пальцами; звук собственного дыхания заставил его вздрогнуть. Повсюду, куда ни устремлялся его лихорадочный взгляд, он видел глубокий покой коварной стихии, столь грозной в своем гневе. Подобно сердцу человека, она, казалось, сочувствовала умиротворенной красоте полуночи, но и, как сердце человека, скрывала в глубине своей страшные тайны.

Глава XVI

Еще немного дней, ночей тревожных.
И я усну спокойно — только где?
— Значенья не имеет...
Прощай же, Анджолина.

Байрон. «Марино Фальеро».

Когда кармелит вернулся в покои донны Виолетты, лицо его было смертельно бледно, и он с трудом добрался до кресла. Монах едва ли обратил внимание на то, что визит дона Камилло Монфорте слишком затянулся и что глаза пылкой Виолетты сияют радостным блеском. Счастливые влюбленные — ибо герцогу Святой Агаты удалось вырвать эту тайну у своей возлюбленной, если только можно назвать тайной то, что Виолетта почти не пыталась скрыть, — тоже не сразу заметили его возвращение; монах прошел через всю комнату, прежде чем даже спокойный взгляд донны Флоринды обнаружил его присутствие.

— Уж не больны ли вы! — воскликнула гувернантка. — Отца Ансельмо, вероятно, вызывали по очень важному делу?

Монах откинул капюшон, под которым ему стало трудно дышать, и все увидели мертвенную бледность его лица. Взор его, полный ужаса, блуждал по лицам окружающих, словно он силился вспомнить этих людей.

— Фердинандо!.. Отец Ансельмо! — поспешно поправилась донна Флоринда, не сумев, однако, утаить волнение. — Скажите что-нибудь... Вы страдаете!

— Болит мое сердце, Флоринда!

— Не скрывайте от нас... Еще какие-нибудь дурные вести? Венеция...

— Страшное государство!

— Почему вы покинули нас? Почему в столь важную минуту для нашей воспитанницы... когда решается ее судьба, ее счастье... вас не было так долго?

Виолетта с удивлением взглянула на часы, но ничего не сказала.

— Я был нужен властям,— отозвался монах, тяжелым вздохом выдав свое страдание.

— Понимаю, падре. Вы дали отпущение грехов осужденному?

— Да, дочь моя. И немногие оставляют эту юдоль такими умиротворенными, как он.

Донна Флоринда прошептала короткую молитву за упокой души усопшего и набожно перекрестилась. Ее примеру последовала Виолетта, и у донна Камилло, благоговейно склонившего голову рядом с прелестной соседкой, губы зашевелились в молитве.

— Это был справедливый приговор, падре? — спросила донна Флоринда.

— Нет! — с жаром воскликнул монах.— Или люди совсем утратили веру. Я стал свидетелем смерти человека, более достойного жить, как, впрочем, и более готового умереть, чем те, кто вынес приговор ему. Что за страшное государство Венеция!

— Эти люди распоряжаются и твоей судьбой, Виолетта,— сказал дон Камилло.— И твое счастье будет отдано в руки этих ночных убийц. Скажите нам, падре, ваша трагедия имеет какое-либо отношение к Виолетте? Нас окружают непостижимые тайны, и они столь же ужасны, как сама судьба.

Монах перевел взгляд с одного на другого, и выражение его лица несколько смягчилось.

— Вы правы,— сказал он,— эти люди хотят распорядиться жизнью Виолетты. Святой Марк да простит тех, кто прикрывает свои бесчестные дела его священным именем, и да защитит он ее своими молитвами!

— Достойны ли мы, падре, узнать то, чему вы стали свидетелем?

— Тайна исповеди священна, сын мой, но позором покрыли себя живые, а не тот, кто ныне мертв.

— Узнаю руку тех, кто заседает там, наверху. (Так говорили в городе о Совете Трех.) Они годами попирали мои права, преследуя собственные цели, и, к стыду моему, должен признать, что, добиваясь справедливости,

я был вынужден подчиниться им, что противоречит и чувствам моим и характеру.

— Нет, Камилло, ты не способен изменить самому себе!

— Моя дорогая, власти Венеции ужасны, и плоды их деятельности пагубны как для правителей, так и для подданных. Из всех порочных способов управления они используют самые опасные, окутывая тайной свои намерения, свои действия и свои обязанности!

— Ты прав, сын мой. В любом государстве единственные гарантии от притеснений и несправедливости — это страх перед всевышним и страх перед людьми. Но Венеция не знает страха божьего, ибо слишком многие погрязли в ее грехах; а что касается страха перед людьми, то дела ее скрыты от людских взоров.

— Мы говорим слишком дерзко для тех, кто живет под ее властью, — заметила донна Флоринда, робко оглянувшись по сторонам. — Раз мы не в силах ни изменить, ни исправить обычаи государства, нам следует молчать.

— Если мы не можем сделать иной власть Совета, надо попытаться ускользнуть от нее, — быстро проговорил дон Камилло, также, впрочем, понизив голос, и для безопасности прикрыл плотней окна и оглядел все двери. — Вы совершенно уверены в преданности слуг, донна Флоринда?

— О нет, синьор. Среди них есть и верные люди, находящиеся у нас в услужении долгие годы, но есть и такие, кого нанял сенатор Градениго, и это, несомненно, тайные соглядатаи Совета.

— Так они следят за всеми! Я тоже вынужден принимать в своем дворце мошенников, хоть и знаю, что они наемники сената. И все же я считаю более разумным делать вид, будто мне неведомо их ремесло, чтобы не оказаться в таком положении, когда не смогу даже ничего заподозрить. Как вы считаете, падре, мой приход сюда остался незамеченным?

— Слишком опрометчиво полагать, будто мы в полной безопасности. Никто не видел, как мы вошли, ибо мы воспользовались потайным входом, но кто может быть уверен в чем-нибудь, когда каждый пятый глаз принадлежит доносчику?

Испуганная Виолетта коснулась руки возлюбленного.

— Даже в этот миг за тобою могут следить и потом тайно приговорить к наказанию, Камилло, — сказала она.

— Если меня видели, в этом можно не сомневаться: Святой Марк не прощает тех, кто дерзко нарушает его волю. Но, чтобы добиться твоего расположения, милая Виолетта, я готов на все. И ничто, даже более страшная опасность, не остановит меня.

— Я вижу, что чистые и доверчивые души воспользовались моим отсутствием, чтобы говорить друг с другом откровеннее, чем то позволяло благоразумие,— проговорил кармелит с таким видом, словно заранее знал ответ.

— Природа сильнее благоразумия, падре.

Монах нахмурился. Все следили, как выражение его лица, обычно доброжелательное, хоть и всегда печальное, менялось сообразно с ходом его мысли. Некоторое время царило полное безмолвие.

Наконец, подняв озабоченный взгляд на дона Камилло, кармелит спросил:

— Хорошо ли ты подумал, к каким последствиям может привести твоя безрассудная смелость? Чего ты достигнешь, возбуждая гнев республики, бросая вызов ее коварству, вступая в открытый бой с ее тайными службами, пренебрегая ужасами ее тюрем?

— Падре, я подумал обо всем, как сделал бы на моем месте каждый, чье сердце преисполнено любви. Я понял теперь, что любое горе покажется мне счастьем в сравнении с потерей Виолетты, и я готов на какую угодно опасность, лишь бы добиться ее благосклонности. Это ответ на ваш первый вопрос; что же касается остального, могу только заметить, что я достаточно знаком с кознями сената и сумею оказать им противодействие.

— Юность, обманутая радужными надеждами, которые сулит ей блестящее будущее, всегда говорит одинаково. Годы и опыт осудят эти заблуждения, но всем придется отдать дань этой слабости, пока жизнь не предстанет перед ними в своем истинном виде. Герцог Святой Агаты, хотя имя и род твой знамениты, а владения обширны, ты бессилен обратить твой венецианский дворец в неприступную крепость или бросить вызов дожу.

— Вы правы, святой отец. Такое не в моих силах; да и тому, кто мог бы это сделать, не стоит так опрометчиво распоряжаться своей судьбой. Но не весь мир принадлежит Святому Марку — мы можем бежать.

— У сената длинные руки, и у него есть еще тысячи невидимых рук.

— Никто не знает этого лучше меня. И все же власти не свершают насилия без каких-либо на то причин. Донна Виолетта вручила мне свою жизнь, и они сочтут эту потерю непоправимой.

— Ты так полагаешь? Но сенат сразу же найдет средство разлучить вас. Не надейся, будто Венеция столь легко позволит разрушить свои намерения. Богатство этого дома привлечет многих недостойных искателей, и твоими правами просто пренебрегут или станут отрицать их.

— Но ведь церковный обряд священен, и никто не смеет им пренебречь, падре! — воскликнула Виолетта.

— Дочь моя, мне тяжело говорить такое тебе, но сильные мира сего находят пути, чтобы нарушить и это таинство. Твое собственное богатство может навлечь на тебя несчастье...

— Это могло бы произойти, падре, если б мы продолжали оставаться во владениях Святого Марка, — прервал дон Камилло, — но схватить нас по другую сторону границы значило бы дерзко нарушить закон иностранного государства. Кроме того, в замке Святой Агаты мы окажемся недоступны для венецианских властей, а там, возможно, и дождемся времен, когда они сочтут более благоразумным отступить.

— Все это было бы правильно, если б ты рассуждал в стенах замка Святой Агаты, а не здесь, на венецианских каналах.

— В городе есть калабриец Стефано Милано, мой вассал от рождения; он сейчас в порту со своей фелуккой «Прекрасная соррентинка». Стефано близкий друг моего гондольера, того самого, кто оказался третьим на гонках сегодня... Вам дурно, падре? — прервал вдруг себя дон Камилло. — Вы так изменились в лице!

— Ничего, продолжай, — отвечал монах, жестом приказывая не обращать на него внимания.

— Мой верный Джино сказал, что Стефано, вероятно, прибыл сюда по делам республики, и, хотя моряк на этот раз менее откровенен, чем обычно, по некоторым его намекам можно судить, что фелукка с часу на час готовится выйти в море. Не сомневаюсь, Стефано охотнее станет служить мне, чем этим двуличным негодяям из сената. Я могу заплатить столько же, сколько

и они, если моя воля будет исполнена, но могу также и наказать.

— Ты был бы прав, если б находился за пределами этого страшного города. Но каким образом ты сможешь сесть на корабль, если за каждым нашим движением следят?

— В любой час дня и ночи на каналах можно встретить людей в масках. И, хотя власти прибегают ко всяким ухищрениям в слежке за людьми, вы знаете, падре, что традиция неприкосновенности маски священна и никто без какого-либо чрезвычайного обстоятельства не может потребовать снять ее. Не будь этой ничтожной привилегии, жизнь в городе не продлилась бы и дня.

— И все же меня терзают опасения,— произнес монах, и по лицу его было видно, что он взвешивает все возможности побега.— Если нас обнаружат и схватят, мы погибли.

— Верьте мне, падре, что и при таком несчастном исходе я позабочусь о вашей судьбе. Вы знаете, что мой дядя кардинал и ему покровительствует сам папа. И, клянусь честью, я сделаю все, чтобы при содействии церкви облегчить вашу участь.

Лицо кармелита вспыхнуло, и впервые дон Камилло увидел в уголках его аскетического рта мирскую гордость.

— Ты неверно истолковал мои опасения, герцог Святой Агаты,— возразил монах.— Я боюсь не за себя, а за Виолетту, нежное и любящее существо, которое вверено моей заботе и к которому я отечески всем сердцем привязан.— Монах замолк, словно в душе его происходила борьба.— Кроме того, я давно знаю кротость и благородство донны Флоринды,— продолжал он затем,— и потому не могу оставаться равнодушным к опасностям, которым подвергнется она. Ведь мы не можем покинуть нашу питомицу, и я считаю, что, будучи осторожными и благоразумными опекунами, мы не имеем права отважиться на такой шаг. Будем лучше надеяться, что правители не ослабят своей заботы об интересах и счастье нашей Виолетты.

— Это надежда на то, что Крылатый Лев обратится в ягненка, а бездушные сенаторы — в общество смиренных картезианцев¹. Нет, падре, мы должны воспользо-

¹ К а р т е з и а н ц ы — монашеский орден, основанный в XI веке во Франции.

ваться счастливым случаем — а более счастливый, чем этот, вряд ли представится — или вручить свою судьбу холодным и расчетливым властителям, попирающим все законы ради достижения собственных целей. Часа... нет, даже меньше, хватит, чтобы известить моряка, и, прежде чем настанет рассвет, мы увидим, как венецианские дворцы в отдалении исчезают постепенно из глаз, словно погружаясь в ненавистные лагуны.

— Это всего лишь дерзкие мечты юности, побуждаемой страстью. Поверь мне, сын мой, не так-то просто обмануть слугителей городской стражи. Мы не сможем покинуть дворец, ступить на борт фелукки или осуществить какие-либо другие наши намерения без того, чтобы не привлечь к себе их внимания. Но тише! Я слышу плеск весел. Чья-то гондола остановилась у входа!

Донна Флоринда поспешно вышла на балкон и так же стремительно вернулась, сообщив, что чиновник республики входит во дворец. Не теряя ни минуты, дон Камилло вновь скрылся в маленькой молельне. Едва была принята эта предосторожность, как дверь отворилась, и в покои Виолетты вошел чиновник сената по особым поручениям. Он оказался тем самым человеком, который присутствовал при страшной казни рыбака и кто принес Виолетте весть о прекращении опеки над ней Градениго. Войдя, он недоверчиво оглядел всю комнату, и кармелит, встретившись с его взглядом, содрогнулся. Но внезапные опасения исчезли, лишь только выражение подозрительности на лице чиновника сменилось лицемерной улыбкой, которой он имел обыкновение смягчать неприятные новости.

— Благородная синьора! — проговорил он, поклоном выражая почтение той, к кому обращался. — Мое усердие должно убедить вас, сколь неустанно печется сенат о вашем благополучии. Стремясь доставить вам удовольствие и будучи всегда внимательным к желаниям такой знатной особы, как вы, сенат решил на летнее время, когда каналы нашего города лишь усугубляют зной и переполнены людьми, отправить вас развлечься в места более подходящие. Меня послали просить вас сделать все приготовления к отъезду, необходимые, чтобы вы могли прожить несколько месяцев на более чистом воздухе со всеми возможными удобствами; сборы следует закончить как можно скорее, так как путешест-

вие, чтобы оно не утомило вас, начнется до восхода солнца.

— Это слишком краткий срок, синьор, для женщины, покидающей жилище своих предков!

— Любовь и отеческая забота Святого Марка позволят пренебречь некоторыми пустыми церемониями; времени же окажется достаточно, ибо Святой Марк, как истинный родитель, сам позаботится о том, чтобы все необходимое доставили в резиденцию, которая будет иметь честь принять столь благородную обитательницу.

— Мне самой, синьор, не нужно долгих сборов, но, боюсь, моим слугам понадобится больше времени.

— Правительство предвидело и это, синьора, и сенат решил прислать вам новую служанку, ибо только она одна и потребуется вам на время столь краткого отсутствия.

— Как, синьор! Неужели меня разлучат с моими людьми?

— Заботу о вас доверят тем, кто станет служить вашей особе из более высоких побуждений, чем наемные лакеи вашего дворца.

— А моя наставница и духовный отец?

— Во время вашего отсутствия им разрешено отдохнуть в городе.

Возглас донны Флоринды и невольный жест кармелита выдали их тревогу. Донна Виолетта огромным усилием воли подавила негодование и оскорбленную гордость, но взгляд ее был полон страдания.

— Должна ли я понимать, что этот запрет распространяется также и на мою горничную?

— Синьора, таково полученное мною повеление.

— Может быть, вы полагаете, что Виолетта Тьеполо будет сама себя обслуживать?

— Нет, синьора! Это станет долгом самой приятной и исполнительной вашей помощницы. Аннина! — позвал тут чиновник, подойдя к двери. — Твоя благородная госпожа желает видеть тебя сейчас же.

На пороге появилась дочь виноторговца. Несмотря на притворно скромный вид, по лукавому выражению ее лица можно было понять, что она чувствует себя вполне независимой от воли своей новой госпожи.

— И эта девица будет всегда рядом со мной? — воскликнула Виолетта, с нескрываемой неприязнью глядя на хитрое и лживое лицо Аннины.

— Такова воля ваших опекунов, синьора. Девушка знает свои обязанности, и потому я не стану долее стеснять вас своим присутствием. Надеюсь, вы воспользуетесь моим уходом и, не теряя времени, которого и так осталось немного, до наступления рассвета успеете подготовиться, чтобы покинуть город с первым утренним ветром.

Чиновник вновь, скорее из привычной предосторожности, чем по другой причине, оглядел комнату, поклонился и вышел.

После его ухода воцарилось глубокое и тягостное молчание. Но тут, опасаясь, что дон Камилло, не зная, что произошло, выйдет из своего укрытия, Виолетта решила предупредить его об опасности и поспешно заговорила со своей новой служанкой.

— Ты уже когда-нибудь служила, Аннина? — спросила она громко, надеясь, что герцог услышит их разговор.

— Такой знатной и прекрасной госпоже — никогда. Но я надеюсь угодить вам, ибо много слышала о вашей доброте.

— Лстить, я вижу, ты умеешь. А теперь ступай известить моих прежних слуг об этой неожиданной перемене. Мне необходимо поторопиться, чтобы своей медлительностью не вызвать недовольство сената. Я полагаюсь во всем на тебя, так как ты знаешь волю моих опекунов, и мои слуги помогут тебе.

Аннина медлила, и на лице ее отразились подозрительность и нежелание повиноваться. Тем не менее она подчинилась, покинув покои вместе со слугой, которого донна Виолетта вызвала из передней. Дверь за ней закрыли, и в то же мгновение дон Камилло вышел из своего убежища. Все четверо в ужасе глядели друг на друга.

— Неужели вы все еще можете колебаться, падре? — горячо воскликнул герцог.

— Я не колебался бы ни минуты, сын мой, если бы надеялся, что побег окажется успешным.

— Значит, вы не оставите меня! — воскликнула Виолетта, радостно целуя руки монаха. — И ты тоже, моя вторая мать?

— Мы не покинем тебя, — уверила ее донна Флоринда, которая обладала способностью без слов понимать намерения кармелита. — Мы последуем с тобой и в замок Святой Агаты, и в темницы Святого Марка.

— Добрая, милая Флоринда, прими мою благодарность! — сжав руки на груди, с облегчением воскликнула исполненная радости и почтительности Виолетта. — Камилло, мы ждем твоих приказаний.

— Тише, — шепнул монах, — сюда идут! Прячьтесь, герцог!

Едва дон Камилло успел скрыться, как вошла Аннина. Она, так же как и чиновник, подозрительно оглядела комнату, и по ее пустым вопросам можно было судить, что она явилась вовсе не для того, чтобы выяснить, какого цвета платье желает надеть Виолетта.

— Выбирай любое, — нетерпеливо отвечала госпожа ее. — Ты же знаешь, куда мы собираемся, и сама можешь выбрать подходящий наряд. И торопись, чтобы я не опоздала! Энрико, проводи мою новую горничную в гардеробную.

Аннина неохотно удалилась. Она была слишком искушена во всех хитростях, чтобы поверить неожиданной уступчивости Виолетты и не заметить неудовольствия, с каким ее допустили к выполнению новых обязанностей. Аннина вынуждена была подчиниться, так как преданный Энрико не отходил от нее ни на шаг, но едва отойдя от двери, она вдруг сказала ему, что забыла спросить о чем-то важном, и неожиданно вернулась в комнату, прежде чем Энрико смог помешать ей.

— Ступай, дочь моя, и исполни, что тебе приказано! Не беспокой нас больше, — сурово обратился к ней монах. — Я буду исповедовать твою госпожу, ибо, прежде чем мы вновь встретимся с ней, она может долго томиться в ожидании утешения святой церкви. Если у тебя нет ничего безотлагательного, удались, пока ты еще не нанесла тяжкого оскорбления религии.

Строгий тон кармелита, его властный и вместе с тем спокойный взгляд внушили Аннине почтение. Испугавшись его пронизательного взора и боясь оскорбить верования, которых придерживались все в Венеции и которые привыкла чтить и она, Аннина пробормотала извинение и исчезла. Но, прежде чем закрыть дверь, она еще раз обшарила глазами всю комнату. Когда они снова остались одни, монах жестом приказал молчать пылкому дону Камилло, который, едва сдерживая нетерпение, ожидал ухода незваной служанки.

— Будь благоразумен, сын мой,— приказал монах порывистому дону Камилло,— нас окружают доносчики. В этом несчастном городе никогда не знаешь, кому можно довериться.

— Мне кажется, Энрико можно верить,— сказала донна Флоринда, но в голосе ее послышалось невольное сомнение.

— Безразлично, дочь моя. Ему неизвестно присутствие здесь дона Камилло, и поэтому мы в безопасности. Герцог Святой Агаты, если ты можешь вывести нас из этой ловушки, мы следуем за тобой.

Взгляд монаха предостерег Виолетту от радостного возгласа, готового сорваться с ее уст, и она молча вопросительно глянула на дона Камилло. Выражение лица герцога не оставляло никаких сомнений в его ответе. Он поспешно написал карандашом несколько слов и, вложив в конверт монету, неслышными шагами прошел на балкон. Знак был подан. Все ждали затаив дыхание. Вскоре под окном послышался плеск весел. Выступив вперед, дон Камилло кинул конверт. Он все так точно рассчитал, что было слышно, как монета ударилась о дно гондолы. Гондольер едва взглянул на балкон и, затянув обычную на каналах песню, лениво двинулся дальше с видом человека, которому некуда спешить.

— Удалось,— сказал герцог, услыхав песню Джинно.— Через час мой посланный договорится с хозяином фелукки, и тогда все будет зависеть от того, сумеем ли мы незаметно выбраться из дворца. Вскоре мои люди окажутся здесь, и мы сделаем все, чтобы как можно скорее достигнуть Адриатики.

— Мы должны еще исполнить один необходимый долг,— заметил монах.— Дочери мои, идите к себе и займитесь приготовлениями к побегу, которые легко истолковать как исполнение воли сената. Через несколько минут я снова позову вас сюда.

Удивленные женщины послушно удалились, и кармелит кратко, но ясно изложил герцогу свой замысел. Дон Камилло жадно слушал, и, когда монах кончил, оба скрылись в небольшой молельне. Не прошло и четверти часа, как монах вышел оттуда один и позвонил в колокольчик, звон которого долетел до комнаты Виолетты. Донна Флоринда и ее воспитанница тут же явились.

— Приготовься исповедоваться, дитя мое,— произнес священник, торжественно опускаясь в кресло, где он обычно выслушивал признания своей духовной дочери.

Лицо Виолетты то бледнело, то вновь заливалось румянцем, словно на душе ее лежал тяжкий грех. Взглянув с мольбой на свою наставницу и встретив ее мягкую, ободряющую улыбку, Виолетта с бьющимся сердцем, еле сдерживая волнение, преклонила колена на подушечке у ног своего духовного наставника, хотя мысли ее блуждали и она никак не могла сосредоточиться.

Приглушенный шепот донны Виолетты доносился только до отеческого слуха того, кому предназначался. Дон Камилло смотрел в приоткрытую дверь часовни на склоненную фигуру девушки, на ее прижатые к груди руки и прекрасное лицо, доверчиво обращенное к монаху. Пока она признавалась в своих невинных грехах, румянец на ее щеках становился все гуще, а в глазах, еще недавно светившихся совершенно иным чувством, теперь вспыхнуло благоговейное волнение. Искренней, строго воспитанной Виолетте понадобилось гораздо больше времени, чтобы освободиться от тяжкого бремени грехов, чем житейски искушенному герцогу Святой Агаты. Ему казалось, что губы ее много раз шептали его имя и что он мог даже расслышать целые фразы, посвященные ему. Дважды добрейший падре невольно улыбался и после каждого признания Виолетты в каком-либо неосторожном поступке с любовью касался рукой ее обнаженной головы. Наконец Виолетта замолкла. Необычные обстоятельства этой исповеди лишь усилили торжественность, с которой монах дал Виолетте отпущение грехов.

Когда эта часть обряда окончилась, кармелит вошел в часовню. Недрогнувшей рукой он зажег свечи на алтаре и сделал все необходимые приготовления к обряду. Дон Камилло, стоя рядом с Виолеттой, шептал ей что-то с жаром торжествующего и счастливого влюбленного. Донна Флоринда у дверей прислушивалась к каждому шороху, раздававшемуся в прихожей. Затем монах появился у входа в домашнюю часовню и хотел что-то сказать, но быстрые шаги донны Флоринды помешали ему. Дон Камилло едва успел скрыться за занавесью окна, как дверь отворилась и вошла Аннина,

Заметив приготовленный алтарь и торжественный вид священника, она в замешательстве остановилась. Мгновенно овладев собой, с той находчивостью, что помогла ей добиться должности, которую она теперь занимала, Аннина благоговейно перекрестилась и, как человек, знающий свои обязанности, отошла в сторону, словно тоже хотела принять участие в священной церемонии.

— Дочь моя,— обратился к ней монах,— никто из присутствующих не покинет часовню, прежде чем кончится обряд.

— Падре, мой долг находится рядом с госпожой, а оказаться подле нее в это утро — истинное счастье.

Монах в нерешительности смотрел на окружающих и начал было придумывать предлог, чтобы избавиться от Аннины, как вдруг из своего укрытия вышел дон Камилло.

— Приступайте, падре,— проговорил он.— Пусть одним свидетелем моего счастья станет больше.

Произнося это, герцог многозначительно коснулся своей шпаги и бросил такой взгляд на оцепеневшую Аннину, что та с трудом сдержала возглас, готовый сорваться с ее уст. Монах, казалось, понял этот молчаливый уговор и своим глубоким голосом начал службу. Торжественность совершающегося, участниками которого они стали, внушительное достоинство кармелита, грозящая им в случае разоблачения опасность и неизбежное наказание за то, что они посмели нарушить волю правителей,— все это вызывало чувства, куда более глубокие, нежели те, что обычно охватывают присутствующих во время брачных церемоний. Юная Виолетта с трепетом внимала торжественному голосу монаха и к концу венчания беспомощно оперлась на руку человека, с которым связала себя клятвой. Во время службы глаза кармелита горели тайным огнем, и задолго до конца он так подчинил себе все чувства Аннины, что держал ее корыстную душу в благоговейном страхе. Наконец брачный союз был заключен, и монах благословил молодых.

— Да не оставит тебя дева Мария, дочь моя! — проговорил монах, впервые в жизни целуя чистый лоб плачущей Виолетты.— Герцог Святой Агаты, да услышит твои молитвы твой святой покровитель, если ты станешь любящим супругом этой чистой и доверчивой девушки.

— Аминь! Кажется, мы вовремя закончили венчание, моя Виолетта,— я слышу плеск весел,— сказал дон Камилло.

Выглянув с балкона, он увидел, что не ошибся, и счел, что пришла пора самых решительных действий. Шестивесельная гондола, способная противостоять волнам Адриатики во время безветрия, с балдахином соответствующих размеров, остановилась у водных ворот дворца.

— Я поражен их дерзостью! — воскликнул дон Камилло.— Нельзя терять ни минуты, пока кто-нибудь из служителей республики не поднял на ноги городскую стражу. Вперед, дорогая Виолетта! Идемте, донна Флоринда, идемте, падре!

Гувернантка и ее воспитанница быстро прошли во внутренние покои и мгновенно вернулись, неся в шкапулке драгоценности Виолетты, захватив также вещи, необходимые для недолгого путешествия. В тот момент, когда они снова явились, все было готово, ибо дон Камилло заранее ждал этого решительного мгновения, а монаху, привыкшему к лишениям, не потребовалось много времени на сборы.

— Наше спасение — только в быстроте,— сказал дон Камилло.— Ускользнуть незаметно невозможно!

Он еще не кончил, когда монах первым пошел из комнаты. Донна Флоринда и полумертвая от страха Виолетта последовали за ним. Дон Камилло, взяв под руку Аннину, вполголоса приказал ей повиноваться под страхом смерти.

Необычное шествие благополучно миновало ряд комнат, не встретив ни единого человека. Но, войдя в большой зал, который соединялся с парадной лестницей, они очутились в окружении целой толпы слуг.

— Дорогу! — воскликнул герцог Святой Агаты.— Ваша госпожа желает совершить прогулку по каналам.

Слуги с удивлением и любопытством смотрели на неожиданно появившегося незнакомца, но у большинства на лицах читалось подозрение. Не успела донна Виолетта спуститься в вестибюль, как несколько человек поспешили следом и покинули дворец через другие выходы. Каждый бросился сообщать эту весть своему хозяину. Один бежал узкими улицами к дворцу синьора Градениго, другой искал его сына; а кто-то, даже не



знавший, кому служит, разыскивал поверенного дона Камилло, чтобы сообщить о событии, где главную роль играл сам герцог. Вот как обман и двуличие сделали продажными слуг в доме самой красивой и богатой девушки Венеции!

Гондола стояла у мраморного причала дворца, двое гребцов удерживали ее близ ступеней. Дон Камилло тотчас заметил, что гондольеры в масках приняли все предосторожности, какие он требовал от них, и в душе похвалил их за точность. У каждого на поясе висела короткая рапира, и герцогу показалось, что под складками одежды он различил громоздкое огнестрельное оружие, каким пользовались в то время. Обо всем этом он думал, пока кармелит и Виолетта садились в гондолу. За ними прошла донна Флоринда, но, когда их примеру хотела последовать и Аннина, дон Камилло остановил ее.

— Этим кончается твоя служба,— произнес он вполголоса.— Пойщи себе другую госпожу или служи Венеции, за неимением лучшей.

Короткое замешательство заставило герцога обернуться, и на какое-то мгновение он задержался, чтобы взглянуть на толпу слуг, стоявших на почтительном расстоянии.

— Прощайте, друзья! — окликнул он их.— Те из вас, кто любит свою госпожу, не останутся забыты.

Он хотел что-то добавить, как вдруг его грубо схватили за руки. Дон Камилло стремительно обернулся — два гондольера, вышедшие из лодки, крепко держали его. Вне себя от изумления он даже не сопротивлялся, и Аннина, повинуясь знаку гондольеров, быстро скользнула мимо герцога в лодку. Весла погрузились в воду; дон Камилло грубо втолкнули обратно во дворец, гондольеры быстро заняли свои места, и гондола, став недосягаемой для герцога, понеслась прочь.

— Джино! Злодей! Что значит эта измена?!

Но в ответ слышался лишь плеск воды. Дон Камилло в немом отчаянии смотрел вслед уплывавшей гондоле, которая с каждым взмахом весел неслась все быстрее и наконец, свернув за угол какого-то дворца, скрылась из виду.

В Венеции погоня происходит иначе, чем в других городах, и преследовать ускользнувшую гондолу можно только по воде. Несколько лодок, принадлежавших оби-

тателям дворца, стояли у главного входа между сваями, и дон Камилло хотел уже броситься в одну из них и взяться за весла, когда услышал со стороны моста, который долгое время служил укрытием для его слуг, плеск воды. Дома вдоль канала бросали черные тени на воду; вскоре из темноты показалась большая лодка, управляемая шестью гондольерами в масках, как и та, что исчезла мгновение назад. Сходство между ними казалось столь велико, что в первую минуту не только изумленный дон Камилло, но и все остальные приняли эту гондолу за первую, вообразив, что она с необычайной скоростью успела обогнуть соседние здания и снова вернуться к главному входу дворца Виолетты.

— Джино! — воскликнул пораженный дон Камилло.

— Я здесь, синьор, — отозвался верный слуга.

— Подъезжай ближе! Что это за глупые шутки? Сейчас не время для них!

Дон Камилло прыгнул в лодку прямо из дверей дворца. Миновав гребцов, он бросился в кабину, но одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что она пуста.

— Негодяи! Как вы смели обмануть меня? — воскликнул потрясенный герцог.

В это время городские часы пробили два раза, и, лишь когда этот условленный знак тяжело и монотонно прозвучал в ночном воздухе, дон Камилло понял свою ошибку.

— Джино, — сказал герцог сдержанно, как человек, принявший отчаянное решение, — эти гребцы надежные люди?

— Верьте им, как собственным вассалам, синьор.

— Ты сумел передать мою записку поверенному?

— Он получил ее прежде, чем высохли чернила, ваша светлость.

— Негодяй! Это он сказал тебе, где найти гондолу, снаряженную, как эта?

— Да, синьор. И надо отдать ему должное — здесь все предусмотрено: и скорость и удобства.

— Что говорить! Он так заботлив, что посылает сразу две лодки! — сквозь зубы проговорил дон Камилло. — А теперь вперед! Ваша жизнь и мое счастье зависят от силы ваших рук! Тысячу дукатов в награду, если вы оправдаете мои надежды, в противном случае вас ждет мой справедливый гнев!

Проговорив это, герцог в отчаянии бросился на подушки, жестом приказав гребцам приняться за дело. Джино занял место на корме с веслом в руках, приподнял балдахин кабины и нагнулся, чтобы слышать приказания хозяина, и лодка понеслась прочь от дворца. Затем, поднявшись во весь рост, искусный гондольер ударил веслом так, что вода, медленно струившаяся в узком канале, вспенилась, и гондола, словно понимая, что от нее требуется, вылетела на Большой канал.

Глава XVII

Зачем лежишь ты на траве зеленой?
Сейчас не время спать.
Откуда бледность эта?

Байрон. «Каин».

Несмотря на твердую решимость догнать гондолу, увезшую Виолетту, дон Камилло не представлял себе, как поступить дальше. Несомненно, его предал кто-нибудь один или даже несколько из его слуг, кому он вынужден был поручить необходимые приготовления к побегу, который он обдумывал уже несколько дней; приписывать постигшую его неудачу случайности значило лишь обманывать себя. Дон Камилло сразу понял, что жена его теперь целиком во власти сената, и, слишком хорошо зная его могущество и полное пренебрежение всеми человеческими правами, когда речь идет о его собственных интересах, не сомневался, что правители воспользуются своим преимуществом, чтобы любой ценой добиться желаемого.

Безвременная смерть дяди сделала Виолетту Тьеполо владелицей обширных земель в Папской области, и исключение из деспотического и произвольного закона Венеции, по которому вельможам надлежало избавиться от своих владений за пределами республики, допущено было только из уважения к полу Виолетты и, как мы уже видели, желания выдать ее замуж с выгодой для государства. Все еще преследуя эту цель и располагая всеми средствами для ее достижения, сенат, как хорошо понимал герцог, не только станет отрицать его брак, но и расправится со свидетелями этой церемонии,

так что их показания никогда уже не причинят властям никаких неприятностей. Собственная судьба мало волновала его, хотя он знал, что предоставил своим врагам великолепный повод отложить на неопределенный срок, если не отклонить вообще, его законные требования. Герцог уже смирился с этой мыслью, но, возможно, чувство к Виолетте не настолько ослепило его, чтобы он не счел владения ее в Папской области достаточным возмещением потерянного. Дон Камилло надеялся, что ему удастся невредимым вернуться к себе во дворец, так как большое влияние, каким он пользовался у себя на родине, и связи при дворе в Риме казались достаточной гарантией того, что никакое прямое насилие над ним не будет совершено. Сенат затягивал решение его жалобы, ибо хотел использовать близость герцога к известному кардиналу; и хотя дон Камилло не мог удовлетворить все возраставшие притязания сената, он надеялся на помощь Ватикана, если бы опасность стала грозить его жизни. И все же он дал правителям Венеции благовидный предлог для сурового обращения с собой, а ведь именно в этот миг свобода была ему так необходима. Попасть сейчас в руки служителей сената оказалось бы для герцога страшным несчастьем, и такое грозило ему ежеминутно. Герцог слишком хорошо знал бесчестный образ действия тех, с кем имел дело, и опасался, что правительство Венеции задержит его с единственной целью поставить себе потом в исключительную заслугу его освобождение, несмотря на такие якобы отягчающие вину обстоятельства. Поэтому дон Камилло приказал Джино следовать по Большому каналу прямо в порт.

Не успела гондола, которая от каждого усилия гребцов рвалась вперед, словно живая, очутиться среди кораблей, как герцог вновь обрел присутствие духа и немедленно составил замысел предстоящих действий. Сделав знак гребцам поднять весла, он вышел из кабины. Несмотря на поздний час, в городе по каналам сновали лодки и слышалось пение. На кораблях же царила тишина, понятная, если вспомнить дневной труд матросов и их обычаи.

— Джино, позови сюда любого знакомого тебе гондольера,— велел дон Камилло, принимая спокойный вид.— Я хочу спросить.

Через мгновение перед ним появился гондольер.

— Не проходила ли тут недавно большая, хорошо снаряженная гондола? — обратился к нему дон Камилло.

— Ни одной, кроме вашей, синьор. Быстрее ее ни одна не проносилась под мостом Риальто, даже в сегодняшних гонках.

— Откуда ты знаешь скорость моей лодки?

— Я плаваю по каналам уж двадцать шесть лет, синьор, но не помню ни одной гондолы, которая, как ваша несколько минут тому назад, пролетела бы здесь между фелукками вниз, в порт, будто она снова стремилась стать первой. Черт возьми! Видно, во дворцах есть такие крепкие вина, что люди, отведав их, могут оживить даже лодку.

— А в какую сторону мы шли? — быстро спросил дон Камилло.

— Святой Теодор! Меня не удивляет ваш вопрос, хотя с тех пор прошел всего миг, а теперь я снова вижу вашу лодку, но недвижной, как речные водоросли!

— Вот тебе монета, друг, и прощай!

Гондольер медленно поплыл прочь, затянув песню о своей лодке, а гондола герцога помчалась вперед. Мимо мелькнули лодка, шебек, фелукка, бригантина, трехмачтовый корабль, когда они стремглав неслись в лабиринте судов, как вдруг Джино нагнулся к хозяину и указал ему на большую гондолу — она неспешно плыла навстречу им со стороны Лидо. Обе лодки оказались на широкой водной полосе, тянувшейся меж кораблей, на том обычном пути, по которому они выходят в море, и между обеими гондолами не было ни одного судна. Дон Камилло повернул свою гондолу, и скоро от большой лодки его отделяло расстояние в одно весло. С первого взгляда он убедился, что это была та самая предательская гондола, которая обманула его.

— Рапиры наголо, и за мной! — крикнул отважный неаполитанец, готовясь броситься на врага.

— Вы нападаете на должностных лиц республики! — предостерег чей-то голос из кабины. — Силы неравны, синьор! По первому зову на помощь нам сюда явятся двадцать галер.

Эта угроза, возможно, и не остановила бы дона Камилло, если бы он не заметил, что при этих словах выдвинутые уже наполовину рапиры его слуг вернулись в ножны.

— Разбойник! — крикнул герцог. — Верни мне ту, кого ты похитил!

— Синьор, молодые вельможи часто поступают безрассудно по отношению к должностным лицам республики. Кроме меня и гондольеров, здесь никого нет.

Улучив мгновение, дон Камилло заглянул в кабину лодки и понял, что ему сказали правду. Дальнейшие переговоры казались бесполезны; зная цену каждой минуте и надеясь, что он, возможно, на пути к успеху, герцог дал знак своим людям двинуться вперед. Гондолы бесшумно разошлись, и лодка донна Камилло направилась в ту сторону, откуда только что появилась встречная.

Вскоре герцог и его гондольеры достигли открытой части Джудекки, оставив позади все суда. Час был уже поздний, луна начала опускаться, и свет ее, косо падая на залив, оставлял в тени здания, обращенные к востоку. Десяток судов, подгоняемых береговым бризом, спешили из порта. Их паруса, залитые лунным сиянием, напоминали белоснежные облака, которые парили над водой, плывя в сторону моря.

— Они отправляют мою жену в Далмацию! — словно прозрев, воскликнул вдруг дон Камилло.

— Не может быть! — отозвался пораженный Джино.

— Говорю тебе, этот проклятый сенат составил заговор против моего счастья! Они похитили твою госпожу, и одно из этих судов сейчас увозит ее в какую-нибудь тайную крепость на восточном берегу Адриатики!

— Дева Мария! Мой синьор и благородный господин, говорят, что даже статуи в Венеции слышат, а бронзовые кони начинают лягаться, если при них хоть слово скажут против тех, кто правит нами.

— Разве тебе безразлична участь твоей госпожи?

— Я и понятия не имел, ваша светлость, что вам выпало счастье иметь эту синьору супругой, а мне — честь служить ей.

— Ты напоминаешь мне о моей забывчивости, добрый Джино. Помогая мне в этом деле, ты заботишься и о своем будущем, так как и ты и твои друзья трудитесь ради счастья синьоры, с которой я только что обвенчался.

— Святой Теодор! Помоги нам и укажи, что делать! Этой синьоре очень повезло, дон Камилло. Если б я толь-

ко знал ее имя, то никогда бы не забывал упомянуть его в своих молитвах.

— Ты помнишь прекрасную девушку, спасенную мною на Джудекке?

— Черт возьми! Ваша светлость, вы опустились на воду, как лебедь, и поплыли быстрее чайки. Как я мог забыть! Нет, синьор, я вспоминаю об этом всякий раз, когда слышу всплеск воды на канале, и всякий раз проклиная анконца. Да простит мне Святой Теодор, если это не подобает христианину. Но, хотя мы все дивимся вашему героизму на Джудекке, все же прыжок в воду — не брачная церемония, да и о красоте синьоры мы судить не можем — уж очень она была неприглядна в тот миг.

— Ты прав, Джино. Но та девушка, прекрасная донна Виолетта Тьеполо, дочь и наследница прославленного сенатора, теперь твоя госпожа. И осталось только водворить ее в замок Святой Агаты, где нам не страшны будут ни Венеция, ни ее наемники.

Джино склонил голову в знак повиновения, хотя и оглянулся украдкой, чтобы убедиться, что поблизости нет никого из тех, кому господин его так открыто бросал вызов.

Тем временем гондола летела вперед. Беседа с герцогом ничуть не мешала Джино вести лодку в сторону Лидо. Ветер с берега крепчал, и суда, видневшиеся впереди, постепенно исчезали из виду, так что, когда дон Камилло достиг песчаной отмели, отделявшей лагуны от Адриатики, многие из них уже вышли в залив и расходились в разные стороны, идя каждое своим курсом. Дон Камилло, не зная, какой ему выбрать путь, не менял прежнего направления. Он оставался убежден, что донна Виолетта находится на одном из этих кораблей, но на каком именно, не имел никакого понятия; впрочем, если б он и знал это, его суденышко все равно не могло бы пуститься в погоню. Поэтому он сошел на берег лишь для того, чтобы проследить путь уходящих судов и определить, в каких владениях республики ему нужно искать ту, которую у него похитили. Впрочем, он решил тут же поспешить вслед и, прежде чем выйти из гондолы, обернулся к своему верному слуге.

— Ты слышал, Джино, — сказал он, — здесь, в порту, находится мой вассал со своей фелуккой «Прекрасная соррентинка».

— Я знаю его, синьор, лучше, чем свои грехи, или даже чем собственные достоинства.

— Тогда поди разыщи его сейчас же. У меня есть кой-какие замыслы; пусть он послужит мне. Надо только узнать, в каком состоянии его судно.

Джино похвалил усердие своего друга Стефано и его превосходную фелукку и затем, оттолкнувшись от берега, с силой налег на весла, как человек, ревностно взявшийся за исполнение порученного ему.

На Лидо ди Палестрина есть одно пустынное место, где покоятся останки умерших в Венеции людей, которые не были приняты в лоно римской церкви. Хотя находится оно недалеко от причала и каких-то строений, кладбище это само по себе кажется весьма выразительным символом безрадостной доли. В этом мрачном месте, то опаляемом горячим дыханием юга, то стынушем под ледяными порывами альпийских ветров, исхлестанном брызгами прибоя, среди бесплодных песков, где земля сдобрена лишь прахом усопших, человеческий труд взрастил вокруг убогих могил только скудную зелень, едва заметную даже на этом пустынном берегу. Это место погребения лишено спасительной тени деревьев и ограды, и по мнению тех, кто выделил его для еретиков и евреев, оно лишено божьего благословения.

Дон Камилло высадился наподолеку от этих могил отверженных. Желая скорей добраться до пологих песчаных холмов, нанесенных волнами и ветром на другом берегу Лидо, герцог решил пересечь это презируемое место, чтобы не идти кружным путем. Перекрестившись со свойственным ему суеверием и вынув из ножен рапиру, чтобы в случае необходимости иметь наготове это надежное оружие, он двинулся через пустошь, где покоились отверженные, стараясь обходить осыпавшиеся земляные холмики, прикрывавшие останки еретика или еврея. Дон Камилло не достиг еще и середины кладбища, как вдруг перед ним появился человек; он медленно шел по траве и, казалось, был погружен в размышления. Дон Камилло вновь сжал эфес рапиры; затем, шагнув в сторону, чтобы выйти из полосы лунного света и тем самым оказаться в равном положении с незнакомцем, он двинулся ему навстречу. Шаги его были услышаны, ибо неизвестный, скрестив руки на груди, вероятно, в знак миролюбия, остановился, ожидая приближения герцога.

— Вы избрали для прогулок мрачный час, синьор,— проговорил молодой неаполитанец,— и еще более мрачное место. Не докучаю ли я своим присутствием израэлиту или лютеранину, скорбящему о своем друге?

— Дон Камилло Монфорте, я такой же христианин, как и вы.

— Ах, так! Ты меня знаешь? Вероятно, ты Баттиста, тот самый гондольер, что приходил ко мне во дворец?

— Нет, синьор, я не Баттиста.

С этими словами неизвестный повернулся к луне, и ее мягкий свет упал на его лицо.

— Якопо! — воскликнул герцог, отпрянув подобно всем венецианцам, неожиданно встречавшим выразительный взгляд браво.

— Да, синьор, Якопо.

В ту же секунду в руках неаполитанца блеснула рапира.

— Не подходи! И объясни мне, что привело тебя сюда?

Браво улыбнулся, не двинувшись.

— С тем же правом я могу спросить герцога Святой Агаты, почему он бродит в этот час среди еврейских могил.

— Сейчас не до шуток! И я не шучу с такими, как ты! Если кто-то в Венеции подослал тебя ко мне, тебе придется призвать на помощь все свое мужество и ловкость, чтобы заработать свои деньги.

— Уберите рапиру, дон Камилло, я не собираюсь причинять вам зло. Неужели я стал бы искать вас в этом месте, будь я нанят для такого дела? Скажите сами, кто знал о вашей поездке сюда? Разве то не простая прихоть молодого дворянина, который считает, будто гондола мягче его постели? Мы с вами уже встречались, дон Камилло Монфорте, и тогда вы больше доверяли мне.

— Ты говоришь правду, Якопо,— сказал герцог, отводя рапиру от груди браво, но все еще не решаясь убрать оружие.— Ты говоришь правду. Я действительно прибыл сюда неожиданно, и ты не мог этого предвидеть. Но зачем здесь ты?

— А зачем здесь они? — спросил Якопо, указав на могилы у своих ног.— Мы рождаемся и умираем —

вот и все, что нам известно о себе; но когда и где — это тайны, и только время раскроет их нам.

— Ты ведь не из тех, кто действует без определенной цели. Израэлиты, разумеется, не могли предвидеть своего путешествия на Лидо, но ты-то приехал сюда неспроста.

— Я здесь потому, дон Камилло Монфорте, что душа моя жаждет простора. Я хочу дышать морским воздухом — смрад каналов душит меня. Мне дышится свободно только здесь, на песчаном берегу!

— У тебя есть и другая причина, Якопо?

— Да, синьор. Я ненавижу этот город злодейств! Говоря так, браво погрозил кулаком в сторону куполов Святого Марка, и взволнованный голос его, казалось, исходил из самой глубины души.

— Странно слышать это от...

— От браво? Не бойтесь этого слова, синьор! Я часто его слышу. Но стилет браво все же честнее меча мнимого правосудия Святого Марка! Самый последний убийца в Италии тот, кто за два цехина вонзит кинжал в грудь друга, кажется человеком прямым и открытым в сравнении с безжалостными лицемерами, правящими этим городом!

— Понимаю тебя, Якопо. Тебя наконец изгнали. Голос народа, как бы слаб он ни был в республике, достиг все же ушей твоих хозяев, и они лишили тебя покровительства.

Якопо бросил на герцога такой странный взгляд, что дон Камилло невольно поднял свою рапиру, но ответ браво был проникнут обычным спокойствием.

— Синьор герцог, — сказал он, — было время, когда дон Камилло Монфорте считал меня достойным своих поручений.

— Я этого не отрицаю. Но, вспомнив сей случай, ты пролил свет и на кое-что другое! Негодяй! Так это из-за твоего предательства я потерял жену!

Рапира герцога была у самого горла Якопо, но тот не двинулся с места. Взглянув на взволнованного собеседника, он коротко и горько усмехнулся.

— Похоже, герцогу Святой Агаты не дают покоя мои лавры, — проговорил он. — Восстаньте из могил, израэлиты, и будьте свидетелями, чтоб никто не усомнился в содеянном! Благороднейший синьор Калабрии устроил засаду среди ваших презренных могил простому наемно-

му убийце! Вы удачно избрали место, дон Камилло, ведь рано или поздно эта рыхлая, размытая морем земля все равно примет меня в свое лоно. Даже умри я у самого алтаря, с покаянными молитвами святой церкви на устах, эти ханжи отошлют мое тело сюда, к голодным иудеям и проклятым еретикам. Да, я изгнанник, и нет мне места рядом с правоверными!

В его словах звучала такая странная смесь иронии и горечи, что дона Камилло взяло сомнение. Но, памятуя свою горе, он снова потряс рапирой.

— Твои увертки не спасут тебя, мошенник! — воскликнул он. — Ведь ты знал, что я хотел поставить тебя во главе отборного отряда, который должен был устроить побег из Венеции моей возлюбленной.

— Совершенная правда, синьор.

— И ты отказался?

— Да, благородный герцог.

— И, не удовлетворившись этим, ты узнал все подробности моего плана и выдал его сенату?

— Нет, дон Камилло Монфорте. Мой долг по отношению к сенату не позволил мне служить вам. Иначе, клянусь самой яркой звездой небосвода, сердце мое порадовалось бы счастьем двух юных и преданных влюбленных! Нет, нет! Тот не знает меня, кто думает, будто чужая радость не приносит мне удовольствия. Я сказал вам, что принадлежу сенату, и этим все сказано.

— Я имел слабость верить тебе, Якопо, потому что в тебе так странно сочетается добро и зло; несмотря на твою мрачную славу, твой ответ, показавшийся мне искренним, успокоил меня. Но слушай: меня обманули в ту минуту, когда я уже не сомневался в успехе!

Якопо слушал с интересом; затем он двинулся медленно вперед в сопровождении готового ко всему герцога, и слабая улыбка тронула его губы, словно он сожалел о доверчивости своего спутника.

— С горя я проклял весь людской род за это предательство, — продолжал неаполитанец.

— Такое скорее подобает слышать настоятелю собора Святого Марка, чем наемному убийце.

— Они воспроизвели мою гондолу, ливреи моих слуг... похитили мою жену. Ты молчишь, Якопо?

— Какого ответа вы ждете? Вас обманули, синьор, в стране, где даже государь не смеет доверить тайну своей жене. Вы хотели лишить Венецию богатой наслед-

ницы, но Венеция лишила вас невесты. Вы затеяли большую игру, дон Камилло, и крупно проиграли. Делая вид, что хотите помочь Венеции в ее отношениях с Испанией, вы заботились только о своих интересах и правах.

Дон Камилло бросил изумленный взгляд на браво.

— Что вас так удивляет, синьор? Вы забываете, что я давно живу среди тех, кто взвешивает выгоды каждого государственного дела и с чьих уст не сходит ваше имя. Ваш брак вдвойне невыгоден Венеции, равно заинтересованной как в женихе, так и в невесте. Совет уже давно высказался против вашего союза.

— Но каким образом им удалось меня провести? Если не ты, так кто же предал меня?

— Синьор, в этом городе даже статуи выдают тайны правительству. Я многое увидел и понял в то время, как меня считали простым орудием. Но я понял еще и то, чего мои господа сами не сумели постигнуть. Я смог бы заранее предсказать печальный исход вашей свадьбы, если бы знал, что она состоится.

— Этого ты не смог сделать, не будь ты посвящен в их замыслы.

— Действия себялюбца легко предвидеть, трудно угадать лишь поступки людей честных и бескорыстных. Тот, кто способен понять интересы Венеции в данный миг, владеет самыми сокровенными тайнами государства, ибо Венеция всегда добьется того, чего пожелает, если только это не обойдется ей чересчур дорого. А что касается этого предательства, — неужели вы думаете, что среди ваших слуг мало доносчиков?

— Но я доверял только избранным...

— Дон Камилло, в вашем дворце нет никого, кроме Джино, кто не состоит на службе у сената или его служителей. Те самые гондольеры, которые ежедневно катают вас по каналу, получают цехины от республики. И платят им не только за то, чтобы они следили за вами, но еще и друг за другом!

— Неужели это правда?

— А вы когда-нибудь сомневались в том, синьор? — спросил Якопо с видом человека, которому доставляет удовольствие наивность другого.

— Я знал их лицемерие — делают вид, что верят в то, над чем в душе смеются, но я не думал, что они посмеют подкупать моих личных слуг. Ставить под угро-

зу безопасность семьи — значит разрушать основы общества!

— Вы говорите так, потому что слишком недолго еще пробыли супругом, — отозвался браво, слабо усмехнувшись. — Через год вы, возможно, убедитесь, каково это, когда ваша супруга превращает ваши тайны в золото.

— И ты им служишь, Якопо?

— А кто этого не делает? Ведь мы не распоряжаемся своей судьбой, дон Камилло, не то разве стал бы герцог Святой Агаты использовать свои родственные связи ради республики? От всего, что я делал, горькое раскаяние жжет мне душу. Вас от этого избавило высокое происхождение, синьор.

— Бедный Якопо!

— И если я все это выдержал, то лишь потому, что некто более могущественный, чем сенат, не покинул меня. Но есть такие преступления, дон Камилло, которые человек не в силах перенести.

Браво содрогнулся и в молчании продолжал свой путь среди заброшенных могил.

— Они, значит, безжалостны к тебе? — спросил дон Камилло, с удивлением глядя на взволнованного Якопо.

— Да, синьор. Сегодня ночью я стал свидетелем их отвратительного бессердечия, и это заставило меня подумать о моей собственной судьбе. Пелена спала с моих глаз, и с той минуты я больше не слуга им.

Браво говорил с глубоким волнением и, как ни странно, — так казалось герцогу, — с видом достойного человека, чья честь унижена. Дон Камилло знал, что у всякой, даже низко павшей части общества есть свои понятия о чести; имея множество доказательств неразборчивости венецианской олигархии, он понимал, что ее бесстыдная и безответственная игра могла вывести из себя даже убийцу. В Италии того времени подобных людей презирали меньше, чем можно себе теперь вообразить, потому что глубокое несовершенство законов и их извращенное толкование часто побуждало людей вспыльчивых и дерзких исправлять причиненное им зло собственными усилиями. Ставшие привычными, такие деяния не навлекали особенного позора, и хотя убийцу общество осуждало, но к тому, кто пользовался его услугами, относились с отвращением едва ли большим, чем ханжи нашего времени относятся к победителю на

дуэли. И все же люди, подобные дону Камилло, не имели никакого дела с такими, как Якопо, за исключением тех обстоятельств, когда к тому понуждала необходимость. Но поведение браво и его манера говорить вызвали такой интерес и даже симпатию герцога, что он рассеянно вложил рапиру в ножны и подошел ближе к Якопо.

— Раскаяние и сожаление скорее приведут тебя к добродетели, Якопо, чем если ты просто перестанешь служить сенату. Найди благочестивого священника и облегчи душу исповедью и молитвой.

Браво задрожал и с тоской устремил взгляд на дону Камилло.

— Говори, Якопо, даже я готов выслушать тебя, если это снимет тяжесть с твоей души.

— Благодарю вас, благородный синьор! Тысячу раз благодарен вам за сочувствие — ведь я так долго оставался лишен его! Никто не знает, как дорого каждое доброе слово тому, кто был отвергнут всеми, как я. Я молился... я жаждал поведать свою жизнь кому-нибудь и, казалось, нашел человека, который выслушал бы меня без презрения, но жестокий сенат убил его. Я пришел сюда, чтобы излить душу этим отверженным мертвецам, и случай свел меня с вами. Если б я только мог...— Браво умолк и с сомнением взглянул на дону Камилло.

— Продолжай, Якопо!

— Я не решался открыть свои тайны даже на исповеди, синьор. Смею ли я высказать их вам?

— И в самом деле, мое предложение могло показаться тебе странным.

— Да, синьор. Вы благородный господин, а я просто-го происхождения. Ваши предки были сенаторами и дожами Венеции, а мои, с тех пор как рыбаки начали строить хижины на лагунах, ловили рыбу или работали гондольерами на каналах. Вы богаты, могущественны, влиятельны; меня все презирают, и, боюсь, я уже тайно осужден. Короче говоря, вы — дон Камилло Монфорте, а я — Якопо Фронтони!

Дон Камилло был взволнован: Якопо говорил с большой грустью, но без всякой горечи.

— Хотел бы я, чтоб ты рассказал это в исповедальне, бедный Якопо,— сказал он.— Я не в состоянии снять такую тяжесть с твоей души.

— Синьор, я слишком долго был лишен сострадания своих близких и не в силах выносить это дольше! Проклятый сенат может внезапно убить меня, и кто тогда взглянет на мою могилу? Я должен открыться, синьор, или умереть! Единственный человек, который все эти три долгих ужасных года проявлял сочувствие ко мне, ушел!

— Но он вернется?

— Синьор, он не вернется никогда... Он среди рыб, в лагунах.

— Это дело твоих рук, злодей?

— Это дело рук правосудия прославленной республики,— отвечал Якопо с еле приметной горькой улыбкой.

— Ах, вот оно что! Наконец сенат открыл глаза на преступления таких, как ты! И твоё раскаяние — плод страха!

Якопо, казалось, задыхался. Несмотря на разницу в их общественном положении, он, очевидно, надеялся на пробудившееся в герцоге сочувствие, но эти резкие слова лишили его всякого самообладания. Он дрожал, и казалось, вот-вот упадет. Хотя дон Камилло не желал быть поверенным такого человека, тронутый видом столь непритворного страдания, он не отходил от браво, не решаясь ни глубже вникнуть в чувства этого человека, ни покинуть его в минуту отчаяния.

— Синьор герцог,— проговорил браво, и волнение его передалось дону Камилло,— оставьте меня. Если им нужен ещё один отверженный, пусть придут сюда: утром они найдут мой труп среди могил еретиков.

— Говори, Якопо, я готов слушать тебя.

Якопо недоверчиво взглянул на герцога.

— Облегчи душу. Я стану слушать, даже если ты расскажешь об убийстве моего лучшего друга.

Удрученный Якопо смотрел на герцога, словно все ещё сомневаясь в его искренности. Лицо его подергивалось от волнения, а взгляд стал ещё более печальным; когда же луна осветила полное сочувствия лицо дона Камилло, Якопо зарыдал.

— Я выслушаю тебя, Якопо! Я буду слушать тебя! — воскликнул дон Камилло, потрясенный таким проявлением отчаяния в человеке столь сурового нрава.

Якопо жестом прервал его и после минутной борьбы с собой заговорил, силясь справиться с волнением:

— Синьор, вы спасли мою душу от вечных мук.

Если б счастливыцы знали, сколько сил придает отверженным одно лишь доброе слово или сочувственный взгляд, они не были бы так равнодушно холодны с несчастными. Эта ночь могла стать последней в моей жизни, если б вы отвергли меня без сожаления. Выслушаете ли вы мой рассказ? Не погнушаетесь ли исповедью наемного убийцы?

— Я обещал тебе. Но торопись, ведь сейчас у меня самого много забот.

— Синьор, я не знаю всех обид, какие вам нанесли, но милосердие, что вы проявили ко мне, вам зачтется.

Якопо сделал над собой усилие и заговорил.

Ход повествования не требует того, чтобы мы полностью передали откровенный рассказ Якопо, поведенный им дону Камилло. Достаточно сказать, что молодой неаполитанец все тесней придвигался к браво и внимал ему с возрастающим интересом. Затаив дыхание, герцог Святой Агаты слушал, как Якопо со свойственной итальянцам пылкостью рассказывал о своем тайном горе и о тех сценах, в которых и ему приходилось участвовать. Задолго до того, как Якопо кончил, дон Камилло уже забыл собственные невзгоды, а к окончанию рассказа отвращение, которое он прежде испытывал к браво, сменилось бесконечной жалостью. Несчастный говорил проникновенно, а описываемые им события настолько потрясли герцога, что казалось, Якопо играет на чувствах своего слушателя подобно тем артистам, которые, импровизируя на сцене, держат во власти своего искусства восхищенную толпу.

Пока Якопо говорил, он и его пораженный спутник вышли за пределы кладбища, и, когда браво умолк, они уже стояли на противоположном берегу Лидо. Теперь до их слуха донесся глухой рокот волн Адриатического моря.

— Этому невозможно поверить! — воскликнул дон Камилло после долгого молчания, нарушавшегося только плеском волн.

— Клянусь девой Марией, синьор, все это правда!

— Я верю тебе, бедный Якопо! Твой рассказ слишком правдив, чтобы усомниться в нем! Ты и впрямь стал жертвой дьявольского коварства, и ты прав — ноша твоя невыносима. Что же ты намерен делать теперь?

— Я больше не слуга им, дон Камилло. Я жду лишь ужасной развязки одной драмы, которая теперь неиз-

бежна, и тогда я покину этот город лжи и пойду искать счастья в другой стране. Они погубили мою молодость и покрыли позором мое имя. Только Бог может облегчить мои страдания.

— Не упрекай себя понапрасну, Якопо. Даже самые счастливые и удачливые люди нередко поддаются искушению. Ты знаешь, даже мое имя и звание не избавили меня от их козней.

— Они совратят и ангела, синьор! Хуже их лицемерия могут быть лишь средства, которые они применяют, а хуже их притворной добродетели — полное пренебрежение ими истинной добродетелью.

— Ты прав, Якопо. Наибольшая опасность грозит истине тогда, когда все общество сохраняет порочную видимость благополучия: вне истины нет добродетели. Тогда подменяют религию делами государства, используют алтарь в мирских целях и употребляют свою власть без всякой ответственности, лишь руководствуясь себялюбием правящей касты. Поступай ко мне на службу, Якопо, в моих владениях я сам господин; вырвавшись из сетей этой лживой республики, я позабочусь о твоей безопасности и дальнейшей судьбе. Пусть не тревожит тебя совесть — я пользуюсь влиянием у папского престола, и ты получишь отпущение грехов.

Браво не находил слов для благодарности. Он поцеловал руку дону Камилло, не теряя при этом свойственного ему достоинства.

— Система, которая существует в Венеции, — продолжал рассуждать герцог, — не позволяет нам действовать по собственному усмотрению. Ее уловки сильнее нашей воли. Она облекает нарушение прав в тысячи всевозможных хитроумных форм, она стремится обеспечить себе поддержку каждого человека под предлогом того, что он жертвует собой ради общего блага. Часто мы считаем себя честными участниками какого-то справедливого государственного дела, тогда как в действительности мы погрязли в грехах. Ложь — мать всех пороков, и потомство ее особенно многочисленно, когда сама она является порождением государства. Боюсь, что и я стал жертвой ее ужасного влияния, о котором мне хотелось бы забыть.

Дон Камилло обращался скорее к самому себе, чем к своему спутнику, и ход его мыслей показывал, что признания Якопо вызвали у него горькие размышления

по поводу того, как он отстаивал свои притязания перед сенатом. Возможно, он чувствовал необходимость оправдаться перед тем, кто хотя и стоял ниже его по своему положению, но способен был понять его поведение и только что самым резким образом осудил свое пагубное содействие этому безответственному и развращенному государству.

Якопо постарался несколькими бесхитростными словами успокоить тревогу донна Камилло и затем с готовностью, которая свидетельствовала о его способности взяться за самые трудные дела, искусно направил разговор на недавнее похищение донны Виолетты, предложив новому хозяину все свои силы, чтобы вернуть ему супругу.

— Ты должен знать, за что берешься,— отвечал дон Камилло.— Слушай же, и я ничего не утаю от тебя.

Герцог Святой Агаты кратко, но ясно изложил Якопо свои намерения, касавшиеся спасения донны Виолетты, и все события, уже известные читателю.

Браво с напряженным вниманием слушал мельчайшие подробности рассказа и не раз улыбался про себя, словно ему было ясно, как осуществлялась та или иная интрига. Дон Камилло едва успел окончить свой рассказ, как послышались шаги Джино.

Глава XVIII

Она была бледна,
Не улыбалась. Однако я заметил,
Как невзначай она слезу смахнула.

Роджерс. «Италия».

Время шло, словно в городе не случилось ничего такого, что могло изменить обычное течение жизни. Наутро люди по-прежнему занялись своими делами или предались удовольствиям, как это случалось и раньше, и никто не остановил своего соседа, чтобы спросить о событиях, происшедших ночью. Одни были радостны, другие печальны; кто-то бездельничал, а кто-то трудился; один гнул спину, другой забавлялся, и Венецию, по обыкновению, заполнил безгласный, недоверчивый, торопливый, таинственный и суетливый люд, как это происходило уже тысячи раз с восходом солнца.

Слуги донны Виолетты бродили у водных ворот дворца, настороженные и недоверчивые, и шепотом делились своими тайными подозрениями о судьбе их госпожи. Дворец синьора Градениго оставался по-прежнему мрачен в своем великолепии, а по внешнему виду жилища дона Камилло Монфорте никак нельзя было догадаться о тяжелом ударе, постигшем его хозяина прошедшей ночью. «Прекрасная соррентинка» по-прежнему стояла в порту, и судовая команда чинила паруса с тем ленивым видом, который присущ морякам, работающим без воодушевления.

Лагуны были усеяны рыбацкими лодками; путешественники прибывали в город и покидали его, плывя по знаменитым каналам Фузина и Местре. То какой-нибудь северянин возвращался к Альпам, увозя с собой приятные воспоминания о пышных церемониях, свидетелем которых он стал, и довольно смутные умозаключения о характере власти, господствовавшей в этом непостижимом государстве, то некий крестьянин уезжал к себе домой, довольный зрелищем карнавала и гонок. Одним словом, все шло, казалось, своим чередом, и события, о которых мы поведали, оставались известны лишь участникам их и тому таинственному Совету, который сыграл в них такую огромную роль.

С наступлением дня одни суда отправились в сторону пролива, другие — к знойному Леванту; фелукки и шхуны уходили или приходили в зависимости от того, дул ли ветер с моря, или с побережья. Лишь калабриец по-прежнему валялся под палубным тентом или отдыхал на груде старых парусов, изодранных в клочья жарким сирокко. С заходом солнца по воде заскользили гондолы богатых и праздных людей, и, когда на Пьяццу и Пьяцетту ветер принес с Адриатики прохладу, Бролио стала наполняться людьми, которым обычай предоставлял право прогуливаться в эти часы под сводчатой галереей. В этот раз к ним присоединился и герцог Святой Агаты, которому, хоть он и был иностранцем, вельможи милостиво позволяли делить с ними это суетное право, зная, что герцог знатного происхождения, и считая его требования к сенату справедливыми. Он ступил на Бролио в обычное время, с присущей ему непринужденностью, так как надеялся, что тайное влияние, которым он пользовался в Риме, и недавний успех его соперников обеспечат ему безопасность. Размыслив обо всем проис-

шедшем, герцог решил, что раз сенату известны его намерения, то при желании его бы давно могли задержать; поэтому он подумал, что легче всего избежать неприятных для себя последствий, показав уверенность в своих силах. И когда он с невозмутимым видом появился на Бролио об руку с одним из высоких сановников римского посольства, его, по обыкновению, приветствовали, как того требовали титул и положение герцога. Но на этот раз доном Камилло владели необычные чувства. Он, казалось, замечал в рассеянных взглядах собеседников осведомленность о его неудавшемся замысле, и часто, когда он менее всего предполагал, что за ним наблюдают, чей-нибудь взгляд впивался в его лицо, словно стараясь прочесть в нем дальнейшие намерения герцога. В остальном же никто как будто и не знал, что государство чуть не потеряло богатую наследницу и, с другой стороны, что супруга лишили его жены. Обычное лицемерие сената и решительное, но осторожное поведение молодого неаполитанца не давали никакой пищи для подозрений.

Так прошел день, и, помимо посвященных, ни один житель Венеции ни словом не обмолвился относительно событий, о которых поведали мы.

Вечером, когда солнце уже садилось, к водным воротам Дворца Дожей медленно подплыла гондола. Гондольер, как обычно, привязал гондолу у мраморных ступеней и вошел во двор. Лицо его оставалось скрыто от взоров, потому что наступил час, когда по обычаю надевали маски, а видом своим он никак не отличался от людей его сословия. Оглядевшись, он проник во дворец через незаметную дверь.

Дворец Дожей Венеции и поныне является своего рода мрачным памятником дел республики, убедительным свидетельством показного характера власти главы ее. В середине его — просторный, но сумрачный двор, какой можно найти почти что во всех дворцах Европы. Один из фасадов выходит на Пьяцетту, о которой мы так часто вспоминаем, другой — на набережную со стороны порта. Оба внешних фасада отличаются замечательной архитектурой. Невысокий портик, составляющий Бролио, поддерживает просторные лоджии в восточном стиле, над ними высится облегченная несколькими проемами каменная стена, кладка которой ниспровергает все привычные представления о строи-

тельном искусстве. Третий фасад почти что скрыт собором Святого Марка, а четвертый оmyвается водами канала. По другую сторону его находится городская тюрьма, и близкое соседство ее с резиденцией законодательных властей красноречиво свидетельствует о характере правления. Знаменитый Мост Вздохов соединяет их символически. Здание тюрьмы тоже расположено на набережной; оно не так величественно и просторно, как первое, но гораздо интереснее его с архитектурной точки зрения, хотя дворец больше привлекает внимание необычностью стиля.

Гондольер в маске скоро вновь показался под аркой водных ворот и быстрыми шагами направился к своей лодке. За одну минуту он пересек канал, причалил к противоположному берегу и вошел в тюрьму через главный вход. Казалось, он знал некое магическое слово, ибо стоило ему подойти к страже, как без лишних расспросов отодвигались засовы и отворялись двери. Таким образом он быстро миновал все внешние преграды тюрьмы и достиг части здания, напоминавшей своим видом обычное жилье. Судя по обстановке, было ясно, что люди, обитавшие здесь, не придавали значения убранству своего жилища, хотя в комнатах имелось все необходимое для людей их положения, живших в то время в этой стране.

Гондольер поднялся по боковой лестнице и очутился перед дверью, ничем не напоминавшей тюремную, несмотря на то, что множество других деталей здания ясно свидетельствовали о его назначении. Он прислушался и осторожно постучал.

— Кто там? — спросил нежный женский голос.

Поднялась и снова опустилась щеколда, словно та, что находилась за дверью, хотела узнать посетителя, прежде чем открыть ему.

— Твой друг, Джельсомина, — был ответ.

— Если верить словам, тут все друзья тюремщиков. Назовите себя, а не то уходите.

Гондольер слегка приподнял маску, ибо она не только скрывала лицо, но и изменяла голос.

— Это я, Джессина, — сказал он.

Засовы скрипнули, и дверь быстро отворилась.

— Удивительно, как это я не узнала тебя, Карло, — произнесла девушка. — Но ты так скрываешь свое лицо

и меняешь голос в последнее время, что, наверно, даже твоя родная мать не поверила бы своим ушам.

Гондольер помолчал, желая увериться в том, что они одни, и только потом снял маску, скрывавшую, как оказалось, лицо браво.

— Ты ведь знаешь, надо быть осторожным,— сказал он,— и не станешь сердиться.

— Ты не понял меня, Карло. Я очень хорошо знаю твой голос и не могла поверить, будто ты умеешь так изменять его.

— Есть ли какие-нибудь новости для меня?

Юная кроткая Джельсомина замаялась.

— Какие новости, Джельсомина? — повторил браво, пристально вглядываясь в открытое лицо девушки.

— Хорошо, что ты пришел только сейчас. У меня были гости. Ты ведь не хочешь, чтобы тебя видели, Карло?

— Ты знаешь, у меня есть важные причины носить маску. А понравились бы мне твои гости или нет, еще неизвестно.

— Нет, нет, ты меня не понял,— поспешно возразила девушка,— здесь была моя двоюродная сестра Аннина.

— Ты думаешь, я ревную? — спросил браво, взяв ее за руку и ласково улыбаясь.— Приди сюда твой двоюродный брат Пьетро, или Микеле, или Роберто, или еще какой-нибудь молодой венецианец, я боялся бы только быть узанным.

— Но здесь была Аннина, моя двоюродная сестра, которую ты никогда не видел! И потом, у меня нет братьев,— ни Пьетро, ни Роберто или Микеле. У нас мало родных, Карло. Есть еще родной брат Аннины, но он здесь никогда не бывает. Она и сама уже давно не приходила в это жуткое место. Наверно, мало найдется сестер, которые видятся так редко, как мы.

— Ты славная девушка, Джессина, и никогда не оставляешь свою мать. Теперь скажи, нет чего-либо нового для меня?

И снова Джельсомина, или, как все ее звали, Джессина, опустила свои добрые глаза, но, прежде чем браво успел это заметить, она торопливо сказала:

— Боюсь, Аннина вернется, а не то я бы сейчас же пошла с тобой.

— А разве она еще здесь? — с беспокойством спросил браво.— Ты знаешь, я не хочу, чтобы меня видели.

— Успокойся. Прежде чем войти, ей придется позвонить, а сейчас она наверху, у моей больной матери. Если она спустится, ты можешь, как обычно, укрыться в этой комнатке и слушать ее пустую болтовню, если захочешь, или... Нет, мы не успеем... Аннина приходит редко, и не знаю почему, но ей не очень нравится навещать больную тетю — она никогда не усидит там и нескольких минут.

— Ты хотела сказать, Джессина, что я могу пойти по своему делу?

— Да, Карло, но я уверена, нетерпеливая Аннина станет меня разыскивать.

— Я могу подождать. Когда я с тобой, я всегда терпелив, дорогая Джессина.

— Тише! Это ее шаги. Прячься скорее!

Тут раздался звон колокольчика, и браво, как человек, уже знакомый с этим убежищем, быстро скрылся в маленькой комнатке. Дверь он притворил неплотно, потому что темнота чулана надежно скрывала его. Тем временем Джельсомина впустила сестру. Как только та заговорила, Якопо, которому и в голову не приходило связать столь распространенное имя с этой особой, узнал в ней хитроумную дочь виноторговца.

— У тебя здесь хорошо, Джельсомина! — воскликнула она и бросилась в кресло так, будто очень устала. — Твоей матушке лучше. А ты, я вижу, настоящая хозяйка в доме!

— Я бы с радостью не была ею. Я еще слишком молода, чтобы нести такое бремя.

— Ну, в семнадцать лет хозяйничать дома не так уж тяжело, Джессина! Властвовать приятно, а подчиняться отвратительно.

— Я не извела ни того, ни другого. И первое отдам с радостью, как только у матушки хватит сил снова вести хозяйство.

— Все это хорошо, Джессина, и делает честь твоему духовному наставнику. Но власть всегда дорога женщине, как и свобода. Ты не ходила вчера гулять на площадь?

— Я вообще редко надеваю маску, а вчера я не могла оставить матушку одну.

— Значит, ты жалеешь, что не пошла. И есть о чем пожалеть — такого веселого венчания с Адриатикой и таких интересных гонок в Венеции не случалось, на-

верно, со дня твоего рождения. Но венчание ты все же видела из окна?

— Я видела только галеру республики, мчавшуюся к Лидо, и толпу патрициев на ее палубе, а больше ничего, пожалуй.

— Не беда. Сейчас я тебе расскажу, и ты представишь все себе так ясно, будто сама была на месте дожа! Сначала вышли стражники в старинных одеяниях...

— Это я и сама не раз видала: ведь из года в год церемония не меняется!

— Ты права. Но в Венеции ни разу не случилось таких прекрасных гонок. Ты знаешь, что в первом состязании участвуют большие гондолы с лучшими гребцами. Луиджи был среди них, и хотя он не получил первой награды, но вполне заслужил ее, потому что превосходно вел лодку. Ты знаешь Луиджи?

— Я почти что никого не знаю в Венеции, Аннина. Болезнь матери и эта несчастная служба отца заставляют меня оставаться дома, когда вся молодежь веселится на каналах.

— Верно, с твоей жизнью знакомств не заведешь! Луиджи — самый лучший из гондольеров. Он ловок, пользуется уважением и самый веселый из всех, кто когда-нибудь ступал на Лидо.

— Значит, он всех там обогнал?

— Он мог бы прийти первым, но его гребцы оказались неумелыми, а потом, там еще что-то подстроили, и он занял только второе место. Вот было зрелище! Лучшие гребцы боролись за то, чтобы добыть себе славу на каналах или утвердить ее. Святая Мария! Жаль, что ты этого не видела!

— Я не могла бы радоваться, видя поражение своего друга.

— Надо брать жизнь, как она есть! Но, хотя Луиджи и его друзья прекрасно провели гонки, самым интересным зрелищем в тот день стала другая, где первое место занял Антонио, бедный семидесятилетний рыбак. С непокрытой головой и в засученных до колен штанах он плыл в лодке не лучше той, на которой я обычно вожу вина на Лидо.

— Может, у него не оказалось сильных соперников?

— Там были лучшие гребцы Венеции! Впрочем, Луиджи принимал участие в первом состязании, и потому

во втором ему не удалось выступить. Говорят,— тут Аннина с привычной осторожностью огляделась по сторонам,— тот, чье имя не стоит произносить в Венеции, посмел явиться на гонки в маске. И все-таки победил рыбак! Ты слыхала о Якопо?

— Обычное имя.

— В Венеции им называют только одного человека.

— Я слышала, что так зовется какой-то страшный злодей. Но он не посмел бы показаться среди знатных людей на таком празднике!

— Джессина, мы живем в непонятной стране! Этот человек разгуливает по Пьяцце, будто он — дож, и никто не смеет сказать ему ни слова! А в полдень я видела, как он стоял, прислонившись к триумфальной мачте, с таким гордым видом, будто прибыл праздновать победу республики!

— Может быть, он знает какую-нибудь их страшную тайну и они боятся, что он ее раскроет?

— Ты совсем не представляешь себе, что такое Венеция, дитя! Владеть подобной тайной — все равно что быть приговоренным к смерти. Когда имеешь дело со Святым Марком, одинаково опасно знать слишком мало и слишком много. Говорят, во время гонок Якопо стоял совсем рядом с дожем, до смерти пугая сенаторов, словно дух, нечаянно вызванный из склепов их отцов! Но это еще не все! Когда утром я пересекала лагуны, я видела, как вытащили из воды труп молодого кавалера, и те, кто находился поблизости, говорили, что это дело рук Якопо.

Робкая Джельсомина вздрогнула.

— Тем, кто правит нами,— сказала она,— придется ответить за свою беспечность, если они и дальше оставят его на свободе.

— Благословенный Святой Марк да защитит детей своих! Говорят, на его душе немало таких грехов, но сегодня утром я сама своими глазами видела труп в устье канала.

— А ты что же, ночевала на Лидо, если была там уже так рано?

— Я? Да... Нет, я не ночевала там. Но, понимаешь, во время этих празднеств у отца было очень много дел, а ведь я себе не хозяйка, Джельсомина, чтобы поступать, как хочется, подобно тебе... Ну, что-то я заговори-

лась с тобой, а дома дел не переделать! Где сверток, что я отдала тебе на хранение в прошлый раз?

— Вот он,— проговорила Джельсомина и, выдвинув ящик, протянула сестре маленький сверток, не подозревая даже, что в нем находились запрещенные товары, которые Аннине в ее неутомимой деятельности пришлось спрятать на некоторое время.— Я уж подумала, что ты забыла о нем, и собиралась отослать его тебе.

— Если ты любишь меня, Джельсомина, никогда не поступай так опрометчиво! Мой брат Джузеппе... Но ты, верно, и его не знаешь?

— Да, едва знаю, хотя он мне тоже брат.

— Ну, в этом тебе повезло! Не стану ничего дурного говорить о своем родном брате, но, приведись ему случайно узнать про этот сверток, тебе не сдобровать.

— А я не боюсь ни твоего брата, ни кого-нибудь другого,— решительно, как все честные люди, возразила дочь тюремного надзирателя.— Он не станет на меня сердиться за то, что я выполнила твою просьбу.

— Ты права, но он доставил бы мне много огорчений. Ах, пресвятая дева Мария, сколько горя может принести семье упрямый, неразумный мальчишка! Но он мой брат, в конце концов, и все остальное ты сама понимаешь. Мне пора, добрая Джельсомина. Надеюсь, отец когда-нибудь позволит тебе навестить тех, кто так любит тебя!

— Прощай, Аннина. Я пришла бы с радостью, но не могу оставить мою бедную мать.

Аннина поцеловала на прощание простодушную, доверчивую сестру и ушла.

— Карло,— нежно позвала Джельсомина,— выходи, теперь уж никто не придет.

Когда браво вошел в комнату, его лицо казалось бледнее обычного. Он с грустью посмотрел на нежную, любящую девушку, ожидавшую его возвращения, но, когда попытался улыбнуться ей в ответ на ее искреннюю улыбку, лицо его только исказилось гримасой.

— Аннина утомила тебя своей болтовней про гонки да про убийства на каналах! — сказала Джельсомина.— Не суди ее строго за то, что она так резко отзывалась о Джузеппе,— он заслуживает и худшего... Но я знаю, ты торопишься, и не стану тебе надоедать.

— Погоди, Джессина. Эта девушка — твоя двоюродная сестра?

— Разве я не говорила тебе об этом? Наши матери — родные сестры.

— И часто она здесь бывает?

— Не так часто, как ей хотелось бы, я думаю; ведь ее тетя — моя мать — уже много месяцев не выходит из своей комнаты.

— Ты прекрасная дочь, милая Джессина, и, видно, хотела бы видеть всех такими же добрыми, как ты сама. А ты у нее бывала?

— Ни разу. Отец мне запрещает. Они ведь торгуют вином и устраивают пирушки гондольерам! Но Аннина не виновата, что ее родители занимаются таким ремеслом.

— Нет, конечно. А что это за сверток, который попросила у тебя Аннина? Он долго здесь лежал?

— С месяц. Она оставила его, когда была тут последний раз и спешила на Лидо. Но почему ты все это спрашиваешь? Видно, она тебе не понравилась — ветреная девушка и немного болтлива; но я верю, у нее доброе сердце. Ты ведь слышал, как она говорила об этом страшном Якопо и последнем убийстве на Лидо?

— Да.

— Ты и сам, Карло, наверно, возмутился бы этим преступлением. Аннина легкомысленна и могла бы быть не такой расчетливой, но у нее, как и у всех нас, глубокое отвращение к греху... Ну, пойдем теперь в камеру?

— Нет, поговорим еще.

— Твое честное сердце, Карло, негодует при одном имени этого убийцы! Я много слышала о его злодеяниях и о том, что власти почему-то мирятся с этим. Говорят, коварством он превосходит даже их и городская стража ждет только несомненных доказательств, боясь совершить беззаконие.

— Ты думаешь, сенат столь мягкосердечен? — хрипло спросил браво, сделав знак девушке продолжать.

Джельсомина с грустью посмотрела на него, чувствуя справедливый упрек в его словах. Затем она вышла в дверь, скрытую от взглядов посторонних, и, вернувшись, принесла маленький ящичек.

— Вот ключ, Карло, — сказала она, отделяя один от тяжелой связки, — и я теперь его единственный хранитель. Этого, по крайней мере, мы достигли, — придет день, и мы добьемся еще большего.

Якопо пытался улыбкой показать, как признателен он доброй девушке, но она поняла только, что он спешит. Надежда, вспыхнувшая во взгляде Джельсомины, вновь сменилась выражением печали, и девушка молча пошла вперед.

Глава XIX

...Но выше поднимись,
И обозрев оттуда равнину, моря дальний
горизонт,
Приди по ряду узких мрачных келий,
Похожих на могилы...
«Площадь Святого Марка».

Мы не последуем за Джельсоминой и ее спутником через сводчатые галереи и мрачные коридоры тюрьмы. Кому довелось хоть однажды побывать в здании большой тюрьмы, не нужны никакие описания, чтобы воскресить в памяти гнетущее чувство, возникающее при виде окон с железными решетками, скрежещущих засовов, скрипучих дверей и всех прочих символов и средств тюремного заключения. Это здание, подобно остальным столь же неудачно предназначенным для истребления пороков общества, было обширно, прочно, изобиловало запутанными переходами и, словно в насмешку над его назначением, снаружи казалось простым и даже красивым.

Войдя в узкую остекленную галерею с низким сводом, Джельсомина остановилась.

— Карло,— спросила она,— ты, как всегда, ждал меня у причала в обычный час?

— Я не пришел бы сюда, если б встретил тебя там. Ты же знаешь, я не хочу, чтобы меня видели. Но я подумал, что твоя мать, должно быть, чувствует себя хуже, и пересек канал.

— Нет, ты ошибся: матушка уже много месяцев все в том же состоянии... А ты заметил, что мы идем сегодня в камеру другим путем?

— Заметил. Но мы никогда прежде не встречались в комнатах твоего отца, чтобы оттуда идти в камеру, и я думал, мы идем правильно.

— Ты хорошо знаешь дворец и тюрьму, Карло?

— Лучше, чем хотел бы, милая Джельсомина. Но к чему эти вопросы сейчас, когда я спешу туда?

Кроткая Джельсомина не ответила. Ведя уединенную жизнь, она оставалась всегда бледна, как цветок, возвращенный без солнца, но, услышав этот вопрос, побледнела больше обычного. Зная простодушие девушки, Якопо внимательно глянул в ее выразительное лицо. Затем, быстро подойдя к окну, он бросил взгляд наружу — его взору предстал узкий темный канал. Якопо пересек галерею и снова поглядел вниз: тот же темный водный путь тянулся меж каменными громадами зданий к набережной и порту.

— Джельсомина! — воскликнул Якопо, отшатнувшись. — Ведь это Мост Вздохов!

— Да, Карло. Ты когда-нибудь проходил здесь?

— Ни разу. И не понимаю, почему я здесь сейчас. Я часто думаю, что мне предстоит когда-нибудь перейти этот роковой мост, но я не мог и мечтать о таком страже.

Глаза Джельсомины радостно заблестели, и она весело улыбнулась.

— Со мной ты никогда не пойдешь по этому мосту к своей гибели.

— В этом я уверен, добрая Джессина, — произнес Якопо, взяв девушку за руку. — Но ты задала мне загадку, которую я не могу разрешить. Ты частоходишь во дворец через эту галерею?

— По ней никто не ходит, кроме стражников да осужденных; ты это, наверно, и сам слышал. Но мне вот дали ключи и показали все повороты коридоров, чтобы я смогла водить тебя здесь.

— Боюсь, Джельсомина, я слишком счастлив, встретив тебя, чтобы заметить, как должно было подсказать мне благоразумие, что сенат проявил редкостную доброту, позволив мне наслаждаться твоим обществом.

— Ты жалеешь, что узнал меня, Карло?

Укор, прозвучавший в ее грустном голосе, тронул браво, и он поцеловал руку девушки с истинно итальянским пылом.

— Я бы тогда жалел о единственных счастливых днях моей жизни за многие годы, — проговорил Якопо. — Ты для меня, Джессина, как цветок в пустыне, как чистый ручей для жаждущего или искра надежды для осу-

жденного. Нет, нет! Ни на мгновение не пожалел я, что узнал тебя, моя Джельсомина!

— Мне было бы больно узнать, что я только прибавила тебе огорчений. Я молода, не знаю жизни, но и мне понятно, что тем, кого любим, мы должны приносить радость, а не страдание.

— Твоя добрая душа научила тебя этому. Но не кажется ли тебе странным, что такому человеку, как я, разрешили посещать тюрьму без других провожатых?

— Мне это не казалось странным, Карло, но, конечно, такое не совсем обычно.

— Мы приносили столько радости друг другу, дорогая Джессина, и проглядели то, что должно было нас встревожить.

— Встревожить?

— Ну; по крайней мере, насторожить. Ведь коварные сенаторы оказывают милость, лишь преследуя какую-то свою цель. Но прошлого не вернуть; и все равно, я буду помнить каждое мгновение, проведенное с тобой. А теперь пойдем дальше.

Омраченное лицо Джельсомины прояснилось, но она по-прежнему не трогалась с места.

— Говорят, немногие из ступивших на этот мост возвращаются снова к жизни,— произнесла девушка дрогнувшим голосом.— А ты даже не спросишь, почему мы здесь, Карло!

Недоверие мелькнуло в глазах браво, когда он метнул взгляд на кроткую девушку. Но выражение отваги, к которому она так привыкла, не оставило его лица.

— Если ты хочешь, чтобы я был любопытен, пожалуйста,— отвечал он.— Зачем ты пришла сюда и более того — раз мы здесь, чего ты медлишь?

— Наступает лето, Карло,— шепнула она еле слышно,— и мы напрасно искали бы в камерах...

— Я понял,— сказал он.— Идем дальше!

Джельсомина с грустью глянула в лицо своему спутнику, но, не заметив на нем признаков страдания; которое он испытывал, двинулась дальше. Голос Якопо звучал хрипло; привыкший всегда скрывать свои чувства, он не проявил слабости и теперь, ибо знал, какое страдание причинит этому нежному и верному существу, отдавшему ему всю свою искреннюю и преданную любовь,

в зарождении которой равно сыграли роль и образ жизни Джельсомины и ее природное чистосердечие.

Для того, чтобы читатель понял намеки, казавшиеся столь ясными нашим влюбленным, необходимо объяснить еще одну отвратительную особенность власти Венецианской республики.

Что бы ни утверждало государство в своих официальных заявлениях, истинный характер управления страной безошибочно проявляется в том, как заявления эти осуществляются в действительности. Правительства, созданные для народного блага, неохотно и осторожно применяют силу, считая своим долгом защищать, а не притеснять слабых; но чем своекорыстнее становится правление, тем строже и безжалостнее методы, к коим прибегают власть имущие. Так в Венеции, где вся система правления держалась на узкой олигархии, сенат в своем рвении не пощадил даже достоинства номинального властителя, и Дворец Дожей был осквернен существованием в нем темниц. Это величественное здание имело отдельные камеры для лета и для зимы. Читатель, быть может, готов надеяться, что узникам таким образом оказывали некоторое снисхождение, но это значило бы лишь приписывать милосердие ведомству, представители коего до последней минуты его существования не одарили его никакими человеческими добродетелями. О страданиях узника никто не задумывался; его зимняя камера находилась ниже уровня воды в каналах, летом же он томился под свинцовой крышей, где задышался от палящего южного солнца. Как читатель, вероятно, уже догадался, Якопо проник в тюрьму ради какого-то заключенного; это краткое объяснение поможет читателю понять тайные намеки спутницы браво. Тот, кого они искали, действительно оказался переведен из сырого каземата, где он мучился зимой и весной, в раскаленную камеру под крышей.

Опечаленная Джельсомина шла впереди, глубоко разделяя горе своего спутника, но считая ненужным оттягивать долее свидание. Ей пришлось сообщить ему весть, которая страшно угнетала ее душу, и, подобно большинству добросердечных людей, она мучилась этой обязанностью, но теперь, исполнив свой долг, она почувствовала заметное облегчение. Они поднимались по бесконечным лестницам, открывали и закрывали бесчисленные двери, молча пробирались по узким коридорам, пре-

жде чем достигли цели. Пока Джельсомина выбирала ключ из большой связки, чтобы отпереть дверь, браво с трудом вдыхал раскаленный воздух.

— Они обещали, что это больше не повторится! — сказал он. — Но изверги не помнят своих клятв!

— Карло! Ты забыл, что мы во Дворце Дожей, — шепнула девушка, пугливо оглянувшись по сторонам.

— Я не забываю ничего, что касается республики! Вот где держу! — отвечал Якопо, хлопнув себя по лбу. — Остальное хранится в моем сердце.

— Это не может длиться вечно, бедный Карло, придет и конец.

— Ты права, — хрипло отозвался браво. — И даже раньше, чем ты полагаешь! Но это неважно. Открой дверь.

Джельсомина медлила, но, встретив нетерпеливый взгляд браво, отперла дверь, и они вошли.

— Отец! — воскликнул браво, опускаясь на соломенную подстилку, лежавшую прямо на полу.

Истощенный, слабый старик поднялся, услышав это слово, и его глаза — глаза человека с помутившимся разумом — заблестели в ту минуту еще ярче, чем глаза его сына.

— Я боялся, отец, что ты заболеешь от этой резкой перемены, — сказал браво, становясь на колени рядом с подстилкой. — Но твои глаза, твое лицо, весь вид гораздо лучше, чем был в том сыром подвале.

— Мне здесь хорошо, — отвечал узник. — Тут светло. Может быть, слишком светло, но если б ты знал, мой мальчик, как радостно видеть день после такой долгой ночи!

— Ему лучше, Джельсомина! Они еще не убили его. Посмотри, и глаза у него блестят, и на щеках румянец!

— Когда после зимы узников выводят из нижних темниц, они всегда так выглядят, — прошептала девушка.

— Какие новости, сынок? Как мать?

Браво опустил голову, чтобы скрыть боль, которую вызвал у него этот вопрос, заданный, наверно, уже в сотый раз.

— Она счастлива, отец, как может быть счастлива вдали от тебя, которого так любит.

— Она часто вспоминает меня?

— Последнее слово, что я слышал от нее, было твое имя.

— А как твоя кроткая сестра? Ты о ней ничего не говоришь.

— Ей тоже хорошо, отец.

— Перестала ли она считать себя невольной причиной моих страданий?

— Да, отец.

— Значит, она больше не мучается тем, чему нельзя помочь?

Браво взглянул на бледную, безмолвную Джельсомину, словно ища поддержки у той, которая разделяла его горе.

— Она больше не мучается, отец,— произнес он, силясь сохранить спокойствие.

— Ты всегда нежно любил сестру, мальчик. У тебя доброе сердце, я-то уж знаю. Если Бог и наказал меня, то он же и осчастливил хорошими детьми!

Наступила долгая пауза, во время которой отец, казалось, вспоминал прошлое, а сын радовался тому, что наступило молчание: вопросы старика терзали его душу — ведь те, о ком он расспрашивал, давно умерли, пав жертвами семейного горя.

Старик задумчиво посмотрел на сына, по-прежнему стоявшего на коленях, и сказал:

— Вряд ли твоя сестра когда-нибудь выйдет замуж... Кто захочет связать себя с дочерью осужденного?

— Она и не думает об этом... Ей хорошо с матерью!

— Этого счастья республика не сможет ее лишить. Есть хоть какая-нибудь надежда повидаться с ними?

— Ты увидишь мать... Да, в конце концов тебе доставят эту радость.

— Как давно я никого из родных, кроме тебя, не видел! Опустись на колени, я хочу тебя благословить.

Якопо, который поднялся было, вновь стал на колени, чтобы получить родительское благословение. Губы старика шевелились, глаза обратились к небу, но слов его не было слышно. Джельсомина склонила голову и присоединила свои мольбы к молитвам узника. Когда эта немая сцена кончилась, Якопо поцеловал иссохшую руку отца.

— Есть надежда на мое освобождение? — спросил старик. — Обещают ли они, что я снова увижу солнце?

— Да.



— Хоть бы исполнились их обещания! Все это страшное время я жил надеждой. Ведь я, кажется, нахожусь в этих стенах уж больше четырех лет.

Якопо ничего не сказал, ибо знал, что старик помнит что-то лишь с тех пор, как сыну разрешили навещать его.

— Я все надеюсь, что дож вспомнит своего старого слугу и выпустит меня на свободу.

Якопо снова промолчал, ибо дож, о котором говорил отец, давно умер.

— И все-таки я должен быть благодарен, Дева Мария и святые не забыли меня. Даже в неволе у меня есть развлечения.

— Вот и хорошо! — воскликнул браво. — Как же ты смягчаешь здесь свое горе, отец?

— Взгляни сюда, мальчик, — проговорил старик, глаза которого лихорадочно блестели, что было следствием недавней перемены камеры и признаком развивающегося слабоумия. — Ты видишь трещинку в доске? От жары она становится все шире; с тех пор как я живу в этой камере, расселинка увеличилась вдвое, и мне иногда кажется, что, когда она дотянется вот до того сучка, сенаторы сжалятся и выпустят меня отсюда. Такая радость смотреть, как трещинка растет и растет с каждым днем!

— И это все?

— Нет, у меня есть и другие развлечения. В прошлом году в камере жил паук; он плел свою паутину вон у той балки. Я очень любил смотреть на него. Как думаешь, он вернется сюда?

— Сейчас его не видно, — тихо сказал браво.

— Все-таки я надеюсь, он вернется. Скоро прилетят мухи, и тогда он снова выползет за добычей. Они могут ложно обвинить меня и разлучить на долгие годы с женой и дочерью, но они не должны лишать меня всех моих радостей!

Старик смолк и задумался. Какое-то детское нетерпение загорелось в его глазах, и он переводил взгляд с трещины в доске — свидетельницы его долгого заточения — на лицо сына, словно вдруг усомнившись в своих радостях.

— Ну что ж, пусть заберут и паука! — сказал он, вдруг спрятав голову под одеяло. — Я не стану их проклинять!

— Отец!

Узник не отвечал.

— Отец!

— Якопо!

Теперь умолк браво. Хотя душа его рвалась от нетерпеливого желания взглянуть в открытое лицо Джельсомины, которая слушала затаив дыхание, он не решался даже украдкой посмотреть в его сторону.

— Ты слышишь меня, сын? — сказал старик, высывая голову из-под одеяла. — Неужели у них хватит жестокости выгнать паука из моей камеры?

— Они оставят тебе это удовольствие, отец, ведь оно не грозит ни их власти, ни славе. Пока сенат держит народ за горло и сохраняет при этом свое доброе имя, твоей радости не станут завидовать!

— Ну хорошо. А то я боялся: ведь грустно лишиться единственного друга в камере!

Якопо, как мог, старался успокоить старика и понемногу перевел разговор на другие предметы. Он положил рядом с постелью свертки с едой, которые ему было дозволено приносить, и, еще раз обнадежив отца скорым освобождением, собрался уходить.

— Постараюсь верить тебе, сын мой, — сказал старик; у него были основания сомневаться в том, что он слышал уже много раз. — Я сделаю все, чтобы верить. Скажи матери — я всегда думаю о ней и молюсь за нее, и от имени твоего несчастного отца благослови сестру.

Браво покорно опустил голову, всячески стремясь уклониться от дальнейшего разговора. По знаку отца он вновь стал на колени и получил прощальное благословение. Затем, приведя в порядок камеру и попытавшись увеличить щели между досками, чтобы воздух и свет свободнее проходили в помещение, Якопо вышел.

Браво и Джельсомина не проронили ни слова, идя запутанными коридорами, по которым раньше поднимались наверх, пока снова не очутились на Мосту Вздохов. Здесь редко ступала человеческая нога, поэтому девушка с чисто женской сообразительностью выбрала это место для разговора с Якопо.

— По-твоему, он изменился? — спросила она, прислонившись к арке.

— Очень.

— Ты думаешь о чем-то страшном!

— Я не умею притворяться перед тобой, Джельсомина.

— Но ведь есть надежда. Ты же сам сказал ему, что есть надежда!

— Пресвятая дева Мария, прости мне этот обман! Ему недолго осталось жить, и я не мог лишить его последнего утешения.

— Карло! Карло! Почему же ты так спокоен? В первый раз ты говоришь об этой несправедливости так спокойно!

— Потому, что освобождение его близко.

— Но ведь ты только сейчас говорил, что для него нет спасения, а теперь — что скоро придет освобождение!

— Его принесет смерть. Перед ней бессилен даже гнев сената.

— Неужели конец близок? Я не заметила перемены.

— Ты добра и предана друзьям, милая Джельсомина, но о многих жестокостях не имеешь никакого понятия; для тех же, кто, как я, повидал на своем веку немало зла, мысль о смерти приходит часто. Страдания моего бедного отца скоро кончатся, силы покидают его! Но, даже если это не так, можно предвидеть, что у них найдутся средства ускорить его конец.

— Уж не думаешь ли ты, что кто-то в тюрьме причинит ему зло?

— Тебе и всем, кто с тобой, я верю! Это святые поместили сюда твоего отца и тебя, Джельсомина, чтобы злодеи не имели слишком большой власти на земле.

— Я не понимаю, Карло, но тебя часто трудно понять. Твой отец произнес сегодня имя, которое я никак не хотела бы связывать с тобой.

Браво быстро кинул на девушку беспокойный, подозрительный взгляд и затем поспешно отвернулся.

— Он назвал тебя Якопо! — продолжала она.

— Иногда устами мучеников глаголят святые!

— Неужели ты думаешь, Карло, отец подозревает сенат в том, что он хочет прибегнуть к услугам этого чудовища?

— В том нет ничего удивительного: сенат нанимал людей и похуже. Но, если верить тому, что говорят, они хорошо с ним знакомы.

— Не может быть! Я знаю, ты разгневан на сенат за горе, которое он причинил вашей семье, но неужели ты веришь, что он когда-нибудь имел дело с наемным убийцей?

— Я повторил лишь то, что каждый день слышу на каналах.

— Я бы очень хотела, Карло, чтобы отец твой не называл тебя тем страшным именем!

— Ты слишком благоразумна, чтобы огорчаться из-за одного слова, Джельсомина. Но что ты скажешь о моем несчастном отце?

— Наше сегодняшнее посещение не похоже на все остальные, в которых я сопровождала тебя. Не знаю почему, но мне всегда казалось, будто раньше и тебя самого не оставляла надежда, которой ты ободрял отца, а теперь отчаяние будто приносит тебе какое-то жуткое удовольствие.

— Твоя тревога обманывает тебя,— возразил бравое еле слышным голосом.— Тревога обманывает тебя, Джельсомина. Не будем больше говорить об этом. Сенат в конце концов окажет нам справедливость. Это почтенные люди, высокого достоинства, происходящие из знатных семей. Было бы безумием не доверять этим патрициям. Разве ты не знаешь, что тот, у кого в жилах течет благородная кровь, свободен от всех слабостей и соблазнов, каким подвержены мы, люди низкого происхождения? Такие люди от рождения стоят выше слабостей, присущих простым смертным; они никому ничем не обязаны и поэтому непременно окажутся справедливы! Тут все разумно, и ничего в том сомневаться! — Сказав это, браво с горечью рассмеялся.

— Ты шутишь, Карло. Каждый может причинить зло другому. Только те, кому покровительствуют святые, не творят зла.

— Ты рассуждаешь так потому, что живешь в тюрьме и молишься непрерывно. Нет, глупенькая, есть люди, которые из поколения в поколение рождаются мудрыми, честными, добродетельными, храбрыми, неподкупными и созданными для того, чтобы бросать в тюрьмы тех, кто родился в нищете! Где ты провела свою жизнь, Джельсомина, чтобы не почувствовать эту истину, пропитавшую даже воздух, которым ты дышишь? Ведь это же ясно, как день, и очевидно... очевидно, как эти стены!

Робкая девушка отшатнулась и, казалось, готова была броситься прочь от браво: ни разу за все их бесчисленные встречи и откровенные беседы она не слышала такого горького смеха, не видела такого неистовства в его взгляде.

— Я могу подумать, Карло, будто отец назвал тебя тем именем не случайно,— произнесла она наконец, придя в себя и укоризненно взглянув на все еще взволнованное лицо браво.

— Дело родителей называть своих детей, как они хотят... Но довольно об этом. Я должен идти, милая Джельсомина, и покидаю тебя с тяжелым сердцем.

Ничего не подозревавшая Джельсомина сразу же позабыла о своей тревоге. Расставание с человеком, известным ей под именем Карло, часто наводило на нее грусть, но теперь у нее на душе сделалось особенно горько от этих слов, хотя она и сама не знала почему.

— Я понимаю, у тебя свои дела, и о них нельзя забывать. Хорошо ли ты зарабатывал на своей гондоле в последнее время?

— Нет, я и золото — мы почти что незнакомы! И потом, ведь власти всю заботу о старике оставили мне.

— Ты знаешь, Карло, я не богата, но все, что у меня есть,— твое,— проговорила Джельсомина чуть слышно.— И отец мой беден, иначе он не стал бы жить страданиями других, храня ключи от тюрьмы.

— Он причиняет меньше зла, чем те, кто нанял его! Если меня спросят, хочу ли я носить «рогатый чепец», нежиться во дворцах, пировать в роскошных залах, веселиться на таких празднествах, как вчерашнее, участвовать в тайных советах и быть бессердечным судьей, обрекающим своих ближних на страдания, или же служить простым ключником в тюрьме, я ухватился бы за последнюю возможность, не только как за более невинную, но и куда более честную!

— Люди рассуждают иначе, Карло. Я боялась, что ты постыдишься взять в жены дочь тюремщика. А теперь, раз ты так спокойно говоришь об этом, не скрою от тебя — я плакала и молила святых, чтобы они даровали мне счастье стать твоей женой.

— Значит, ты не понимаешь ни людей, ни меня! Будь твой отец сенатором или членом Совета Трех и если бы это стало известно, у тебя оказались бы причины печалиться... Но уж поздно, Джельсомина, на каналах темнеет, и я должен идти.

Девушка с неохотой признала, что он прав, и, выбрав ключ, отворила дверь крытого моста. Пройдя несколько коридоров и лестницу, они вышли к набережной. Здесь браво поспешно простился с ней и покинул тюрьму.

Глава XX

Так ошибаются одни лишь новички.

Байрон, «Дон-Жуан».

Как обычно, с наступлением вечера Пьяцца оживилась, и по каналам заскользили гондолы. В галереях появились люди в масках, зазвучали песни и возгласы. Венеция снова погрузилась в обманчивое веселье.

Выйдя из тюрьмы на набережную, Якопо смешался с толпой гуляющих, которые, скрывшись под масками, направлялись к площадям. Проходя по нижнему мосту через канал Святого Марка, он замедлил на мгновение шаг, бросил взгляд на остекленную галерею, откуда только что вышел, и снова двинулся вперед с толпой, не переставая думать о бесхитростной и доверчивой Джельсомине. Медленно прогуливаясь вдоль темных аркад Бролио, Якопо искал глазами дона Камилло Монфорте. Он встретил его на углу Пьяцетты и, обменявшись с ним условными знаками, никем не замеченными, двинулся дальше.

Сотни лодок стояли у набережной Пьяцетты. Якопо разыскал среди них свою гондолу и, выведя ее на середину канала, быстро погнал вперед. Несколько ударов весла — и он очутился у борта «Прекрасной соррентинки». Хозяин фелукки, как истый итальянец, беспечно прогуливался по палубе, наслаждаясь вечерней прохладой; его матросы, усевшись на баке, пели или, вернее, однообразно тянули песню о далеких морях.

Приветствие было коротким и грубоватым, каким всегда обмениваются люди этого сословия. Но, видно, хозяин ждал гостя, потому что он сразу повел его на дальний конец палубы, чтобы матросы не слышали их разговора.

— Что-нибудь важное, Родриго? — спросил моряк, узнав браво по условному знаку и называя его вымышленным именем, ибо не знал настоящего. — Как видишь, у нас время даром не пропало, хотя вчера был праздник.

— Ты готов к плаванию?

— Хоть к Леванту или Геркулесовым Столпам, как будет угодно сенату. Мы приготовились поставить паруса, едва солнце спряталось за вершины гор, и, хотя мо-

жет показаться, будто мы беспечны, известите нас только за час, и мы успеем обогнуть Лидо.

— В таком случае считай, что тебя известили.

— Синьор Родриго, вы доставляете товар на переполненный рынок! Мне уже сообщили, что сегодня ночью мы понадобится.

Подозрение, мелькнувшее в глазах браво, ускользнуло от внимания моряка, который придирчиво осматривал оснастку фелукки перед дальней дорогой.

— Ты прав, Стефано,— сказал браво.— Но иногда не вредно и повторить предупреждение. Быть наготове — первое дело в столь важных делах.

— Не хотите ли посмотреть сами, синьор Родриго? — спросил моряк, понизив голос.— Конечно, нельзя сравнить «Прекрасную соррентинку» с «Буцентавром», но ведь она только поменьше, а в остальном здесь ничуть не хуже, чем во Дворце Дожей. Раз моим пассажиром будет дама, «Прекрасная соррентинка» с особой готовностью выполнит свой долг!

— Хорошо. Если тебе известны даже такие подробности, ты, конечно, сделаешь все, чтобы с честью исполнить порученное...

— Да они мне и половины не сказали, синьор! — прервал его Стефано.— Уж очень не по душе мне тайнственность, с которой в Венеции ведут дела. Не раз случилось, что мы неделями стояли в каналах с трюмами, чистыми, как совесть монаха, когда вдруг приходил приказ сняться с якоря, имея на борту всего-навсего одного гонца, который залезал на свою койку, лишь только мы покидали порт, а выходил на берегу Далмации или где-нибудь среди Греческих островов.

— В таких случаях деньги тебе доставались легко!

— Черт возьми! Будь у меня в Венеции надежный друг и помощник, я нагрузил бы фелукку такими товарами, которые на другом берегу принесли мне доход! Какое дело сенату,— ведь я ему преданно служу,— если заодно я выполню свой долг перед славной женщиной и тремя смуглыми ребятишками, оставшимися дома, в Калабрии?

— Все это верно, Стефано. Но сам знаешь, сенат — хозяин суровый. Дела такого рода требуют осторожности.

— Никто не знает этого лучше меня, потому что, помнишь, когда того торговца высылали из города со всем

его скарбом, мне пришлось выкинуть в море несколько бочонков, чтобы освободить место для его хлама! Сенат обязан вознаградить меня за эту потерю, не так ли, синьор Родриго?

— Ты, видно, не прочь возместить ее сегодня ночью?

— Дева Мария! Может быть, вы и есть сам дож, синьор,— я ведь о вас ничего не знаю! Но готов поклясться перед алтарем, за вашу проницательность вас бы следовало сделать по крайней мере сенатором. Если у синьоры окажется не слишком много пожитков, а у меня хватит времени, я смогу порадовать жителей Далмации кое-какими товарами из краев, лежащих по ту сторону Геркулесовых Столпов.

— Ты же знаешь, какое дело тебе предстоит, вот и суди сам, можно ли тут еще заработать.

— Святой Януарий, открой мне глаза! Мне ни слова больше не сказали, кроме того, что молоденькая особа, в которой очень заинтересован сенат, покинет сегодня ночью город и направится к восточному берегу. Я был бы счастлив услышать от вас, если это не обременит вашу совесть, синьор Родриго, кто будет сопровождать эту синьору.

— Все узнаешь, когда придет время. А пока советую тебе держать язык за зубами, потому что Святой Марк не шутит с теми, кто его задевает. Рад видеть, что ты готов к отплытию, достойный капитан, желаю тебе доброй ночи и удачного плавания. А теперь вверяю тебя твоему господину... Да, погоди, я хотел бы знать, когда поднимется попутный береговой ветер.

— В делах вы точны, как компас, синьор, но не очень снисходительны к своим друзьям. Сегодня был очень жаркий день, и потому ветер с Альп подует не раньше полуночи.

— Хорошо! Смотри же, я не спущу с тебя глаз. Еще раз — прощай!

— Черт возьми! Ты ведь ничего не сказал про груз!

— Он будет скорее ценным, чем тяжелым! — небрежно бросил Якопо, отводя гондолу от фелукки.

Послышался плеск весла, и, в то время как Стефано, стоя на палубе, обдумывал, как бы извлечь из всего этого побольше выгоды, гондола легко и быстро понеслась к набережной.

Путь коварства извилист подобно следам хитрой лисицы. Поэтому часто бывают сбиты с толку не только те,

кому предназначалось стать его жертвой, но и те, кто пользуется такими ухищрениями. Расставаясь с доном Камилло, Якопо понял, что ему придется применить все средства, какие подскажут ему природная сообразительность и навык, чтобы узнать, как собирается Совет распорядиться судьбой донны Виолетты. Они простились на Лидо, и, так как лишь Якопо знал об этой беседе, и никто бы, вероятно, не догадывался об их недавно заключенном союзе, браво взялся за свои новые обязанности с некоторой надеждой на успех, чего в ином случае могло бы и не быть. Чтобы избежать огласки, сенат имел обыкновение менять своих доверенных лиц в особо важных делах. Якопо являлся частым посредником в переговорах между сенатом и моряком, который, как это ясно теперь, нередко осуществлял тайные и, возможно, справедливые поручения республики; но никогда еще не бывало, чтобы сенат находил нужным вовлечь в такое дело еще одного посредника. Якопо приказали повидать капитана и предупредить, чтобы тот готовился к немедленному отплытию, но после допроса Антонио Совет больше не прибегал к услугам браво. Чтобы сделать донну Виолетту недосыгаемой для сторонников дона Камилло, сенат счел необходимым принять и эту меру предосторожности. Потому, вступая на путь исполнения своих новых и важных обязанностей, Якопо очутился в трудном положении.

То, что плутующий легко может перехитрить самого себя, вошло в поговорку, и история Якопо и служителей Совета еще раз подтверждает эту истину. Браво обратил внимание на странное молчание тех, кто обычно прибегал к его услугам в подобных делах, а вид фелукки, которую он рассмотрел, бродя вдоль набережной, дал новое направление его мыслям. О том, как подкрепил его соображения расчетливый калабриец, мы только что рассказали.

Выйдя на берег, Якопо привязал лодку и поспешил вернуться на Бролио. К тому времени маски и праздношатающиеся заполнили площадь. Патриции уже покинули ее: одни для того, чтобы предаться всякого рода развлечениям, другие ради осуществления им одним ведомых таинственных замыслов, которые они стремились всячески поддержать; все они предпочитали укрыться от взоров простого люда в час обычного веселья, который уж наступил.

Казалось, Якопо уже получил указания, ибо, убедившись, что дон Камилло ушел, он стал пробираться в толпе, как человек, имеющий определенную цель. К этому времени площади уже заполнились людьми, и по меньшей мере половина тех, кто явился провести здесь часы веселья, были в масках. Проходя Пьяцетту неторопливым, уверенным шагом, Якопо пристально оглядывал фигуры встречных и старался рассмотреть их лица. Так он проследовал до того места, где сливались обе площади, когда кто-то легонько тронул его за локоть.

Якопо не имел обыкновения разговаривать на площади Святого Марка, особенно в такой час. На его вопросительный взгляд человек знаком попросил его следовать за собой. Он был в костюме домино, полностью скрывавшем фигуру и не оставлявшем никакой возможности определить, кто скрылся под таким нарядом. Заметив, однако, что его приглашают отойти туда, где меньше народу, браво кивнул в знак согласия. Как только они выбрались из толпы и оказались в таком месте, где никто не мог подслушать их разговор, незнакомец остановился. Он чрезвычайно внимательно оглядел изпод маски фигуру и одежду Якопо и, закончив осмотр, удовлетворенно кивнул. Якопо также осмотрел его, не проронив ни слова.

— Праведный Даниил! — воскликнул наконец незнакомец, поняв, что от спутника не дождешься и слова. — Можно подумать, благородный синьор, будто ваш духовник наложил на вас епитимью молчания, раз вы отказываетесь говорить со своим слугой.

— Что тебе надо?

— Меня послали на Пьяццу, чтобы в толпе гондольеров, ремесленников, слуг и прочего люда, который украшает эту страну, найти наследника одного из самых древних и знатных домов Венеции.

— Откуда ты знаешь, что я тот, кого ты ищешь?

— Синьор, есть много примет, ускользающих от невнимательного взора, которые увидит человек искушенный. И, когда юные вельможи прогуливаются в толпе людей, укрывшихся под великолепными масками, как в случае с одним патрицием этой республики, их всегда отличишь если не по голосу, то по осанке.

— Ну и хитрец же ты, Осия! Впрочем, твое хитроумие тебя и кормит.

— В этом наша единственная защита от всех несправедливостей, синьор. Повсюду нас гонят, словно волков, и неудивительно, если иногда нам приходится проявлять волчью ярость. Но зачем это я рассказываю про обиды своего народа тому, кто считает жизнь пышным маскарадом?

— Ладно, к делу. Я не помню, чтобы был тебе должен, и у меня нет невыкупленных заложников.

— Праведный Самуил! Блистательная молодежь не всегда помнит минувшие дни, синьор, иначе вы не произносили бы таких слов. Я не виноват, что вы, ваше сиятельство, склонны позабыть о своих заложниках. Но нет дельца на всем Риальто, который не подтвердил бы наши счета, возросшие уже до значительной суммы.

— Ну, положим, ты прав. Так неужели ты станешь вымогать у меня деньги на виду у всей этой толпы, зная, с кем имеешь дело?

— Я бы ни за что не решился позорить такого знатного патриция, синьор, и поэтому не будем больше говорить об этом, считая, что, когда потребуются, вы не станете отказываться от своей подписи и печати.

— Мне нравится твое благоразумие, Осия. Вот залог тому, что ты пришел ко мне по делу, менее неприятному, чем обычно. Но я спешу. Говори скорее, зачем ты меня звал.

Осия, исподтишка внимательно оглядевшись кругом, приблизился к мнимому патрицию и продолжал:

— Синьор, вашей семье грозит большая потеря! Вы уже знаете, что сенат неожиданно освободил вашего отца, знатного и преданного государству сенатора, от должности опекуна донны Виолетты?

Якопо слегка вздрогнул, но это было вполне естественно для огорченного влюбленного и скорее соответствовало взятой им роли, чем разоблачало его.

— Успокойтесь, синьор,— продолжал Осия,— все мы в юности переживаем подобные разочарования, это я знаю по собственному тяжкому опыту. Как в торговле, так и в любви трудно предугадать успех. В таких делах много значит золото, и оно, как правило, выигрывает. Но опасность потерять девицу, которую вы любите, и все ее состояние гораздо больше, чем вы полагаете, ибо меня только затем и послали, чтобы предупредить вас, что ее вот-вот увезут из города.

— Куда? — поспешно спросил Якопо, что вполне отвечало особенностям его роли.

— Вот это-то и надо узнать, синьор! Ваш отец — проницательный сенатор, обычно ему хорошо известны все государственные тайны. Но на сей раз он так неуверен, что, видно, ничего как следует не знает и лишь строит предположения. Праведный Даниил! А ведь когда-то я предполагал, будто этот достойный патриций член Совета Трех!

— Он из древнего рода, и его права никем не оспариваются. Так почему же ему и не быть членом Совета?

— Я ничего не имею против того, синьор. Это мудрое учреждение, оно творит добро и противодействует злу. На Риальто, где люди больше заняты своими доходами, чем пустыми словами о действиях правителей, никто не говорит худо о Тайном Совете. Но, синьор, независимо от того, состоит ли он членом Совета или сената, он намекнул на то, что нам грозит опасность потерять...

— Нам? Уж никак и ты помышляешь о донне Виолетте!

— К чему мне эта девица, синьор, у меня есть жена. Я говорю во множественном числе, потому что в таком браке заинтересован не только род Градениго, но и некоторые дельцы Риальто.

— Понимаю. Ты опасаясь за свои деньги.

— Если б я был из пугливых, я не давал бы займы с такой готовностью. Но, хотя состояния, какое вы унаследуете от отца, хватит, чтобы выплатить любую ссуду, богатство покойного синьора Тьеполо только укрепит ваши гарантии.

— Признаю твою прозорливость и понимаю важность твоего предупреждения. Но все-таки мне кажется, что у тебя нет иных оснований, кроме боязни за свои деньги.

— Не забудьте и некоторые намеки вашего достойного родителя, синьор.

— Разве он говорил что-нибудь еще?

— Он говорил загадками, синьор, но ему внимало ухо человека, умудренного жизнью, и слова его не пропали даром. Богатую наследницу собираются увезти из Венеции, в этом я уверен; а так как тут затронуты и мои собственные интересы, я не пожалел бы лучшей бирюзы из своей лавки, чтобы узнать куда.

— Точно ли ты знаешь, что ее увезут сегодня в ночь?

— Ручаться не могу, но я почти что уверен в том.

— Довольно! Я позабочусь о своих и твоих интересах.

Якопо махнул на прощанье рукой и продолжил свой путь по Пьяцце.

— Если б я сам побольше заботился о своих интересах,— прошептал ювелир,— как надлежит делать всякому, кто связан с этой проклятой знатью, мне было бы все равно, выходи девица хоть за турка!

— Осия! — шепнул вдруг кто-то в маске ему на ухо.— Два слова по секрету.

Ювелир вздрогнул — поглощенный мыслью о недавней встрече, он даже не заметил, как к нему подошел человек. Незнакомец был тоже одет в домино, совершенно скрывавшее его фигуру.

— Что тебе нужно, синьор маска? — спросил осторожный ювелир.

— Сказать два слова по секрету. Ты можешь дать деньги под проценты?

— Это лучше спросить у государственного казначея! У меня много камней, которые стоят гораздо меньше, чем весят. Я с удовольствием отдал бы их на хранение кому-нибудь, кто счастливее меня и сможет их уберечь.

— Нет, это мне не подходит. Известно, что у тебя полно денег. Такие дельцы, как ты, никогда не откажут в ссуде, гарантии которой так же прочны, как законы Венеции! Тебе не в диковинку ссудить и тысячу дукатов.

— Те, кто называет меня богачом, синьор маска, любят подшучивать над бедным сыном несчастного народа. Я не испытываю очень уж большой нужды, это правда, но ссуда в тысячу дукатов мне не по плечу. Если б вы захотели купить аметист или рубин, благородный синьор, может быть, мы и заключили бы с вами сделку.

— Мне нужны деньги, старик, а драгоценности я и сам могу тебе уступить! И деньги нужны немедленно, сейчас же, а на разговоры у меня нет времени! Говори свои условия.

— Вы так настойчивы, синьор, что у вас, по-видимому, надежные гарантии?

— Я уже сказал, что мои гарантии не менее прочны, чем законы Венеции. Итак, тысячу цехинов, и побыстрее! А насчет процентов — посоветуйся со своей совестью.

Осия решил, что теперь для сделки сложились более подходящие условия, и стал серьезно слушать незнакомца.

— Синьор,— сказал наконец ювелир,— тысяча дука-
тов не валяются на площади. Прежде чем одолжить их,
необходимо долго и терпеливо их зарабатывать. А тот,
кто хочет их занять...

— ...стоит подле тебя!

— ...должен быть хорошо известен на Риальто.

— Под солидный залог ты ссужаешь деньги и мас-
кам, осторожный Осия! Или молва преувеличивает твою
великодушность?

— Достаточный залог рассеивает мои сомнения, да-
же если клиент известен мне не более, нежели член Со-
вета Трех. Но в данном случае я не вижу ничего похо-
жего. Приходите ко мне завтра в маске или без нее, как
вам больше нравится, потому что я не имею обыкнове-
ния совать нос в чужие тайны больше, чем того требуют
мои собственные интересы, и я пошарю в сундуках, хо-
тя они могут оказаться такими же пустыми, как сунду-
ки наследников некоторых венецианцев.

— Мои дела не терпят отлагательства! У тебя есть
деньги при себе? Я согласен на любые проценты.

— Я мог бы собрать нужную сумму у моих знако-
мых под залог драгоценных камней. Но тот, кто обратит-
ся к ним с такой просьбой, должен обеспечить выплату.

— Значит, можно получить деньги? В этом я могу
быть уверен?

Осия колебался, потому что все его старания угадать,
кто скрывается под маской, оказались тщетными, и если
он считал благоприятным знаком уверенный тон незна-
комца, то нетерпение, с каким тот требовал денег, не-
вольно настораживало ростовщика.

— Повторяю: с помощью моих друзей,— промолвил
осторожно Осия.

— Такая неопределенность мне не подходит! Про-
щай, Осия, поищу где-нибудь еще.

— Если б вам предстояло уплатить эти деньги за
брачную церемонию, вы и то, наверно, спешили бы не
больше! Надеюсь, два моих друга сейчас дома, и часть
денег окажется в моих руках.

— Я не могу полагаться на такую случайность.

— Вы ошибаетесь, синьор, риск очень невелик, ибо
один из них прикован к постели, а второй не пропускает
дня, чтоб не навестить его.

— Никакая случайность не должна грозить нашему
договору. Деньги под залог и твоя совесть — как третьей-

ский судья! Я не хочу вступать в сомнительные сделки, за которыми последует отказ под предлогом того, что другие стороны не удовлетворены.

— Праведный Даниил! Чтоб услужить вам, я, пожалуй, рискну! Один известный ювелир — Леви из Ливорно — оставил мне кошелек как раз с нужной вам суммой; на указанных условиях я могу воспользоваться этими деньгами и вернуть их ему спустя некоторое время.

— Очень благодарен тебе, Осия, — произнес незнакомец, слегка приподняв и тут же опустив маску. — Это существенно сократит наши переговоры. Деньги того ювелира у тебя с собой?

Осия остолбенел. Приподнятая маска раскрыла ему две истины: во-первых, он доверил свои сомнения насчет намерений сената по отношению к донне Виолетте какому-то незнакомцу, и, во-вторых, откровенно признав, что располагает необходимой суммой, лишился единственного предлога, под которым ему удалось бы отказать в деньгах Джакомо Градениго.

— Надеюсь, узнав во мне старого клиента, ты не станешь расстраивать нашу сделку, Осия? — спросил беспутный наследник сенатора, почти не скрывая насмешки.

— Отец Авраам! Да знай я, что передо мной синьор Джакомо, давно уже закончили бы наши переговоры!

— Ну конечно, ты сразу сказал бы, что у тебя нет денег, как ты частенько делаешь в последнее время.

— Нет, нет, синьор, я никогда не отрекаюсь от своих слов! Но я не должен забывать свое обещание, данное Леви. Осторожный ювелир взял с меня клятву, что я дам его деньги только тому, кто вернет их наверняка.

— Он может быть совершенно спокоен: ведь это ты занял у него деньги, чтобы одолжить их мне!

— Синьор, вы ставите мою совесть в неловкое положение. Вы должны мне теперь около шести тысяч цехинов, и если б я поверил вам эти деньги на слово, а вы потом вернули бы их мне — два предположения явно несбыточных, — то естественная забота о собственном благополучии могла бы заставить меня подать векселя ко взысканию и тем самым подвергнуть опасности состояние Леви.

— Сговаривайся со своей совестью как хочешь, Осия. Ты признался, что деньги у тебя есть, и вот тебе в залог драгоценности, а мне давай цехины!

Возможно, тон молодого Градениго не тронул бы каменное сердце ювелира, ибо ему были присущи все недостатки людей, осуждаемых общественным мнением; но, когда, оправившись от изумления, старик стал объяснять патрицию свои опасения по поводу участи донны Виолетты (брак которой был известен лишь его свидетелям и членам Совета Трех), он, к своей величайшей радости, обнаружил, что деньги требовались Джакомо именно для того, чтобы увезти девушку в какое-нибудь тайное убежище. Все дело предстало теперь в ином свете. Так как драгоценности, предложенные в залог, стояли требуемой суммы да к тому же появилась некоторая надежда, что благодаря римским владениям донны Виолетты он сможет взыскать с Джакомо старые долги, Осия счел даже выгодным ссудить молодому патрицию деньги, якобы принадлежащие Леви. Как только оба поняли друг друга, они вместе покинули площадь, чтобы завершить свою сделку.

Глава XXI

За Кедом мы пойдем! Пойдем за Кедом!
Шекспир. «Генрих VI».

Ночь тянулась медленно. Музыка вновь нарушила хрупкую тишину города, и гондолы патрициев заскользили по каналам. Робкий взмах руки из кабины приветствовал встречную лодку, но в этом городе тайн и подозрений редко кто задерживался, чтобы побеседовать. Настороженность настолько вошла в плоть и кровь венецианцев, что они не решались даже открыто наслаждаться вечерней прохладой.

Среди легких, пестрых лодок патрициев на Большом канале появилась гондола гораздо большего размера, но весьма непритязательная на вид, и это показывало, что она предназначена для обычных нужд. Лодка двигалась медленно, словно гондольеры были утомлены или просто никуда не спешили. Рулевой искусно направлял лодку одной рукой, а три гребца время от времени лениво касались веслами воды.

Словом, о гондоле можно было подумать, что она

возвращается с прогулки по Бренте¹ или с каких-нибудь дальних островов.

Неожиданно гондола свернула с середины канала, по которому скорее скользила, чем плыла, и помчалась по одной из пустынных протоков. С этой минуты она шла быстро и вскоре очутилась в самом бедном квартале Венеции. Там она остановилась у какого-то склада, и один из гребцов поднялся на мост; остальные гондольеры развалились на скамьях лодки, словно отдыхая.

Пройдя через мост, гребец миновал несколько узких переулков, каких много в тесном городе, и тихонько постучал в окно, которое вскоре отворилось. Женский голос спросил:

— Кто там?

— Это я, Аннина,— ответил Джино, бывший здесь частым гостем.— Открывай скорей, у меня спешное дело.

Аннина провиновалась, убедившись, что Джино один.

— Ты пришел некстати, Джино,— сказала дочь виноторговца.— Я только что собиралась пойти на площадь Святого Марка подышать вечерним воздухом. Отец и братья уже вышли, а я осталась проверить засовы.

— В их гондоле поместится четвертый?

— Они пошли пешком.

— А ты ходишь по улицам одна в такой час?

— Это тебя не касается,— раздраженно отвечала Аннина.— Хвала Святому Теодору, я еще не раба слуги неаполитанца!

— Неаполитанец — знатный и могущественный вельможа, Аннина, он сам добр к своим слугам и имеет право требовать почтения к ним.

— Ему еще понадобится его могущество. Но почему ты пришел сюда в такое неурочное время? Твои посещения мне вообще не очень-то приятны, а когда я занята другими делами, они и совсем ни к чему!

Если б гондольер и в самом деле любил Аннину, ее прямота могла бы глубоко огорчить его, но Джино выслушал ее с тем же равнодушием, с каким она говорила с ним.

— Я привык к твоим прихотям,— отозвался он, опускаясь на скамью и всем своим видом показывая, что во все не намерен уходить.— Наверно, какой-нибудь патриций послал тебе воздушный поцелуй, когда ты перехо-

¹ Б р е н т а — река, впадающая в Венецианский залив.

дила мост Святого Марка, или у отца твоего выдался удачный денек на Лидо, вот гордость тебя и распирает.

— Бог мой! Послушать этого молодца, можно подумать, будто между нами уж все договорено и он только и ждет в ризнице, когда зажгутся свечи и начнется венчание! Да кто ты мне, Джино Туллини, чтобы так разговаривать со мной?

— А кто ты такая, Аннина, что разыгрываешь жалкие шутки с поверенным дона Камилло?

— Убирайся отсюда, нечестивец! Некогда мне разговаривать с тобой!

— Ты что-то очень спешишь сегодня, Аннина.

— Хочу поскорей отвязаться от тебя! Выслушай меня, Джино, и запомни каждое слово, потому что больше ты от меня ничего не узнаешь. Песенка твоего хозяина спета, и скоро его с позором вышлют из Венеции, а заодно с ним и всех его ленивых слуг! Я же предпочитаю остаться в родном городе.

Гондольер с полным равнодушием рассмеялся над ее неуместным высокомерием. Но, вспомнив о своем деле, он тут же принял серьезный вид и попытался успокоить гнев своей ветреной подруги, почтительно обратившись к ней:

— Да защитит меня Святой Марк, Аннина! — сказал он. — Если нам и не суждено преклонить вместе колена перед алтарем, то почему бы не заключить выгодную сделку? Я привел сюда, в этот мрачный канал, к самым твоим дверям, полную гондолу такого сладкого выдержанного вина, каким даже отцу твоему редко приходилось торговать, а ты обращаешься со мной, как с собакой, которую гонят из церкви!

— У меня сегодня нет времени ни для тебя, ни для твоего вина, Джино! И если б ты меня не задержал здесь, я давно уж веселилась бы на свободе.

— Запри-ка ты дверь, милая, и не чинись со старым другом, — сказал гондольер, вставая, чтобы помочь ей.

Девушка поймала его на слове, и, весело принявшись за дело вдвоем, они скоро заперли все двери и очутились на улице. Их путь лежал через мост, о котором уже упоминалось. Джино показал на гондолу и сказал:

— Ну, не соблазнишься, Аннина?

— Твоя неосторожность когда-нибудь сослужит нам плохую службу — разве можно привозить торгующих запрещенным товаром так близко к нашему дому?

— Смелость устранил всякое подозрение.

— А каких виноградников вино?

— С подножия Везувия, и жар вулкана позолотил его кисти. Да если мои друзья продадут этот напиток старому Беппо, вашему врагу, твой отец станет проклинять этот час всю жизнь!

Аннина, всегда готовая заключить выгодную сделку, с живостью посмотрела в сторону гондолы. Большой балдахин был задернут, но воображение Аннины с готовностью подсказывало ей, что там полным-полно мехов с чудесным вином из Неаполя.

— Это твой последний приезд к нам, Джино?

— Как ты захочешь. Ну, спустись в гондолу, попробуй вино...

Аннину взяло сомнение, но, как обычно поступают, усомнившись, женщины, она согласилась. Они быстро подошли к лодке, и, не обращая внимания на гондольеров, растянувшихся на скамьях, Аннина сразу же скользнула под балдахин. Там, облокотясь на подушки, лежал пятый гондольер: оказалось, что гондола выглядела внутри как городская лодка и ничуть не походила на лодки контрабандистов.

— Не вижу ничего интересного для себя! — воскликнула разочарованная Аннина. — У вас какое-нибудь дело ко мне, синьор?

— Добро пожаловать! На сей раз мы не расстанемся так скоро.

Говоря это, незнакомец встал и положил руку на плечо Аннины; перед ней оказался дон Камилло Монфорте.

Аннина была слишком ловкой обманщицей, чтобы чем-нибудь проявить свой притворный или действительный испуг, которому так легко поддаются женщины. Овладев собой, хотя ноги ее дрожали, она сказала нарочито шутливым тоном:

— Я вижу, герцог Святой Агаты оказал честь незаконной торговле?

— Я здесь не для шуток, девушка, в чем ты сама сумеешь убедиться! Перед тобой выбор: откровенное признание или мой справедливый гнев.

Дон Камилло говорил спокойно, но голос и весь вид его не оставляли сомнений в его решимости.

— Какого признания ждет ваша светлость от дочери бедного виноторговца? — проговорила Аннина невольно дрогнувшим голосом.

— Хочу знать правду! И помни, теперь ты не уйдешь отсюда прежде, чем я ее узнаю. С венецианской властью я теперь не в ладах, и твое присутствие здесь — первый шаг к осуществлению моего замысла.

— Поступок довольно дерзкий для того, кто находится в Венеции, синьор герцог.

— За последствия отвечаю я сам. Тебе же остается только во всем признаться — это в твоих интересах.

— Не велика заслуга сделать то, что меня заставляют, и, если вам угодно узнать то немногое, во что я посвящена, буду счастлива рассказать вам это.

— Говори же, у нас мало времени.

— Синьор, не стану отрицать, что с вами поступили несправедливо. Как жестоко обошелся с вами Совет! Такое обращение со знатным иностранцем, который, как каждому известно, имеет право на звание сенатора, позорно для республики! Я несколько не удивлена, что ваша светлость не в большой дружбе с властями. Даже сам Святой Марк потерял бы терпение, если б к нему так отнеслись!

— Ну, хватит об этом, девушка, говори о деле!

— Все, что я скажу, синьор герцог, яснее самого солнца, и все это к вашим услугам. Только жаль, я так мало знаю и не могу доставить вашей светлости большого удовольствия.

— Это я уж слышал. Рассказывай главное.

Аннина, как и большинство итальянок ее сословия, посвященных в городские интриги, была весьма словоохотлива; теперь же, улучив мгновение, она глянула в окошко и увидела, что гондола уже выбралась из каналов и легко скользила по лагунам. Поняв, что она полностью во власти дона Камилло, Аннина решила говорить более откровенно.

— Герцог Святой Агаты, наверное, знает, что Совет сумел раскрыть его намерение бежать из города вместе с донной Виолеттой?

— Это мне известно.

— Почему Совет именно меня сделал служанкой благородной синьоры, я не в силах объяснить. Боже мой! Когда правительство хочет разъединить двух влюбленных, оно не должно поручать это таким людям, как я!

— Я был терпелив с тобой, Аннина, ибо ждал, когда гондола выйдет за пределы города; теперь же настало

время отбросить всякие недомолвки и говорить ясно. Где ты оставила мою супругу?

— Неужели ваша светлость надеется, что Совет сочтет этот брак законным?

— Отвечай мне, девушка, или я заставлю тебя сделать это! Где ты оставила мою супругу?

— Святой Теодор! Я оказалась не нужна слугам республики, и они высадили меня на первом же мосту.

— Напрасно ты надеешься обмануть меня! Мне известно, что ты была на лагунах до самого вечера, а на закате солнца заходила в тюрьму Святого Марка. И все это после того, как ты оставила лодку донны Виолетты.

В удивлении Аннины не было и тени притворства:

— Пресвятая дева Мария! Вам служат гораздо лучше, чем полагает Совет!

— Ты убедишься в этом сама, если не скажешь всей правды. Из какого монастыря ты вернулась?

— Я не была в монастыре, синьор! Если ваша светлость обнаружили, что сенат для большей безопасности заключил синьору Тьеполо в тюрьму Святого Марка, так то не моя вина.

— Твои хитросплетения напрасны, Аннина,— спокойно заметил дон Камилло.— Ты ходила в тюрьму к своей сестре Джельсомине, дочери тюремщика, чтобы взять у нее сверток с запрещенным товаром, который давно оставила у этой девушки, не подозревавшей, какую просьбу она выполняла, и чьей неискренности ты уж не раз успешно пользовалась. Донна Виолетта не какая-нибудь преступница, чтобы заключать ее в тюрьму!

— Пресвятая мать божья! — воскликнула пораженная Аннина.

— Теперь ты видишь, тебе не удастся обмануть меня. Я слишком хорошо знаю все твои поступки, чтобы ты могла сбить меня с толку. Ты редко навещаешь Джельсомину, но, возвращаясь по каналам в тот вечер...

Тут вблизи гондолы раздались крики, и дон Камилло умолк. Глянув в окно, он увидел множество лодок, мчавшихся по направлению к городу, словно их приводили в движение одни и те же весла. Звучали разом тысячи голосов, и иногда взлетающий над ними скорбный выкрик позволял понять, что флотилия движима одним общим чувством. Пораженный этим зрелищем и озабоченный тем, что его гондола находится как раз на пути сле-

дования нескольких сотен лодок, дон Камилло на мгновение забыл об Аннине.

— Что здесь происходит, Якопо? — негромко спросил он рулевого.

— Это рыбаки, синьор, и, судя по всему, они что-то затевают. С тех пор как дож отказался освободить от галер внука одного из рыбаков, они все время беспокойны.

Гондольеры дона Камилло из любопытства замедлили было ход, но тут же поняли, что необходимо собрать все силы и свернуть с пути движущейся массы рыбацких лодок, мчавшейся к ним, как неотвратимый поток, ибо люди на них орудовали веслами с тем неистовством, какое часто можно видеть у итальянских гребцов. Угрожающий окрик и приказ не двигаться с места убедили дона Камилло в необходимости бежать или подчиниться. Он избрал последнее, так как это меньше всего могло нарушить его собственные намерения.

— Кто вы? — спросил один из рыбаков, принявший на себя роль предводителя. — Если вы жители лагун и христиане, присоединяйтесь к вашим друзьям и идите с нами на площадь Святого Марка требовать справедливости!

— Чем вы так взволнованы? — спросил дон Камилло; для большей безопасности он говорил на венецианском диалекте, хотя одежда гондольера надежно скрывала его высокое положение. — Зачем вы здесь, друзья?

— Смотри же сам!

Дон Камилло обернулся и увидел восковое лицо и застывший взгляд мертвого Антонио. И тут сотни людей заговорили разом, сопровождая свои слова такими яростными проклятиями и угрозами, что, не будь дон Камилло подготовлен к этому словами Якопо, он ничего не понял бы.

Рыбаки, промышлявшие на лагунах, нашли там тело Антонио и, строя всевозможные предположения о причине его смерти, собрались все вместе и двинулись в путь, как описано в предыдущей сцене.

— Правосудия! — выкрикнули одновременно десятки возбужденных голосов, когда кто-то приподнял голову Антонио, чтобы луна осветила ее. — Правосудия во дворце, хлеба на площади!

— Просите у сената, — проговорил Якопо, даже не стараясь скрыть насмешку, звучащую в его словах.

— Ты думаешь, Антонио пострадал за свою вчерашнюю смелость?

— В Венеции случались вещи и более странные!

— Нам запрещают ловить рыбу в канале Орфано¹, чтобы мы не узнали тайн правосудия, а сами посмели утопить нашего товарища среди наших же гондол!

— Правосудия! Правосудия! — кричали хриплые голоса. — Идем на площадь Святого Марка! Положим тело Антонио к ногам дожа! Вперед, братья, кровь Антонио на их руках!

Охваченные гневом и несбыточным желанием явить миру свои страдания, рыбаки вновь бросились к веслам, и вся флотилия разом двинулась вперед.

Краткая остановка сопровождалась возгласами, угрозами и прочими действиями, которыми этот легко воспламеняющийся народ выражает обычно свое возмущение; все это произвело на Аннину сильное впечатление. Дон Камилло воспользовался ее замешательством и продолжил допрос, потому что откладывать его долее было невозможно.

Когда взволнованные рыбаки, оглашая окрестности громкими криками, ворвались в устье Большого канала, гондола дона Камилло уже удалялась прочь по широким и спокойным просторам лагун.

Глава XXII

Клиффорд, Клиффорд! Мы пойдем
За королем и Клиффордом!

Шекспир. «Генрих VI».

Спокойствие даже наилучшим образом организованного общества ежечасно может быть нарушено взрывом недовольства. Оградиться от таких бед так же невозможно, как и от мелких проступков; но, когда поток народного возмущения сотрясает устои власти, следует предположить, что какой-то глубокий порок кроется в самой системе правления. Народ лишь тогда добровольно подчинится правительству, когда оценит его заботу о себе; и нет более верного признака лицемерия и своекорыстия власти, чем то, что она страшится даже дыхания толпы. Ни одно государство не испытывало такого ужаса перед всякого рода внутренними волнениями.

¹ Венецианский канал, где нередко топили тела тайно казненных.

ми, как мнимая республика Венеция. Внутри ее показной, фальшивой системы власти шел непрекращающийся естественный процесс разложения, сдерживаемый только бдительностью аристократии и всякого рода уловками, какие она изобретала, чтобы не потерять власть.

Много говорилось о ее освященном веками образе правления и появившейся в результате этого уверенности в своей силе, но попытки себялюбия соперничать с истиной всегда тщетны. Из всех рассуждений, какими человек пытался прикрыть свои уловки, самым неверным оказывается то, что общественная система останется существовать навеки только потому, что она существует уже давно. Столь же благоразумно утверждать, будто у семидесятилетнего старца видов на жизнь не меньше, чем у пятнадцатилетнего отрока, или что смерть не является неизбежным уделом всего живого.

В то время, о котором идет речь, Венецианская республика столь же кичилась своей древностью, сколь и страшилась гибели. Она все еще оставалась сильна, но роковая ошибка ее методов правления заключалась в том, что их создавали ради интересов меньшинства, и нужен был лишь яркий свет, чтобы иллюзия их мощи исчезла, как то бывает с картонными крепостями и замками на театральной сцене.

Потому легко представить себе тревогу, с какой патриции вслушивались в крики рыбаков, когда те проплывали мимо их дворцов, направляясь к Пьяцце. Некоторые боялись, что неестественным условиям их существования настал конец, близость которого им давно подсказывало чутье государственных мужей, и теперь они пытались найти какие-либо надежные средства спасения. Другие слушали эти возгласы с восторгом, ибо привычка притупила их разум, они считали свое государство чуть ли не вечным и теперь воображали, будто Святой Марк одержал новую победу, ибо то, что республика давно уже вступила в стадию упадка, никогда не было ясно их вялым умам. И лишь те немногие, кому оставалось присуще все лучшее, ложно и дерзко приписываемое самой системе правления, чутьем понимали, как велика опасность, сознавая также, какие средства помогли бы избежать ее.

Сами бунтовщики не в силах были оценить ни свои силы, ни свои случайные преимущества. Они действова-

ли в состоянии крайнего возбуждения. Вчерашнее торжество их престарелого сотоварища, безжалостный отказ дожа вернуть с галер его внука и происшествие на Лидо, окончившееся смертью Антонио,— все это подготовило их возмущение. Поэтому, когда рыбаки обнаружили тело старика, они собрались среди лагуны и направились ко дворцу на площади Святого Марка, не ставя перед собой никаких определенных целей, движимые лишь чувством.

Войдя в канал, настолько узкий, что тесно сгрудившиеся лодки затрудняли работу гребцов, флотилия замедлила ход. Каждому хотелось оказаться поближе к телу Антонио, и, как это часто бывает во время больших сборищ, беспорядочное усердие людей мешало им самим. Раз или два рыбаки выкрикивали имена наиболее жестоких сенаторов, словно желая обвинить их в преступлениях, совершенных государством. Но эти возгласы тонули среди общего шума. Около моста Риальто большая часть рыбаков вышла из лодок и кратчайшим путем двинулась на площадь Святого Марка; остальные могли теперь двигаться свободней и быстрее. Приближаясь к порту, лодки выстроились одна за другой, и вереница их стала напоминать похоронную процессию.

Как раз в эту минуту из бокового протока стремительно вылетела на Большой канал и очутилась перед рыбацкими лодками, продолжавшими свой путь, хорошо оснащенная гондола. Команда ее, удивленная необычным зрелищем, открывшимся ее взорам, на мгновение замедлила ход, не зная, в какую сторону свернуть.

— Гондола республики! — закричали рыбаки.

— Не иначе как на канал Орфано! — добавил чей-то голос.

Одного лишь намека на страшное дело, которое могло быть возложено на команду гондолы, оказалось достаточно, чтобы возбудить ярость толпы. Раздались угрожающие крики, и десятка два лодок бросились в погоню; гондольерам республики оставалось лишь спасаться бегством. Они резко повернули к берегу и, выскочив на один из дощатых мостков, что окружают многие дворцы Венеции, скрылись в узкой улочке.

Ободренные успехом, рыбаки захватили лодку, брошенную беглецами, и, присоединив ее к своему флоту, огласили воздух победными возгласами. Несколько лю-

бопытных проникли в кабину гондолы, похожую на катафалк, и тут же вернулись, волоча с собой священника.

— Кто ты такой? — резко спросил его вожак рыбаков.

— Я монах-кармелит, слуга божий!

— Ты служишь Святому Марку? Ты был на канале Орфано, чтобы исповедовать какого-нибудь несчастного?

— Я приставлен здесь к молодой знатной даме, которой нужен мой совет и мои молитвы. Я забочусь о счастливых и несчастных, о свободных и узниках!

— А совесть в тебе еще осталась? Помолишься ты за упокой души человека бедного?

— Сын мой, будь то дож или последний нищий — в молитвах я не знаю разницы. Только я не хотел бы оставлять своих спутниц.

— Мы не причиним им зла! Ступай в мою лодку, нам нужна помощь священника.

Отец Ансельмо — читатель, вероятно, уже догадался, что это был он, — вернулся в кабину гондолы республики и, наскоро объяснив все происшедшее перепуганным женщинам, вновь вышел к рыбакам. Его переправили на гондолу, плывшую впереди всех, и показали тело Антонио.

— Ты видишь этот труп, падре? — продолжал его спутник. — Это был смелый человек.

— Да, это так.

— Он был самым старым и опытным рыбаком на лагунах, готовым всегда помочь товарищу в беде.

— Верю тебе.

— Можешь мне верить, потому что мои слова так же правдивы, как священное писание. Вчера он с честью проплыл по этому каналу, победив лучших гребцов Венеции.

— Я слышал о его успехе.

— Говорят, Якопо, который некогда был лучшим гребцом на каналах, тоже участвовал в гонках! Святая мадонна! Смерть должна была пощадить Антонио!

— Да, но такова судьба: богатые и бедные, сильные и слабые, счастливые и несчастные — всех ждет один конец.

— Но не такой конец, преподобный падре! Антонио, видно, оскорбил республику: он осмелился просить дожа освободить его внука от службы на галерах, и власти отослали старика в чистилище, даже не позаботившись о его душе.

— Но есть око, которое видит и самого последнего из нас. Будем верить, что старик не забыт.

— Говорят, те, кем недоволен сенат, не имеют помощи и от церкви. Докажи на деле свои слова и помолись за него, кармелит!

— Непременно, — твердо сказал отец Ансельмо. — Освободи мне место, сын мой, чтобы служба прошла как должно.

Загорелые, выразительные лица рыбаков осветились удовлетворением. Воцарилось безмолвие, и лодки двинулись вперед, уже соблюдая порядок. Теперь это было поразительное зрелище. Впереди плыла лодка с останками рыбака. На подступах к порту канал расширялся, и луч луны осветил застывшие черты Антонио, хранившие такое выражение, словно его предсмертные мысли были внезапно жестоко прерваны. Кармелит, откинув капюшон и сложив руки, стоял, склонив голову, в ногах Антонио, и белое одеяние монаха развевалось, освещенное луной. Гондолой правил лишь один человек, и, когда он медленно поднимал и опускал весло, в тишине слышался слабый плеск воды. Несколько минут длилось молчание, а затем кармелит дрожащим голосом начал молебен по умершему. Рыбаки, знавшие молитву, тихо вторили ему.

В домах, мимо которых проплывали лодки, одно за другим отворялись окна, и сотни испуганных и любопытных лиц провожали взглядом медленно удалявшийся кортеж. Пятьдесят легких лодок тянули гондолу республики — никто не хотел бросить этот трофей. Так флотилия торжественно вошла в порт и достигла набережной в конце Пьяцетты. В то время как множество рук с готовностью помогали вынести тело Антонио на берег, из Дворца Дожей раздались крики, возвестившие о том, что другая часть рыбаков уже проникла во внутренний двор его.

Площадь Святого Марка являла собой теперь необычную картину. Причудливый собор в восточном стиле, массивные и богатые строения, головокружительная высота Кампаниллы, гранитные колоннады, триумфальные мачты и прочие достопримечательности — свидетели празднеств, траура и веселья — возвышались кругом, словно неподвластные времени символы; наперекор всем страстям, разыгрывающимся ежедневно вокруг них, они казались величественными и прекрасными.

Но теперь песни, шум и шутки на площади стихли. Огни в кофейнях погасли, кутилы разбежались по домам, боясь, что их тоже примут за тех, кто дерзнул бросить вызов сенату, а шуты и уличные певцы, сбросив личину веселья, приобрели вид, более соответствующий истинному настроению их духа.

— Правосудия! — взывали тысячи голосов, когда тело Антонио внесли во внутренний двор Дворца Дожей. — Правосудия во дворце, хлеба на площади! Требуем правосудия! Мы просим справедливости!

Огромный мрачный двор заполняли рыбаки с обветренными лицами и горящими глазами. Труп Антонио положили у Лестницы Гигантов. Дрожащий алебарщик с трудом сохранял неприступный вид, коего требовали от него дисциплина и сословная гордость. Но никакой другой вооруженной силы не было видно, ибо правители Венеции хорошо понимали, что опасно вызвать недовольство, если они не в силах его подавить. Толпа состояла из безымянных бунтарей, наказание которых могло неминуемо вызвать общее возмущение, к подавлению которого власти оказались не подготовлены.

Совет Трех известили о появлении мятежных рыбаков. Когда толпа заполняла двор, сенаторы уже тайно совещались о том, нет ли у этого мятежа более важных и опасных целей, чем те, о которых можно судить по его внешним признакам. Законы страны еще не лишили уже знакомых читателю сенаторов их страшной деспотической власти.

— Известили далматинскую гвардию о мятеже? — спросил один из членов Совета, чье явно испуганное лицо никак не соответствовало его высокой должности. — Возможно, ей придется открыть огонь, чтобы разогнать восставших!

— Положитесь в этом на городские власти, синьор, — отвечал сенатор Градениго. — Боюсь только, как бы здесь не было тайного заговора, который, возможно, поколебал верность войск.

— Да, пагубные страсти людей не имеют предела! Чего не хватает этим негодяям? Для государства, клонящегося к упадку, положение Венеции в высшей степени благополучно! Наш флот укрепляется, ростовщики получают большую прибыль, и я уверяю вас, господа, государство много лет не знало такого процветания, как теперь! Но не могут же все жить одинаково хорошо!

— Ваше счастье, синьор, что дела у вас идут прекрасно; но есть множество таких, кому повезло куда меньше! Наша форма правления до некоторой степени необычна, и за все ее преимущества мы вынуждены платить тем, что постоянно подвергаемся грозным и тяжким обвинениям за всякие удары судьбы, выпадающие на долю республики.

— Что еще нужно этим нетерпеливым людям? Разве они не свободны, разве не счастливы?

— Похоже, они хотят более веских доказательств этому, чем просто наши слова или чувства.

— Человек — воплощение зависти! Бедный хочет стать богатым, слабый — могущественным.

— Есть, по крайней мере, одно исключение из вашего правила, синьор: богатый редко хочет стать бедным или сильный — слабым.

— Вы сегодня смеетесь надо мной, синьор Градениго! Я полагаю, что говорю, как пристало сенатору Венеции, и вам следовало бы уже привыкнуть к подобным беседам.

— Вы правы, наша беседа весьма обычна. Но я сомневаюсь, чтобы суровый и требовательный дух наших законов соответствовал нашему шаткому положению. Когда государство процветает, подданные не обращают внимания на всякого рода мелкие неудобства, а вот торговец, у которого плохи дела, — самый придирчивый критик законов.

— Вот их благодарность! Разве не обратили мы эти грязные острова в средоточие торговли, куда стремится половина всего христианского мира? А теперь они недовольны тем, что не могут удержать в своих руках преимуществ, завоеванных благодаря мудрости наших предков.

— Их жалобы, синьор, во многом похожи на ваши... Но вы правы в том, что к этому мятежу нам следует отнестись внимательно. Пойдемте к дожу; ему нужно показаться народу вместе с теми патрициями, кто окажется поблизости, и пусть один из нас тоже сопровождает его как свидетель происходящего. Большее число может выдать наши намерения.

Тайный Совет удалился, чтобы исполнить свое решение, как раз в ту минуту, когда на лодках прибыли остальные рыбаки.

Никакое сколько-нибудь организованное сообщество



людей не так чувствительно к увеличению своей численности, как толпа. Лишенная упорядоченности, она движима лишь слепым, неразумным чувством, и все ее действия направляются одной только грубой силой. Наиболее храбрые стали еще отважней, заметив, какое множество людей собралось внутри дворца, а сомневавшиеся отбросили всякую нерешительность.

Толпа, собравшаяся во дворе, шумела особенно громко и угрожающе, когда дож и сопровождавшая его свита появились в конце открытой галереи первого этажа дворца. Но присутствие почтенного человека, пусть обладавшего лишь видимостью верховной власти в этом бутафорском государстве, и воспитанное поколениями почтение к правительству, несмотря на мятежный дух толпы, заставили ее внезапно умолкнуть, и воцарилась полная тишина. На обветренных лицах рыбаков, наблюдавших, как к ним приближается небольшая процессия, постепенно проступало чувство благоговения. В наступившем безмолвии слышался даже шелест одежд дожа, шедшего медленно отчасти по причине старческих недугов, а также потому, что того требовал церемониал.

— Зачем собрались вы здесь, дети мои? — спросил дож, подойдя к Лестнице Гигантов. — Почему вы пришли во дворец вашего правителя с такими неуместными криками?

Дрожащий голос старого дожа отчетливо разносился в глубокой тишине. Рыбаки начали переглядываться, словно ища того, кто осмелился бы ответить. Наконец кто-то, кого трудно было разглядеть в толпе, крикнул:

— Правосудия!

— Такова наша цель, — мягко произнес дож, — и, добавлю, таковы наши действия. Зачем собрались вы здесь с таким угрожающим видом, без всякого почтения к вашему правителю?

Снова все молчали. Единственный из них, сумевший ненадолго вырваться из оков привычек и предрассудков, лежал теперь мертвым на нижних ступенях Лестницы Гигантов.

— Что же все молчат? Вы говорите разом, когда вас не спрашивают, но немеете, едва с вами заговорят.

— Будьте с ними ласковее, ваша светлость, — шепнул дожу один из свиты, кто был послан свидетелем от Тайного Совета. — Далматинцы вряд ли успели пригото-

Дождь кивнул в знак согласия, он знал, с кем соглашаться, и продолжал:

— Если никто из вас не изложит ваши просьбы, я буду вынужден просить вас удалиться, и, хотя мое отеческое сердце скорбит...

— Правосудия! — снова раздался голос из толпы.

— Говорите же, чего вы хотите!

— Благоволите взглянуть сюда, ваша светлость!

Один рыбак посмелее повернул тело Антонио так, чтобы лунный свет падал на бледное лицо мертвеца, и указал на него дождю. Тот вздрогнул при виде столь неожиданного зрелища и, медленно спустившись в сопровождении свиты и стражи, остановился возле тела.

— Неужели это дело рук убийцы? — перекрестившись, спросил дождь. — Какая корысть браво от смерти этого человека? Или, быть может, несчастный погиб во время ссоры с кем-нибудь из своих?

— Ни то, ни другое, великий дождь! Мы боимся, что Антонио пал жертвой гнева Святого Марка.

— Так это Антонио! Тот дерзкий рыбак, кто пытался во время гонок учить нас управлять государством?

— Да, ваше высочество, это он, — отвечал рыбак с лагун. — Не было на Лидо лучшего рыбака и лучшего товарища!

— Такого весельчака, каким был Антонио, еще поискать! — выкрикнул чей-то голос. — И в горе он оставался сдержанней других!

Дождь начал подозревать истину и бросил быстрый взгляд на стоявшего неподалеку члена Совета.

— Выяснить достоинства этого несчастного много легче, чем причину его гибели, — промолвил дождь, не найдя ответа на изборожденном морщинами лице сенатора. — Может ли кто-нибудь из вас объяснить мне, в чем дело? Как умер этот старец?

Тот рыбак, что начал разговор с дождем, охотно взял на себя эту миссию и стал сбивчиво и несвязно рассказывать, при каких обстоятельствах нашли тело Антонио. Когда он кончил, дождь снова вопросительно глянул на сенатора, стоявшего рядом, ибо самому дождю не было известно, какая цель преследовалась властями — примерное наказание или тайное устранение неугодного.

— Не вижу тут ничего странного, — заметил член Тайного Совета. — Эта смерть, вполне естественная для

рыбака. Видно, со стариком произошло несчастье, и следовало бы отслужить мессу за упокой его души.

— Благородный сенатор,— с сомнением в голосе воскликнул рыбак,— ведь Святой Марк оскорблен!

— В народе говорят много пустого об обидах и радостях Святого Марка! Но уж если верить всему, что могут выдумать люди, то в таких случаях преступников топят не в лагунах, а в канале Орфано.

— Это верно, ваша светлость, и нам запретили забрасывать туда сети под страхом отправиться самим на дно к угрям.

— Тем более очевидно, что со стариком случилось несчастье. Есть ли на его теле знаки насилия? Государство вряд ли станет заниматься такими людьми, как он, но, может быть, у кого-либо другого были на то свои причины. Вы осмотрели тело?

— Ваша светлость, такого старика стоило только бросить в воды лагуны, и уж никакая, даже самая сильная рука не смогла бы спасти его от смерти.

— Возможно, убийство совершено во время ссоры, и власти должны внимательно отнестись к этому делу. Я вижу, здесь присутствует даже кармелит. Вам что-нибудь известно, падре?

Монах хотел было ответить, но голос его сорвался. Как безумный озирался он по сторонам, ибо вся эта сцена напоминала кошмарное видение; затем, скрестив на груди руки, монах, казалось, продолжал свою молитву.

— Ты молчишь, монах? — заметил дож, который, как и все его сопровождавшие, был обманут спокойным и равнодушным видом члена Совета.— Где ты нашел тело старика?

Отец Ансельмо в нескольких словах поведал, при каких обстоятельствах он вынужден был подчиниться требованиям рыбаков.

Рядом с дожем находился молодой патриций — отпрыск старинного рода, не несший в то время, впрочем, никакой службы. Обманутый, как и остальные, поведением того, кому лишь и была известна истинная причина гибели Антонио, он загорелся вполне естественным и похвальным желанием увериться в том, что рыбак не стал жертвой преступления.

— Я слышал об этом Антонио и о его победе в гонках,— сказал молодой сенатор, носивший имя Соранцо,

наделенный от природы такими качествами, какие при другой форме правления сделали бы его сторонником свободы.— Говорили, кажется, что его соперником был браво Якопо.

По толпе прокатился глухой многозначительный ропот.

— Такой жестокий человек мог отомстить за свое поражение!

Усилившийся гул толпы показал, какое впечатление произвели его слова.

— Ваша светлость, Якопо обходится своим кинжалом,— заметил рыбак, уже наполовину веря, но все еще сомневаясь.

— Это уж зависит от необходимости. Человек, занимающийся таким ремеслом, прибегает к различным средствам, чтобы удовлетворить свою мстительность. Вы разделяете мое мнение, синьор?

Сенатор Соренцо совершенно искренне обратился с этим вопросом к члену Тайного Совета. Правдоподобие этого предположения явно ошеломило последнего, но он кивнул головой в знак согласия.

— Якопо! Якопо! — подхватили голоса в толпе.— Якопо убил его! Старый рыбак победил лучшего гондольера Венеции, и тот решил кровью смыть позор!

— Дети мои,— сказал дож, собираясь удалиться,— мы расследуем дело, и суд будет беспристрастен. Распорядитесь выдать деньги на мессу,— обратился он к своим приближенным,— чтобы душа страдальца упокоилась с миром. Преподобный кармелит, вверяю тебе останки старика, и ты сделаешь благое дело, проведя ночь в молитвах возле тела несчастного.

В знак одобрения этого милостивого повеления тысячи шапок взлетели вверх, и, пока дож, сопровождаемый свитой, удалялся по длинной сводчатой галерее, по которой пришел, толпа хранила почтительное молчание.

Тайный приказ Совета предотвратил появление далматинских гвардейцев.

Через несколько минут все было готово для проведения траурной церемонии. Из ближайшего собора доставили носилки, на которые положили тело. Отец Ансельмо возглавил шествие, и процессия с пением псалмов двинулась на площадь через главные ворота дворца. Пьяцетта и Пьяцца оставались еще пустынными.

Тем не менее за движением толпы отовсюду следили вездесущие тайные соглядатаи и даже просто горожане посмелее, не решавшиеся, однако, примкнуть к общему потоку.

А рыбаки уж и не помышляли о мятеже. С непостоянством людей, глухих к голосу рассудка, подверженных внезапным и бурным вспышкам чувств, чью природу государство себялюбцев подвергает постоянному угнетению — причина, по которой путь просвещения оказался закрыт для них, — рыбаки оставили помыслы о мщении и обратились к церковному обряду, льстившему теперь их самолюбию, ибо сам дож отдал приказ о свершении его.

Конечно, среди толпы нашлись и такие, кто к молитвам о душе покойного примешивал угрозы в адрес браво, но все это имело значение не большее, чем мелкие эпизоды в основном ходе драмы.

Двери главного портала старинной церкви были распахнуты, торжественное пение, разносившееся меж причудливых колонн под сводчатым потолком, слышалось и снаружи. Тело, вчера еще никому не ведомого Антонио, жертвы венецианской власти, внесли под арку, украшенную драгоценными реликвиями греческого искусства, и оставили в нефе собора. Всю ночь пред алтарем мерцали свечи, освещая бледное лицо покойного; величественная церемония католического обряда длилась до рассвета.

Священники сменяли друг друга, служа заупокойные мессы, и толпа со вниманием слушала их, словно и их собственные честь и достоинство оказались возвышены тем, что одному из рыбаков давались такие почести. На площади стали постепенно появляться люди в масках, но казалось, что это столь оживленное в ночные часы место едва ли скоро примет свой обычный вид после такой внезапной и сильной тревоги.

Глава XXIII

Это — от юной леди,
Она последний отпрыск
Известного влиятельного рода.

Роджерс.

Причалив к набережной, рыбаки все до единого оставили гондолу республики. Донна Виолетта и ее наставница со страхом прислушивались к шуму

удалявшейся толпы; они совершенно не знали, отчего отец Ансельмо покинул их, равно как и причины необычного события, участницами которого они так неожиданно оказались. Монах лишь сказал своим спутникам, что его просят отслужить мессу, и ни словом не обмолвился о том, что они находятся во власти толпы рыбаков. Но достаточно было донне Флоринде выглянуть в окно каюты и услышать вокруг крики, чтобы кое о чем догадаться. Ей стало ясно, что при таких обстоятельствах самым разумным было держаться подальше от посторонних взглядов. Лишь когда мятежники удалились и воцарилась полная тишина, обе женщины поняли, что судьба наконец предоставила им удобный случай.

— Они ушли! — шепнула донна Флоринда, затаив дыхание и прислушиваясь.

— И сейчас сюда нагрянет городская стража, разыскивающая нас.

Других объяснений не последовало, потому что в Венеции с младенчества учили осторожности. Донна Флоринда снова украдкой глянула в окно.

— Все исчезли Бог знает куда! Бежим!

Через мгновение дрожащие беглянки были на набережной. Кроме них, на Пьяцетте не оказалось ни души. Дворец Дожей гудел, словно потревоженный улей, но толком ничего нельзя было разобрать.

— Там замышляют что-то недоброе, — снова прошептала донна Флоринда. — Если бы отец Ансельмо остался с нами!

Вдруг до их слуха донеслись чьи-то шаркающие шаги, и, обернувшись, они увидели, что со стороны Бролио к ним подходит юноша в одежде рыбака с лагун.

— Преподобный кармелит велел мне передать вам это, — сказал он, с опаской оглядываясь по сторонам.

Он сунул донне Флоринде клочок бумаги и, повернув к свету свою загорелую руку, в которой под лучом луны блеснула серебряная монета, поспешно скрылся.

При лунном свете гувернантке удалось прочесть записку — несколько слов, написанных почерком, хорошо знакомым ей еще смолоду:

*«Спасайтесь, Флоринда!
Не теряйте ни минуты.
Избегайте людных мест,
немедля ищите убежища».*

— Бежать? Но куда? — растерянно воскликнула она, прочитав записку вслух.

— Все равно куда, лишь бы не оставаться здесь, — отвечала донна Виолетта. — Ступай за мной!

Природа зачастую наделяет человека качествами, которые заменяют ему опыт и воспитание. Обладая донна Флоринда решительностью и твердостью своей воспитанницы, она не очутилась бы теперь в одиночестве, так мало свойственным склонностям женщины, а отец Ансельмо не стал бы монахом. Оба пожертвовали своей любовью во имя того, что считали долгом. Жизнь донны Флоринды была лишена тепла потому только, что ее чувства были слишком спокойны, и, возможно, по той же уважительной причине она осталась одинокой.

Виолетта была совсем иной. Она всегда предпочитала действовать, а не размышлять, и, хотя обычно успех сопутствовал людям более спокойного нрава, из этого правила случаются исключения. В создавшемся положении все было лучше, чем бездействие.

Едва закончив фразу, донна Виолетта скрылась под аркадами Бролио. Донна Флоринда последовала за молодой девушкой скорее из любви к ней, чем выполняя наставления монаха или движимая собственным разумом. Первым смутным желанием донны Виолетты стало броситься к ногам дожа, в жилах которого текла кровь и ее предков; но, услышав доносившиеся со стороны дворца крики, она догадалась о происходящем и поняла, что проникнуть туда невозможно.

— Давай вернемся улицами в твой дом, дитя мое, — сказала донна Флоринда, плотнее укутываясь в мантилью. — Я уверена, что никто нас не оскорбит. В конце концов даже сенат должен проявить к нам почтение.

— И это говоришь ты, Флоринда! Ты, которая столько раз трепетала перед гневом сената! Ну что ж, иди, если хочешь! Я больше не принадлежу сенату — моей судьбой отныне распоряжается дон Камилло Монфорте!

Донна Флоринда не хотела спорить, и, так как в такую минуту слово бывает за более сильным, она безропотно подчинилась решению своей воспитанницы. Донна Виолетта двинулась вдоль портиков, стараясь все время оставаться в тени. Проходя мимо ворот, обращенных к морю, беглянки смогли разглядеть, что творится во дворе Дворца Дожей. Это зрелище заставило их еще ускорить шаги, и они уже не бежали, а просто летели вдоль

аркад. Через минуту беглянки очутились на мосту, пересекавшем канал Святого Марка. Несколько матросов на фелукках с любопытством взглянули на них, но, в общем, вид испуганных женщин, бежавших от толпы, не привлекал особенного внимания.

В это мгновение на набережной появилась темная масса людей, двигавшихся навстречу. В лунном свете блеснуло оружие и все отчетливей слышалась ровная поступь солдат. Это шла из казарм далматинская гвардия. Беглянки очутились в западне.

Решительность и самообладание — качества весьма различные, и донна Виолетта не сразу сообразила, как того требовали обстоятельства, что их бегство будет сочтено наемниками столь же естественным, каким оно показалось морякам в порту. Страх буквально ослепил обеих, и так как единственной их целью было найти убежище, то, представься случай, они стали бы искать его даже в здании суда. Поэтому они вбежали в первую и единственную попавшуюся им на пути дверь. Их встретила девушка, на встревоженном лице которой виделось необычное сочетание самоотречения и страха.

— Здесь вы в безопасности, благородные синьоры, — обратилась к ним девушка, произнося слова с мягким венецианским акцентом. — Никто не осмелится причинить вам зло в этих стенах.

— Чей это дворец? — задыхаясь, спросила донна Виолетта. — Если владелец его знатный человек, он не откажет в гостеприимстве дочери синьора Тьеполо.

— Вы желанная гостья, синьора, — приветливо отвечала девушка, ведя женщин внутрь здания. — Вы принадлежите к знатному роду?

— Мало найдется патрициев в республике, с которыми я не была бы связана узами старинного родства, дружбы и уважения. Ты служишь благородному господину?

— Первому в Венеции, синьора!

— Назови его, чтобы мы могли просить у него убежища сообразно нашему происхождению.

— Святой Марк.

Донна Виолетта и наставница ее на мгновение замерли.

— Может быть, мы нечаянно вошли во Дворец Дожей?

— Это невозможно, синьора, дворец отделен от этого здания каналом. И все же хозяин здесь — Святой Марк.

Я надеюсь, вы не сочтете себя в меньшей безопасности, узнав, что укрылись в здании тюрьмы, у дочери здешнего надзирателя.

Минута опрометчивых решений прошла, настал черед размышлений.

— Как зовут тебя, дитя мое? — спросила донна Флоринда, выступая вперед и завладевая беседой, когда ее спутница от удивления смолкла. — Мы искренне благодарны тебе за то, что ты не закрыла перед нами дверь в такую тревожную минуту. Так как же зовут тебя?

— Джельсомина, — скромно ответила девушка. — Мой отец тюремный надзиратель. Я увидела, как вы бежали по набережной, оказавшись между далматинцами и ревущей толпой, и подумала, что, наверно, даже тюрьма покажется вам сейчас желанным убежищем.

— Твое доброе сердце не ошиблось.

— Если б я знала, синьора, что вы из дома Тьеполо, я поторопилась бы еще более, потому что мало осталось потомков этой благородной семьи и немногие из тех, кто остался жив, окажут вам эту честь.

Виолетта кивком поблагодарила девушку за любезность, но, вероятно, уже сожалела о том, что, гордясь своим происхождением, так неосторожно выдала себя.

— Не можешь ли ты проводить нас в какое-нибудь более укромное место? — спросила она, заметив, что их объяснение происходит в коридоре.

— Вы будете чувствовать себя здесь так же уединенно, как в вашем собственном дворце, синьоры, — отвечала Джельсомина, ведя их боковым коридором в жилище своего отца, из окон которого она и увидела двух женщин, бежавших в испуге по набережной. — Никто не приходит сюда, кроме отца и меня самой, да и он всегда занят своими делами.

— Разве у вас нет слуг?

— Нет, синьора. Гордость не должна мешать дочери тюремного надзирателя делать все самой.

— Это ты хорошо сказала. Такая разумная девушка, как ты, милая Джельсомина, конечно, поймет, что нам не пристало быть в этих стенах даже случайно; поэтому ты сделаешь нам большое одолжение, если позаботишься о том, чтобы никто не узнал о нашем пребывании здесь. Мы доставляем тебе много хлопот, но ты будешь вознаграждена. Вот деньги.

Джельсомина ничего не сказала, но ее обычно бледное лицо залилось краской.

— Прости, я в тебе ошиблась,— проговорила донна Флоринда, пряча монеты и беря Джельсомину за руку.— Если я причинила тебе боль, то лишь боясь позора, что нас увидят здесь.

Краска на щеках девушки стала еще ярче, и губы ее задрожали.

— Значит, находиться в этих стенах позор для невинного человека? — спросила она, по-прежнему не подымая глаз.— Я давно уж подозревала это, но никто еще не говорил так мне.

— Да простит меня дева Мария! Если я хоть словом тебя обидела, то, поверь, сделано это невольно!

— Мы бедны, синьора, а нужда заставляет делать то, что, быть может, противоречит нашим желаниям. Я понимаю ваши опасения и сделаю все, чтобы никто не знал о вашем присутствии. И все же нет большого греха в том, что вы зашли сюда!

Джельсомина ушла, а беглянки, оставшись наедине, долго еще удивлялись тому, что встретили чуткость и предусмотрительность там, где этого, казалось бы, менее всего можно ожидать.

— Вот уж не думала найти такую тонкость души в тюремных стенах! — воскликнула Виолетта.

— Во дворцах ведь тоже много несправедливости и произвола, и не надо лишь понаслышке осуждать все, что делается здесь. Но, по правде говоря, эта девушка — приятное исключение, и мы должны быть благодарны Святому Теодору, что встретили ее на нашем пути.

— Можно ли полнее выразить свою благодарность, чем довериться ей?

Донна Флоринда была старше своей воспитанницы и менее склонна доверять внешности человека, но живой ум и высокое происхождение Виолетты давали ей преимущества, перед которыми не всегда могла устоять донна Флоринда. Джельсомина вскоре вернулась, а женщины еще не успели ничего решить.

— У тебя есть отец, Джельсомина? — сказала Виолетта, взяв руку девушки.

— Да благословенна будет пресвятая дева Мария, я не лишена такого счастья!

— Да, это счастье, потому что никакая корысть и честолюбие не вынудят отца продать свое дитя. А твоя мать жива?

— Она давно не встает с постели, синьора. Я знаю, нам не следует здесь жить, но вряд ли мы найдем место, где матери было бы спокойней, чем тут, в тюрьме.

— Даже здесь, Джельсомина, ты счастливее меня. У меня нет ни отца, ни матери, нет даже друзей.

— И это говорит синьора из рода Тьеполо?

— В этом грешном мире не все обстоит так, как кажется с первого взгляда, милая Джельсомина. И нам на долю выпало немало страданий, хотя в нашем роду было много дождей. Ты, вероятно, слышала, что от дома Тьеполо осталась всего лишь одинокая юная, как ты, девушка, которую отдали под опеку сената?

— В Венеции не часто говорят о подобных вещах, синьора, к тому же я очень редко выхожу на улицу. Но все же я слыхала о красоте и богатстве донны Виолетты. Надеюсь, она действительно богата, а ее красоту я вижу теперь сама.

Виолетта покраснела от смущения и удовольствия.

— Те, кто говорит так, слишком добры к сироте,— промолвила она,— хотя мое роковое богатство они оценили правильно. Ведь ты, наверно, знаешь, что сенат берет на себя заботу обо всех осиротевших девушках из знатных семей.

— Откуда мне знать, синьора? Святой Марк, видно, милостив, если это так!

— Теперь ты станешь думать иначе, Джельсомина. Ты молода и, наверно, проводишь все свое время в одиночестве?

— Да, синьора. Я редко хожу куда-нибудь, кроме комнаты больной матери или камеры какого-либо несчастного узника.

Виолетта глянула на свою наставницу, явно сомневаясь в том, что эта девушка, столь далекая от всего мирского, сможет оказать им помощь.

— Тогда ты едва ли поймешь, что знатная синьора может быть вовсе не расположена уступать настояниям сената, который распоряжается ее желаниями и чувствами, как ему вздумается.

Джельсомина внимательно смотрела на говорившую, и ей, очевидно, оставалось непонятно, о чем идет речь. Виолетта снова взглянула на донну Флоринду, словно прося помощи.

— Женский долг часто оказывается очень нелегким,— вступила в разговор донна Флоринда, чутьем уга-

дивая смысл взгляда своей спутницы.— Наши привязанности не всегда соответствуют желаниям наших друзей. Нам запрещено распоряжаться своей судьбой, но мы не всегда можем повиноваться!

— Да, я слышала, что благородным девицам не разрешают видеть того, с кем они будут обручены. Если это то, о чем вы говорите, синьора, такой обычай всегда казался мне несправедливым, чтобы не сказать — жестоким.

— А девушке твоего круга позволено выбирать друзей из тех, кто, возможно, станет близок ее сердцу? — спросила Виолетта.

— Да, синьора, такой свободой мы пользуемся даже в тюрьме.

— Тогда ты счастливей тех, кто живет во дворцах! Я доверяюсь тебе: ведь ты не выдашь девушку, которая стала жертвой несправедливости и принуждения?

Джельсомина подняла руку, словно желая предостеречь свою гостью, и прислушалась.

— Немногие входят сюда, — сказала она, — но существуют всякие способы подслушивать тайное, о которых я ничего не знаю. Пойдемте подальше отсюда. Тут есть одно место, где можно разговаривать свободно.

Джельсомина повела женщин в маленькую комнатку, где обычно разговаривала с Якопо.

— Вы сказали, синьора, что я не способна выдать девушку, которая стала жертвой несправедливости, и вы не ошиблись.

Переходя из одной комнаты в другую, Виолетта имела время поразмыслить обо всем происшедшем и решила в дальнейшем быть более сдержанной. Но искреннее участие, с каким отнеслась к ней Джельсомина, девушка мягкого нрава, скромная и застенчивая, настолько расположило к ней откровенную по природе Виолетту, что она незаметно для себя самой вскоре поведала дочери тюремщика почти все обстоятельства, которые в конце концов привели к их встрече.

Слушая ее, Джельсомина бледнела, а когда донна Виолетта закончила свой рассказ, она вся дрожала от волнения.

— Сопротивляться власти сената не так просто, — еле слышно промолвила Джельсомина. — Вы понимаете, синьора, какой опасности подвергаетесь?

— Даже если я этого прежде не понимала, теперь слишком поздно менять свои намерения. Я — жена герцога Святой Агаты и никогда не стану женой другого!

— Боже! Это правда. Все же, наверно, я скорее умерла бы в монастыре, чем ослушалась сената.

— Ты не знаешь, милая Джельсомина, сколь отважны бывают женщины, даже такие молодые, как я! По детской привычке ты еще очень привязана к отцу, но придет день, когда все твои мысли окажутся сосредоточены на другом человеке.

Джельсомина подавила волнение, и ее лучистые глаза засветились.

— Сенат страшен,— сказала она,— но, наверно, еще страшнее расстаться с тем, кому перед алтарем поклялась в любви и верности...

— Удастся ли тебе спрятать нас,— прервала ее донна Флоринда,— и сможешь ли ты помочь нам скрыться, когда уляжется тревога?

— Нет, сеньора, я плохо знаю улицы и площади Венеции. Пресвятая дева Мария, я хотела бы знать город так, как моя двоюродная сестра Аннина, которая ходит, когда вздумается, из лавки своего отца на Лидо или с площади Святого Марка на Риальто! Я пошлю за ней, и она что-нибудь для нас придумает.

— У тебя есть двоюродная сестра Аннина?

— Да, сеньора, она дочь родной сестры моей матери.

— И виноторговца по имени Томазо Торти?

— Неужели благородные дамы Венеции так хорошо знают людей низшего сословия? Это порадует Аннину; ей очень хочется, чтобы ее замечали патриции.

— И она бывает здесь?

— Редко, сеньора, мы с ней не слишком дружны. Мне кажется, Аннина находит, что я, простая, неискушенная девушка, недостойна ее общества. Но в минуты такой опасности, думаю, она не откажется вам помочь. Я знаю, что она не слишком любит Святого Марка: мы с ней как-то говорили об этом, и сестра отзывалась о республике более дерзко, чем следовало бы в ее возрасте, да еще в таком месте.

— Джельсомина, твоя сестра тайно служит власти города, и ты не должна доверять ей...

— Как, сеньора!

— Я говорю не без причины. Поверь мне, она занимается недостойными делами, будь с ней осторожна.

— Благородные синьоры, я не скажу ничего, что могло бы доставить неудовольствие людям вашего происхождения, находящимся в столь затруднительном положении, но вы не должны убеждать меня дурно думать о племяннице моей матери! Вы несчастливы, и у вас есть причины ненавидеть республику, но я не хочу слушать, если вы дурно говорите о моей кузине.

Донна Флоринда и даже ее менее искушенная воспитанница достаточно хорошо знали человеческую натуру, чтобы увидеть в этом благородном недоверии доказательство честности той, которая его проявила, и они благоразумно ограничились лишь тем, что настояли, чтобы Аннина ни в коем случае не узнала об их присутствии. Затем все трое стали размышлять, как беглянкам незаметно скрыться из тюрьмы, когда настанет благоприятная минута.

По совету гувернантки Джельсомина послала одного из тюремных привратников посмотреть, что делается на площади. Ему велели также, но с осторожностью, чтобы не вызвать у него подозрения, разыскать монаха-кармелита. Вернувшись, привратник сообщил, что толпа покинула дворец и перешла в собор, перенеся туда тело рыбака, который накануне столь неожиданно оказался первым в гонках.

— Прочтите молитву и ложитесь спать, прекрасная Джельсомина,— сказал привратник.— Рыбаки перестали кричать и принялись молиться. Эти босоногие негодяи возгордились, словно республика Святого Марка досталась им по наследству! Благородным патрициям следовало бы проучить их, отослав каждого десятого на галеры. Злодеи! Осмелились нарушить тишину благопристойного города своими грубыми жалобами!

— Ты ничего не сказал про монаха. Он там, вместе с мятежниками?

— Какой-то монах стоит там у алтаря, но кровь моя закипела при виде того, как эти бездельники нарушают покой благородных людей, и я не заметил ни возраста, ни внешности монаха.

— Значит, ты не выполнил моей просьбы. Теперь уже поздно исправлять твою ошибку. Возвращайся к своим обязанностям.

— Тысячу извинений, прекраснейшая Джельсомина, но, когда я несу службу и вижу, как толпа нарушает порядок, я не могу сдержатъ негодование! Пошлите меня на Корфу или на Кандию, если хотите, и я расскажу вам, какого цвета там каждый камень в стенах тюрем, только не посылайте меня к мятежникам! Я чувствую отвращение при виде всякого злодейства.

Джельсомина ушла, и привратник вынужден был изливать свое негодование в одиночестве.

Одна из целей угнетения — создать своего рода лестницу тирании от тех, кто правит государством, до тех, кто властвует хотя бы над одним человеком. Тому, кто привык наблюдать людей, не надо объяснять, что никто не бывает столь высокомерен с подчиненными, как те, кто испытывает то же на себе, ибо слабой человеческой природе присуща тайная страсть вымещать на беззащитных обиды, нанесенные сильными мира сего. В то же время свободное общество, где защита прав обеспечена — что является совершенно необходимым для процветания в нем нравственности, просвещения и разума, — охотнее всех остальных воздаст должное властям. Поэтому свободные государства более надежно, чем другие, ограждены от народного недовольства и волнений, ибо там не часто найдется гражданин, извращенный настолько, чтобы не почувствовать, что, желая мстить обществу за превратности своей судьбы, он тем самым признает лишь собственную несостоятельность.

Сколько ни сдерживай бурный поток, он вечно грозит смести со своего пути искусственные преграды; лишь свободный поток выльется в спокойную, глубокую реку, плавно несущую свои полные воды в океан.

Вернувшись к гостям, Джельсомина принесла им утешительные вести. Мятежники во дворце и вызванная сенатом гвардия отвлекли внимание от беглянок, и если кто-нибудь случайно приметил, как две женские фигуры скрылись в дверях тюрьмы, то это показалось так естественно, что никто, конечно, не заподозрил их в том, что они останутся там надолго. Немногих служащих тюрьмы, которые и вообще-то не очень следили за общедоступными помещениями, любопытство увлекло из дворца. Скромная комната, куда привела беглянок Джельсомина, целиком принадлежала ей, и здесь вряд ли кто-нибудь мог нарушить их уединение, разве что Совет счел

бы нужным привести в движение свои адские щупальца, от которых редко что-либо ускользало.

Слова Джельсомины успокоили донну Виолетту и гувернантку. Теперь они могли не спеша поразмыслить о побеге и не теряли надежды на скорую встречу Виолетты с доном Камилло. Но они все же еще не знали, как сообщить ему о своем положении. Решено было, что, когда волнение в городе уляжется, они наймут лодку и, изменив насколько возможно свою внешность, отправятся во дворец герцога. Но затем донна Флоринда убедилась в опасности и такого шага, ибо дон Камилло всегда был окружен всякого рода соглядатаями. Случай, зачастую помогающий больше, чем самый хитроумный замысел, особенно в трудных обстоятельствах, забросил их в надежное, хоть и временное убежище, и было бы крайне опрометчиво покинуть его без величайших предосторожностей.

Наконец гувернантка решила обратиться к услугам кроткой Джельсомины, проявившей к ним столько искреннего участия. Заметив, с каким интересом она слушала донну Виолетту, Флоринда женским чутьем угадала истинную причину такого внимания. Рассказ Виолетты о том, как, спасая ее жизнь, дон Камилло бросился в воду, Джельсомина слушала затаив дыхание; глубокое волнение отразилось на ее лице, когда дочь синьора Тьеполо говорила про опасность, которой подвергал себя герцог, добиваясь ее любви; а при словах о святости союза, который не смог разрушить своими кознями даже сенат, в мягких чертах доброго лица девушки светилась истинно женская душа.

— Если б нам удалось известить дона Камилло о нашем положении,— сказала гувернантка,— все могло бы закончиться хорошо, иначе столь удачно открывшееся нам убежище не принесет никакой пользы.

— Но хватит ли у него смелости пойти наперекор властям? — спросила Джельсомина.

— Он мог бы довериться надежным людям, и еще до восхода солнца мы оказались бы уже далеко, вне власти сената,— отвечала донна Флоринда.— Эти расчетливые сенаторы не остановятся перед тем, чтобы объявить священные обеты моей воспитанницы детскими клятвами и пренебречь гневом папского престола, если затронуты их интересы.

— Таинство брака установлено не людьми. Это, по крайней мере, они должны уважать!

— Не заблуждайся! Для них нет ничего святого, если что-либо касается дел государства. Что им желания девушки или счастье одинокой и беспомощной женщины? Молодость моей воспитанницы дает им желанный предлог вмешиваться в ее жизнь, хотя эта молодость должна была бы тронуть их сердца и заставить понять, что они обрекают Виолетту на долгие годы страданий. Эти люди не знают чувства благодарности; узы привязанности для них всего лишь средство использовать страх подданных за своих близких, но не для оказания милосердия; они смеются над любовью и преданностью женщины, как над глупостью, которая позабавит их на досуге или отвлечет от неприятностей.

— Разве есть что-нибудь священнее брака, синьора?

— Для них он важен, если увековечивает почести и титулы, которыми они гордятся. За исключением этого сенат мало интересуется семейными делами.

— Но они ведь сами отцы и мужья!

— Конечно, чтобы быть законным отцом, надо сначала стать мужем, но супружество здесь не священный сердечный союз, а лишь средство увеличения своего богатства и продолжения рода,— отвечала гувернантка, следя за выражением лица простодушной Джельсомины.— Браки по любви в Венеции называют детской прихотью, а чувства своих дочерей превращают в предмет торга. Коль скоро государство сделало золото своим богом, немногие откажутся принести жертву на его алтарь:

— Я так хотела бы оказаться полезной донне Виолетте.

— Ты еще слишком молода, милая Джельсомина, и, боюсь, незнакома с коварством венецианских властей.

— Не сомневайтесь во мне, синьора, в добром деле и я могу не хуже других исполнить свой долг.

— Если б можно было известить дона Камилло Монфорте о том, что мы здесь... Но ты слишком беспомощна, чтобы помочь нам в этом!..

— Не говорите так, синьора! — прервала Джельсомина, в душе которой гордость смешалась с состраданием к юной Виолетте, чье сердце, как и ее собственное, было исполнено любви.— Я могу стать куда полезнее, чем вы думаете, судя обо мне лишь по внешности!

— Верю тебе, доброе дитя, и, если дева Мария защитит нас, твоя доброта не будет забыта!

Набожная Джельсомина перекрестилась и, сообщив своим гостям, как она собирается поступить, ушла к себе одеться, а донна Флоринда тем временем поспешно набросала несколько строк, где в умышленно осторожных выражениях — на тот случай, если записка попадет в чужие руки, — но достаточно ясно объяснила герцогу Святой Агаты их положение.

Через несколько минут Джельсомина вернулась. Ее простое платье венецианской девушки низшего сословия не привлекло бы ничьего внимания, а лицо теперь скрывала маска, без которой никто не выходил из дому. Взяв записку и выслушав название улицы, где находился дворец, а также описание внешности герцога, и еще раз получив наказ быть очень осторожной, Джельсомина ушла.

Глава XXIV

Кто проявил здесь больше мудрости?
Правосудие иль беззаконие?

Шекспир. «Мера за меру».

В постоянной борьбе между людьми бесхитростными и коварными последние всегда имеют преимущество до тех пор, пока каждая сторона ограничивается свойственными лишь ей одной побуждениями. Но с той минуты, как люди чистосердечные преодолеют свое отвращение к пороку и постараются разобраться в нем, становясь на защиту своих возвышенных принципов, они обманывают все расчеты противника с большей легкостью, чем если бы стали прибегать к самым хитроумным уловкам. Природа сотворила людей слишком слабыми, чтобы разобраться в обмане и эгоизме, но истинные ее любимцы — те, кто способен так замаскировать свои цели и намерения, что они ускользнут от трезвых расчетов людей искущенных. Миллионы будут подчиняться требованиям условностей, и лишь немногие смогут найти правильный выход в необычных и трудных обстоятельствах.

В добродетели часто есть какая-то таинственность. Если хитроумие порока есть не более чем жалкое подражание коварству, стремящемуся окутать свои деяния

тонкой пеленой обмана, то добродетель в какой-то мере сходна с возвышенным идеалом непогрешимой истины.

Так люди, чересчур искушенные, часто оказываются в плену собственных ухищрений, когда сталкиваются с бесхитростными и разумными людьми; и жизненный опыт доказывает, что постоянна лишь слава, основанная на добродетели, и, значит, самым надежным способом ведения государственных дел является тот, что зиждется на всеобщем благе. Заурядные умы могут защищать интересы общества до тех пор, пока интересы эти заурядны; но горе народу, не доверившемуся в трудный час людям честным, благородным и мудрым, ибо не будет успеха там, где недостойные ловко направляют события, от коих зависит процветание общества. Большая часть несчастий, обесславивших и погубивших некогда процветавшие государства, произошла от пренебрежения к великим умам, порожденным великими событиями.

Но, желая показать, как порочен был государственный строй Венеции, мы несколько уклонились от главного предмета повествования.

Как уже говорилось, Джельсомина располагала ключами от многих тайных помещений тюрьмы. Расчетливые тюремщики поступали так не без умысла; они убедились, что девушка точно исполняет все их приказания, и даже не подозревали, что она способна прислушаться к велениям своей благородной души, которые могут заставить ее воспользоваться их доверием вовсе не так, как им хотелось бы. И вот теперь Джельсомина решилась на поступок, доказывавший, что тюремные надзиратели, среди которых был также и ее отец, не сумели полностью оценить порывы ее бесхитростной натуры.

Захватив эти самые ключи, Джельсомина взяла лампу, но, вместо того чтобы спуститься во двор, направилась из мезонина, где она жила, на второй этаж. Открывая одну дверь за другой, девушка шла мрачными коридорами со спокойствием человека, уверенного в своей правоте. Вскоре она пересекла Мост Вздохов, не боясь встретить кого-либо в этой галерее, куда не часто ступала нога человека, и вошла во Дворец Дожей. Там Джельсомина направилась к двери, которая вела в помещение, доступное для всех посетителей. Не желая попадаться кому-нибудь на глаза, она потушила лампу и отперла дверь. В следующее мгновение она оказалась уже на просторной мрачной лестнице. Джельсомина сбе-

жала по ней и вышла в крытую галерею, окружавшую внутренний двор. Стоявший поблизости алебарщик с любопытством взглянул на незнакомую женщину, но, так как в его обязанности не входило опрашивать тех, кто покидает дворец, он ничего не сказал ей. Девушка продолжала свой путь. Когда она подходила к Львиной пасти, некая мстительная личность опускала туда свой донос. Джельсомина невольно остановилась и подождала, пока тайный соглядатай не скрылся, сделав свое черное дело. Собравшись двинуться дальше, она вдруг заметила, что стоящий наверху Лестницы Гигантов алебарщик, привыкший к таким сценам, с улыбкой наблюдает ее растерянность.

— Не опасно теперь выходить из дворца? — спросила она у грубоватого горца.

— Черт возьми! Часом раньше было бы опасно, милая девушка. Но мятежникам заткнули глотку, и теперь они все в церкви!

Джельсомина более не колебалась. Она быстро сбегала по той знаменитой лестнице, с которой некогда скатилась голова Фальеро, и вскоре была уже под аркой ворот. Здесь эта застенчивая и беспомощная девушка снова остановилась, подобно лани, что не решается покинуть свое убежище, боясь выйти на площадь, не узнав сначала, спокойно ли там.

Тайные соглядатаи были слишком напуганы волнением рыбаков, чтобы не применить свой излюбленный прием, после того как воцарилось спокойствие. Желая придать площади ее обычный вид, они выпустили наемных шутов и певцов, и толпы гуляющих, в масках и без них, вскоре заполнили Пьяццу. Короче говоря, это была все та же уловка, к которой прибегали, желая восстановить спокойствие в тех странах, где государство еще так молодо, что народ не считают способным обеспечить собственную безопасность. Трудно найти более непритязательный трюк, на который попало бы так много людей. Бездельники и любопытные, недовольные и злоумышленники, люди беззаботные и те, кто довольствуется минутными радостями, — а таких на свете множество, — явились сообразно желаниям городских властей; и, когда Джельсомина подходила к Пьяцетте, обе площади уже частично заполнились народом. Несколько взволнованных рыбаков еще стояли у дверей собора, словно пчелы, роящиеся у своего улья, но теперь они ни-

кому не внушали тревоги. Непривычная к подобным сценам девушка с первого взгляда поняла, что никто ее не знает в этой толпе. Завернувшись плотнее в свою простенькую мантилью и заботливо поправив маску, Джельсомина быстрыми шагами направилась к середине площади.

Мы не станем подробно описывать путь нашей героини; не отвечая на грубые любезности, оскорблявшие ее слух, она шла вперед, чтобы исполнить дело, продиктованное ее добрым сердцем. Вдохновленная своей целью, Джельсомина быстро пересекла площадь и вышла к Сан Нико. Здесь находилась стоянка наемных гондол, но сейчас там не оказалось ни одной: по всей вероятности, страх или любопытство заставили гондольеров перейти в другое место. Джельсомина была уже на середине моста, когда вдруг заметила лодку, медленно плывущую со стороны Большого канала. Нерешительный вид девушки привлек внимание гондольера, и он привычным жестом предложил ей свои услуги. Почти что не зная улиц Венеции, их лабиринтов, что могут привести несведущего в гораздо большее затруднение, чем улицы любого другого города такой же величины, Джельсомина с радостью воспользовалась предложением. В минуту она сбежала по лестнице, прыгнула в лодку и, сказав «Риальто», скрылась под балдахин. Гондола мгновенно тронулась.

Джельсомина надеялась, что сумеет теперь беспрепятственно исполнить, что задумала, так как простой лодочник вряд ли мог догадаться о ее намерениях или таить против нее злой умысел. Он не мог знать цели ее поездки, и в его интересах было благополучно доставить девушку до места, названного ею. Но успех дела был настолько важен, что Джельсомина не могла чувствовать себя спокойно, пока не закончит его. Вскоре она решилась взглянуть из окна каюты на дворцы и лодки, мимо которых проплывала, и ощутила, как свежий ветер с канала возвращает ей мужество. Затем, вдруг усомнившись, Джельсомина оглянулась на гондольера и увидела, что лицо его скрыто под маской настолько искусно, что случайный взгляд вообще не заметил бы ее при лунном освещении.

Обычай носить маску был распространен среди слуг знатных патрициев, наемные же гондольеры не имели обыкновения скрывать ею свое лицо. Это обстоятельство могло возбудить некоторое опасение у Джельсомины, но,

подумав, она решила, что гондольер, возможно, возвращается с какой-нибудь увеселительной прогулки или возил влюбленного, исполнявшего серенаду под окном дамы своего сердца и потребовавшего, чтобы все вокруг него были в масках.

— Где прикажете высадить вас, синьора,— спросил гондольер,— на набережной или у ворот вашего дворца?

Сердце Джельсомины сильно забилося. Ей понравился этот голос, хотя она знала, что маска, несомненно, меняет его; но, так как девушке никогда не приходилось заниматься чужими и тем более столь важными делами, вопрос гондольера заставил ее вздрогнуть, словно уличенную в бесчестных замыслах.

— Знаешь ли ты дворец дона Камилло Монфорте из Калабрии, который живет сейчас здесь, в Венеции? — спросила она после большой паузы.

Пораженный гондольер не сумел даже скрыть невольное волнение.

— Прикажете везти вас туда, синьора?

— Да, если ты точно знаешь, где дворец.

Гондольер заработал веслом, и лодка поплыла между высокими стенами. Джельсомина догадалась по звуку, что она в одном из узких каналов, и отметила про себя, что лодочник хорошо знает город. Вскоре они остановились у водных ворот дворца, и гондольер, опередив девушку, прыгнул на лесенку, чтобы, как это было принято, помочь Джельсомине выйти из лодки. Джельсомина велела ему подождать и вошла во дворец.

Всякий человек, более искушенный, чем наша героиня, сразу заметил бы замешательство, царившее в покоях дона Камилло. Слуги, казалось, не знали, чем заняться, и недоверчиво посматривали друг на друга; когда девушка робко вошла в вестибюль дворца, они поднялись, но никто не двинулся ей навстречу. Женщину в маске можно было часто встретить в Венеции, ибо мало кто решался выходить из дому, не прибегнув к этой обычной предосторожности; но слуги не торопились доложить о ней и разглядывали незнакомку с откровенным любопытством.

— Это дворец герцога Святой Агаты, синьора из Калабрии? — надменно спросила Джельсомина, чувствуя, что необходимо казаться решительной.

— Да, синьора...

— Ваш господин дома?

— И да, и нет, синьора.. Как прикажете о вас доложить? Какая прекрасная синьора оказывает ему честь своим посещением?

— Если его нет дома, не нужно ни о чем ему докладывать. Если же он у себя, я хочу его видеть.

Слуги начали вполголоса совещаться между собой. Неожиданно в вестибюль вошел гондольер в расшитой куртке. Его добродушный вид и веселый взгляд вернул Джельсомине бодрость.

— Вы служите синьору Камилло Монфорте? — спросила его Джельсомина, когда тот проходил мимо, направляясь к выходу на канал.

— Я его гондольер, прекрасная синьора, — ответил Джино, слегка приподняв шапочку, но почти не глядя на девушку.

— Можете ли вы передать ему, что с ним желает поговорить наедине женщина?

— Пресвятая дева Мария! В Венеции полно женщин, которые хотят поговорить наедине с мужчиной, прекрасная синьора. Вы лучше навестили бы статую Святого Теодора на Пьяцце, чем обращаться к моему господину в такой миг. Камень наверняка окажет вам лучший прием.

— Вам приказано отвечать так всем женщинам, которые сюда приходят?

— Черт побери! Вы задаете слишком нескромные вопросы, синьора. Возможно, мой хозяин и принял бы одну особу вашего пола, которую я мог бы назвать по имени, но, клянусь вам, сейчас мой синьор — не самый любезный кавалер Венеции!

— Если ради одной он сделает исключение, то вы слишком дерзки для слуги. Откуда вы знаете, что я — не та самая особа?

Джино вздрогнул. Он оглядел Джельсомину с головы до ног и, сняв шапку, поклонился.

— Я ничего не знаю про это, синьора, — сказал он. — Может быть, вы — его светлость дож Венеции или посланник императора. В последнее время я не смею утверждать, что вообще что-нибудь знаю в Венеции...

Но тут Джино прервал гондольер, привезший Джельсомину; он поспешно вошел в вестибюль и, хлопнув Джино по плечу, шепнул ему на ухо:

— Сейчас не время отказывать. Пусть она пройдет к герцогу.

Джино больше не колебался. Как то свойственно слуге-любимцу, он решительно растолкал толпившуюся в вестибюле челядь и вызвался сам вести Джельсомину к хозяину. Когда они поднимались по лестнице, трое слуг уже куда-то исчезли.

В то время жилище дона Камилло выглядело еще более мрачным, чем другие венецианские дворцы. В комнатах горели тусклые лампы, самые ценные картины были сняты со стен, и внимательный взгляд заметил бы, что хозяин не собирается оставаться здесь долго. Но, следуя за Джино во внутренние покои, Джельсомина не обратила внимания на все эти мелочи. Наконец гондольер отпер какую-то дверь и со смешанным чувством почтения и недоверия жестом пригласил Джельсомину войти в комнату.

— Мой хозяин обычно принимает дам здесь,— проговорил гондольер.— Входите, ваша светлость,— я сообщу господину об ожидающей его радости.

Джельсомина вошла, не колеблясь, но сердце ее сильно забилося, когда она услышала, что дверь за ней заперли на ключ. Девушка оказалась в прихожей и, увидев свет, проникавший из дверей соседней комнаты, подумала, что ей следует пройти туда. Но, едва она переступила порог, как очутилась лицом к лицу с другой женщиной.

— Аннина! — сорвалось с губ удивленной девушки.

— Джельсомина! Кого я вижу — тихую, скромную, застенчивую Джельсомину! — воскликнула, в свою очередь, ее двоюродная сестра.

Эти слова прозвучали совершенно недвусмысленно. Раненная подозрением, Джельсомина сняла маску, чувствуя, что от глубокой обиды ей нечем дышать.

— И ты здесь? — добавила она, сама не зная, что говорит.

— И ты здесь? — повторила Аннина, смеясь так, как смеются бесчестные люди, полагая, что и невинные пали так же низко...

— Но я... я пришла сюда из сострадания! У меня дело...

— Святая Мария. Мы обе здесь по одной и той же причине!

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать, Аннина. Ведь это дворец дона Камилло Монфорте, благород-

ного неаполитанца, который предъявил права на звание сенатора?

— Да, дворец самого беспутного, самого богатого, самого красивого и самого непостоянного кавалера Венеции! Приходи ты сюда тысячу раз, ты 'бы ничего другого не узнала!

Джельсомина с ужасом слушала сестру. Аннина превосходно знала ее характер, если только порок может знать невинность, и она с тайной радостью смотрела на ее побледневшее лицо и широко раскрытые глаза. В первую минуту она даже сама поверила в то, что успела наговорить про дону Камилло, но явное отчаяние перепуганной девушки навело ее на другие подозрения.

— Ведь я не сказала тебе ничего нового,— быстро добавила она,— я только сожалею, что вместо герцога Святой Агаты ты встретила здесь меня.

— Аннина! О чем ты говоришь!

— Не за своей же кузиной ты пришла во дворец?

Джельсомина уже давно знала горе, но никогда до этой минуты она не знала жгучего стыда. Из глаз ее полились горькие слезы, и, не в силах держаться на ногах, девушка опустилась на стул.

— Я не хотела так обидеть тебя,— продолжала коварная дочь виноторговца.— Но ведь не станешь ты отрицать, что мы обе находимся в кабинете самого беспутного кавалера Венеции!

— Я уже сказала, что меня привело сюда сострадание.

— Сострадание к дону Камилло?

— Нет, к благородной синьоре, юной и прекрасной, добродетельной супруге его, дочери покойного синьора Тьеполо, самого Тьеполо, Аннина!

— А почему даме из рода Тьеполо понадобилась помощь дочери тюремного надзирателя!

— Почему? Да потому что с ней поступили несправедливо. Среди рыбаков случилось волнение... И мятежники освободили синьору и ее гувернантку... Его светлость дож говорил с ними во дворце... А далматинцы уже шли по набережной... И им пришлось спрятаться в тюрьме в такую страшную минуту... Сама святая церковь благословила любовь...

Джельсомина не могла продолжать, и, задыхаясь от желания доказать свою невинность, она громко разрыдалась. Как ни бессвязна была ее речь, все же она ска-

зала достаточно, чтобы окончательно убедить Аннину в правильности ее подозрений. Аннина знала о тайной свадьбе герцога, о волнениях рыбаков и об отъезде донны Виолетты с наставницей из монастыря, в который их доставили прошлой ночью, на отдаленный остров; она вынуждена была сопровождать дона Камилло в этот монастырь, но герцог не нашел там тех, кого разыскивал, и так и не узнал, куда они исчезли; поэтому дочь вино торговца сразу поняла не только, в чем состоит дело, возложенное на сестру, но и положение беглянок.

— И ты веришь всем этим рассказам, Джельсомина? — спросила она, делая вид, что жалеет сестру за ее доверчивость. — Нравы так называемой дочери синьора Тьеполо и ее спутницы хорошо известны на площади Святого Марка!

— Если б ты видела, как прекрасна и невинна эта синьора, ты бы никогда так не говорила!

— Да что может быть привлекательней порока! Это самая простая уловка дьявола, чтобы обманывать доверчивых простаков.

— Но тогда зачем им понадобилось укрываться в тюрьме?

— Значит, у них было достаточно оснований бояться далматинцев. Я могу еще кое-что порассказать тебе о тех, кого ты приютила с опасностью для себя. В Венеции есть женщины, позорящие свой пол, а эти две, особенно та, которая назвалась Флориндой, известна как торговка незаконным товаром! Она получила щедрый подарок от неаполитанца — вино с его калабрийских виноградников, — и вот, желая подкупить меня, предложила это вино мне, рассчитывая, что я забуду свой долг и стану помогать ей обманывать республику.

— Неужели это правда, Аннина?

— Зачем мне обманывать тебя? Разве мы с тобой не дети родных сестер? И, хотя дела на Лидо мешают нам часто видеться, мы же любим друг друга! Так вот, я сообщила об этом властям, и вино тут же отобрали, а этим якобы благородным дамам пришлось в тот же день скрыться. Предполагают, что они собираются бежать из города вместе с этим распутным неаполитанцем. Вынужденные прятаться, они послали тебя известить герцога, чтобы он пришел им на помощь.

— А зачем ты здесь, Аннина?

— Удивляюсь, что ты не спросила об этом раньше!

Джино, гондольер дона Камилло, долго и безуспешно ухаживал за мной; и, когда эта самая Флоринда пожаловалась ему, что я раскрыла ее обман, как поступила бы любая порядочная девушка, Джино посоветовал своему синьору схватить меня — отчасти из мести, отчасти же надеясь, что я отрекусь от своих слов. Ты, наверно, слышала, к какому дерзкому произволу прибегают эти господа, когда кто-нибудь идет наперекор их воле.

И Аннина со всеми подробностями рассказала сестре о том, как ее похитили, скрыв, разумеется, то, рассказывать о чем было не в ее интересах.

— Но синьора Тьеполо существует!

— Верно, как то, что мы с тобой сестры. Святая мадонна! Надо же было случиться так, чтобы этим обманщицам повстречалась такая невинная душа, как ты! Жаль, не со мной им пришлось иметь дело! И, хотя я тоже не знаю всех их уловок — Святая Анна мне свидетельница! — но они-то сами мне хорошо известны!

— Они говорили о тебе, Аннина!

Аннина бросила на сестру взгляд, подобный тому, каким смотрит на жертву змея, но, ничем не выдав своей тревоги, добавила:

— И уж, конечно, ничего хорошего. Да мне было бы и неприятно слышать похвалу от таких, как они.

— Они тебе не друзья, Аннина!

— Говорили они, что я нахожусь на службе у Совета?

— Да, говорили.

— Неудивительно. Люди бесчестные никогда не могут поверить, что другие живут с чистой совестью. Но тише! Вот идет сам герцог. Посмотри на этого распутника, Джельсомина, и ты станешь так же презирать его, как я!

Дверь открылась, и вошел дон Камилло Монфорте. По его настороженному виду можно было угадать, что он не надеялся встретить здесь свою жену. Джельсомина поднялась и, хотя все, что она видела здесь, и рассказ Аннины совсем сбили ее с толку, она, словно олицетворение скромности и добродетели, стоя ожидала приближения герцога. Неаполитанец был заметно поражен ее красотой и невинным видом, но брови его сдвинулись, как у человека, который заранее приготовился к обману.

— Ты хотела меня видеть? — спросил он.

— Да, у меня было такое желание, благородный синьор, но... Аннина...

— Увидев ее, ты передумала?

— Да, синьор.

Дон Камилло пристально и с явным сожалением взглянул на нее.

— Ты еще слишком молода для подобного ремесла! Вот тебе деньги и уходи, откуда пришла... Нет, погоди. Ты знаешь эту Аннину?

— Она родная племянница моей матери, благородный герцог.

— Ах, вот как? Что ж, достойные сестрицы! Убирайтесь обе, вы не нужны мне! Но помни,— тут герцог, взяв Аннину под руку, отвел ее в сторону и негромко продолжал с угрозой в голосе.— Ты видишь, меня следует бояться не меньше, чем Совета! И впредь от меня не укроется ни один твой шаг. Если у тебя хватит благоразумия, придержи язык. Делай что хочешь, я тебя не боюсь, но помни: в твоих же интересах быть осторожной.

Аннина смиренно поклонилась, словно в знак благодарности за мудрый совет, и, взяв за руку сестру, которая от всего услышанного еле держалась на ногах, поклонилась вновь и поспешила удалиться. Так как слуги знали, что их хозяин у себя, никто не остановил девушек, когда они покидали дворец. Джельсомина, которой еще больше, чем ее спутнице, не терпелось оставить столь оскверненное, по ее мнению, место, едва не бежала к своей гондоле. Гондольер ждал их на ступеньках причала, и спустя мгновение лодка уже мчалась прочь от дворца, который обе женщины покидали с радостью, хотя и по разным причинам.

В спешке Джельсомина оставила во дворце свою маску. Когда гондола вошла в Большой канал, девушка выглянула в окно каюты подышать свежим воздухом. Луна осветила ее простодушное лицо; щеки ее пылали от оскорбленной гордости, а также от радости, что ей удалось наконец вырваться из столь унижительного положения. В этот миг кто-то коснулся ее плеча, и, обернувшись, она увидела гондольера, знаком приказавшего ей молчать. Затем он медленно поднял свою маску.

«Карло!» — чуть не вырвалось из уст Джельсомины, но жест гондольера заставил ее сдержаться.

Джельсомина отошла от окна и постепенно успокоилась, обрадованная тем, что в такую минуту очутилась

под защитой единственного человека, которому совершенно доверяла. .

Гондольер не спросил, куда направить лодку. Гондола шла к порту, что несколько не удивило обеих девушек. Аннина полагала, будто лодка идет к площади, то есть туда, куда бы девушка направилась, оказавшись одна, а Джельсомина не сомневалась, что тот, кого она называла Карло, и в самом деле был наемным гондольером и везет ее прямо к ее жилищу.

Невинная душа может снести презрение всего света, но нет для нее ничего тягостнее подозрений того, кого она любит. Джельсомина вспомнила все, что ей говорила сестра про донна Камилло и его сообщниц, и почувствовала, что краска заливает ее лицо при одной мысли о том, что теперь подумает о ней ее возлюбленный. Десятки раз бесхитростная девушка успокаивала себя, повторяя: «Он меня знает и не предположит ничего дурного», — и все же ей не терпелось рассказать ему всю правду. В таких случаях неизвестность еще тяжелее оправдания, а для человека порядочного оправдываться всегда унижительно.

Сказавши, что под балдахином ей душно, Джельсомина вышла, оставив сестру. В свою очередь, дочь вино торговца обрадовалась случаю побыть одной, ибо ей хотелось обдумать неожиданные повороты пути, на который она ступила.

Выйдя из каюты, Джельсомина подошла к гондольеру.

— Карло! — сказала она, видя, что он молча продолжает грести.

— Джельсомина!

— Почему ты ни о чем не спрашиваешь?

— Я знаю твою коварную сестрицу и догадываюсь, что ты стала ее жертвой. Но когда-нибудь ты узнаешь правду.

— Ты не узнал меня, Карло, когда я окликнула тебя с моста?

— Нет, не узнал. Я был бы рад любому пассажиру.

— Почему ты называешь Аннину коварной?

— Потому что в Венеции не найти более лукавой души и более лживого языка!

Тут только Джельсомина вспомнила, что ей говорила донна Флоринда о дочери виноторговца. Пользуясь родственными узами и доверием, которое честные люди пи-



тают обычно к друзьям, пока их иллюзии не рассеяны, Аннине легко удалось убедить свою кузину в том, что она укрыла недостойных женщин. Но теперь Аннийу прямо обвинял тот, на чьей стороне были все симпатии Джельсомины! Совершенно сбита с толку, девушка дала волю чувствам и поведала ему все. Тихим голосом она торопливо передала Карло происшествия этого вечера и то, что говорила Аннина о женщинах, которых она приютила у себя.

Якопо слушал ее с таким вниманием, что позабыл про весло.

— Довольно, я все понял,—проговорил он, когда Джельсомина, краснея от искреннего желания оправдаться в его глазах, кончила свой рассказ.— Не верь своей кузине, она лживее самого сената.

Мнимый Карло говорил тихо и решительно. Джельсомина выслушала его с изумлением и вернулась под балдахин. Гондола продолжала свой путь, словно ничего не произошло.

Глава XXV

Довольно.

С души спал груз. Тебя люблю я, Губерт.

Потом скажу, чем награжу тебя.

Так помни.

Шекспир. «Король Иоанн».

Якопо были хорошо известны многие проявления вероломства венецианского правительства. Зная, как сенат с помощью своих людей непрестанно следит за каждым шагом тех, кто интересуется его, он был далек от надежды на успех, хотя обстоятельства, казалось, ему благоприятствовали: Аннина теперь очутилась в его власти, и она, очевидно, не успела еще передать кому-нибудь из своих хозяев сведения, которые выведала у сестры. Но одним жестом, или взглядом, брошенным на тюремные ворота, или видом несчастной жертвы принуждения, или, наконец, одним восклицанием она могла бы поднять на ноги городскую стражу. Поэтому самым важным сейчас было поместить Аннину в какое-нибудь надежное место. Вернуться во дворец дона Камилло значило попасть в самое логово подручных сената. Неаполитанец, надеясь

на свои связи и выведав все, что знала Аннина, не видел больше смысла задерживать у себя эту особу, но Якопо нашел нужным вновь задержать ее, так как теперь положение изменилось и она могла многое сообщить властям города о беглянках.

Гондола продвигалась вперед. Площади и дворцы оставались позади, и вскоре Аннина с нетерпением глянула в окно, чтобы узнать, где они находятся. В это время лодка пробиралась меж судов в порту, и беспокойство Аннины возросло. Под тем же предлогом, что и сестра, она выбралась из кабины и подошла к гондольеру.

— Отвезите меня скорее к воротам Дворца Дожей, — сказала Аннина, кладя на ладонь гондольера серебряную монету.

— Ваше приказание будет исполнено, прекрасная синьора. Но меня удивляет, что такая разумная девушка не чует сокровищ, которые таятся вон на той фелукке!

— Ты говоришь о «Прекрасной соррентинке»?

— Где же еще можно найти такое прекрасное вино! А потому не спеши на берег, дочь старого честного Томазо, и поговори с хозяином фелукки! Ты окажешь всем гондольерам большую услугу!

— Значит, ты знаешь меня?

— Конечно! Ты хорошенькая торговка вином с Лидо. Гондольеры знают тебя так же хорошо, как мост Риальто.

— А почему ты в маске? Ты не Луиджи?

— Неважно, как меня зовут — Луиджи, Энрико или Джорджио; я один из твоих покупателей и самый пылкий из твоих поклонников! Ты ведь знаешь, Аннина, когда молодые патриции пускаются на всякие шалости, они требуют от нас, гондольеров, чтобы мы держали все в тайне, пока не минует всякая опасность. Если какой-нибудь нескромный взор обнаружит меня, ко мне могут привязаться с расспросами, где я был весь день.

— Твоему синьору следовало бы сразу дать тебе денег и отправить домой.

— Когда мы затеряемся среди других лодок, я, пожалуй, сниму маску. Ну что, хочешь взойти на «Прекрасную соррентинку»?

— Зачем ты спрашиваешь, если все равно ведешь лодку, куда тебе угодно?

Гондольер засмеялся и кивнул, словно давая понять, что разгадал ее сокровенные желания. Аннина все еще

раздумывала, как бы заставить его изменить свои намерения, когда лодка коснулась борта фелукки.

— Мы поднимемся наверх и поговорим с хозяином,— шепнул Якопо.

— Бесполезно, у него нет вина.

— Не верь ему! Я знаю этого человека и все его отговорки.

— Но ты забыл о моей кузине.

— Она невинное дитя и ничего не заподозрит.

Говоря это, браво мягко, но властно подтолкнул Аннину на палубу «Прекрасной соррентинки» и сам прыгнул туда вслед за ней. Затем, не останавливаясь и не давая Аннине опомниться, Якопо повел ее к ступенькам в каюту, куда она спустилась, удивляясь поведению незнакомого гондольера, но ничем не выдавая своего тайного беспокойства.

Стефано Милано дремал в это время на палубе, завернувшись в парус. Якопо разбудил спящего и подал тайный знак; владелец фелукки понял, что перед ним человек, известный ему под именем Родриго.

— Тысяча извинений, синьор,— сказал, зевая, моряк.— Ну что, прибыл мой груз?

— Не весь. Пока я привез к тебе некую Аннину Торти, дочь старого Томазо Торти, виноторговца с Лидо.

— Матерь божья! Неужели сенат находит нужным высылать эту особу из города так таинственно?

— Да. И придает этому большое значение! Чтобы она не подозревала о моих намерениях, я предложил ей тайно купить у тебя вина. Как мы раньше договорились, теперь твоя обязанность следить, чтобы она не сбежала.

— Ну, это дело простое,— проговорил Стефано и, подойдя к дверям каюты, плотно закрыл их и задвинул засов.— Теперь она там наедине с изображением мадонны, и, пожалуй, лучшего случая повторить молитвы ей не представится.

— Хорошо, если ты и дальше ее удержишь там. А теперь пора поднимать якорь и вывести фелукку из толчеи судов.

— Синьор, мы готовы, и на это понадобится не более пяти минут.

— Поспешите же. Многое зависит от того, как ты справишься с этим щекотливым делом. Скоро мы вновь увидимся. Помни, синьор Стефано, карауль свою пленницу, потому что сенату очень важно, чтобы она не сбежала.

Калабриец сделал многозначительный жест в знак того, что на него-то можно положиться. Как только мнимый Родриго вернулся в свою гондолу, Стефано принялся будить матросов, и, когда гондола входила в канал Святого Марка, фелукка калабрийца с приспущенными парусами осторожно пробралась между судами и вышла в открытое море.

Вскоре гондола причалила к воротам дворца. Джельсомина вошла под своды его и по той же Лестнице Гигантов, по которой она недавно покинула дворец, скользнула внутрь. На посту стоял все тот же алебарщик. Он учтиво обратился к девушке, но не задержал ее.

— Скорее, синьоры, поспешите! — воскликнула Джельсомина, вбегая в комнату, где она оставила своих гостей. — Все может рухнуть по моей вине, и теперь нельзя терять ни минуты. Пойдемте скорее, пока еще есть возможность!

— Ты совсем запыхалась, — сказала донна Флоринда. — Ты видела герцога Святой Агаты?

— Ничего не спрашивайте сейчас, идите за мной!

Джельсомина схватила лампу и, бросив на своих гостей взгляд, убедивший их, что следует повиноваться, первой вышла в коридор. Едва ли стоит говорить, что обе женщины последовали за ней.

Они благополучно покинули тюрьму, пересекли Мост Вздохов, ибо ключи от дверей все еще оставались в руках Джельсомины, и, спустившись по большой дворцовой лестнице, в молчании добрались до открытой галереи. На пути их никто не остановил, и они спокойно вышли во двор с видом людей, отправляющихся по своим обычным делам.

Якопо ждал их в гондоле у ворот. Не прошло и минуты, как лодка уже мчалась по гавани вслед за фелуккой, чьи белые паруса отчетливо виднелись в лунном свете, то наполняясь ветром, то опадая, когда судно сбавляло ход. Джельсомина с радостным волнением проводила глазами удалявшуюся лодку, а затем, перейдя мост, вошла в здание тюрьмы через главные ворота.

— Ты уверен, что дочь старого Томазо в надежном месте? — спросил Якопо, вновь поднявшись на палубу «Прекрасной соррентинки».

— Она там, как неукрепленный груз, синьор Родриго, мечется от одной стенки каюты к другой. Но, как видите, засовы нетронуты!

— Хорошо. Я привез тебе другую часть груза. У тебя есть пропуск для сторожевых галер?

— Все в полном порядке, синьор! Разве когда-нибудь Стефано Милано подводил в спешном деле? Теперь пусть только подует бриз, и тогда, если бы даже сенат захотел вернуть нас, вся городская стража не сумеет поймать нашу фелукку.

— Молодец, Стефано! В таком случае подымай паруса, ибо наши господа следят за фелуккой и оценят твоё усердие.

Стефано повиновался, а Якопо тем временем помог обеим женщинам выйти из гондолы и подняться на палубу.

— У тебя на борту благородные синьоры,— обратился Якопо к хозяину судна, когда тот снова подошел к нему,— и, хотя они покидают город на время, ты заслужишь одобрение, если станешь угождать им.

— Не сомневайтесь во мне, синьор Родриго. Но вы забыли сказать, куда я должен их отвезти. Ведь фелукка, которая не знает курса, подобна сове в лучах солнца!

— Это станет тебе известно в свое время. Скоро явится чиновник республики и даст тебе необходимые указания. Я бы не хотел, чтобы эти благородные дамы узнали, пока они еще не отплыли от порта, что рядом с ними Аннина. Они могут пожаловаться на непочтительность. Ты понял меня, Стефано?

— Да что я, глупец или безумец? Если так, зачем сенат поручает мне такое дело? Аннина от них далеко и там останется. Если синьоры согласятся наслаждаться свежим морским воздухом, они ее не увидят.

— За них не беспокойся. Жители суши тяжело переносят душный воздух каюты. Ты зайдешь за Лидо, Стефано, и подождешь там меня. Если я не вернусь к полуночи, уходи в порт Анкону, там ты получишь новые указания.

Стефано уже не раз имел дело с мнимым Родриго, потому он лишь кивнул, и они расстались. Разумеется, беглянкам заранее подробно рассказали, как им следует вести себя.

Ни разу еще гондола Якопо не летела быстрее, чем теперь, когда он направил ее к берегу. Среди постоянно сновавших судов вряд ли кто-нибудь заметил мчавшуюся лодку, и, достигнув набережной Пьяццы, Якопо убедился, что его отбытие и возвращение не привлекли ни-

чьего внимания. Смело сняв маску, он вышел из гондолы. Приближался час свидания, которое он назначил дону Камилло, и Якопо не спеша направился к условленному месту.

Прежде мы рассказывали, что Якопо имел обыкновение разгуливать поздно вечером около гранитных колонн близ Дворца Дожей. Венецианцы полагали, будто он бродит там в ожидании кровавых заказов, как люди, занимающиеся более невинным ремеслом, которые имеют свои определенные места на площади. Завидев браво на обычном месте, осторожные горожане, а также те, кто хотел остаться внешне безупречным, обходили его стороной.

Всеми презираемый и тем не менее почему-то терпимый, браво медленно шагал по вымощенному плитами проходу, не желая прийти на свидание раньше времени, когда неизвестный человек, по виду лакей, сунул ему в руку записку и умчался со всей быстротой, на какую только способны были его ноги. Читатель уже знает, что Якопо был неграмотен, ибо в тот век людей его сословия старались держать в невежестве.

Браво обратился к первому встречному, который, по его мнению, мог прочесть записку. Прохожий оказался почтенным торговцем из дальнего квартала города. Он охотно взял листок и с улыбкой прочел вслух:

— *«Якопо, я не могу встретиться с тобой, потому что меня вызвали в другое место».*

Сообразив, кому адресована записка, торговец бросил ее и кинулся бежать.

Браво медленно пошел назад к набережной, раздумывая о столь неудачном стечении обстоятельств, как вдруг кто-то тронул его за локоть. Обернувшись, Якопо увидал человека в маске.

— Ты Якопо Фронтони? — спросил незнакомец.

— Он самый.

— Можешь честно послужить мне?

— Я держу свое слово.

— Хорошо. В этом кошельке ты найдешь сто цехинов.

— И чью жизнь вы оцениваете такой суммой? — спросил Якопо вполголоса.

— Жизнь дона Камилло Монфорте.

— Дона Камилло Монфорте?!

— Да. Ты знаешь этого великолепного синьора?

— Вы сами достаточно сказали о нем. Такую сумму он дал бы своему цирюльнику, чтоб тот пустил ему кровь!

— Исполни поручение как следует, и сумма будет удвоена.

— Мне нужно знать, с кем я имею дело. Я вас не знаю, синьор.

Незнакомец осторожно огляделся по сторонам и приподнял маску, под которой браво увидел лицо Джакомо Градениго.

— Ну как, это тебя устраивает?

— Да, синьор. Когда я должен исполнить ваше приказание?

— Сегодня ночью... Нет, пожалуй, сейчас же!

— Я должен убить такого благородного синьора в его же дворце... во время его развлечений?

— Подойди ближе, Якопо, я скажу тебе еще кое-что. У тебя есть маска?

Браво кивнул.

— Тогда скрой свое лицо — ты ведь знаешь сам, его тут не всем приятно видеть — и ступай в свою лодку. Я присоединюсь к тебе.

Молодой патриций, чья фигура оставалась скрыта плащом, оставил Якопо, намереваясь встретиться с ним в таком месте, где никто не смог бы его узнать. Якопо разыскал свою гондолу среди множества лодок, сгрудившихся у набережной, и, выведя ее на открытое место, остановился, зная, что за ним следят и скоро догонят. Его предположения оправдались: через несколько минут какая-то гондола стремительно приблизилась к его лодке и двое в масках молча пересели к нему.

— На Лидо! — бросил один из них, и Якопо по голосу узнал молодого Градениго.

Гондола тронулась, за ней в некотором отдалении последовала лодка Градениго. Когда они были на значительном расстоянии от судов и уже никто не мог подслушать их разговор, оба пассажира вышли из кабины и жестом приказали Якопо перестать грести.

— Ты берешься за это дело, Якопо Фронтони? — спросил беспутный наследник старого сенатора.

— Я должен убить герцога в его собственном дворце?

— Не обязательно. Мы нашли способ вызвать его

оттуда. Теперь он в твоей власти и может надеяться только на свою храбрость и свое оружие. Ты согласен?

— Охотно, синьор. Я люблю иметь дело с храбрыми людьми.

— Тебя отблагодарят. Неаполитанец перешел мне дорогу — как это называется, Осия? — в любви, что ли... или у тебя есть лучшее словечко для этого?

— Праведный Даниил! У вас нет никакого почтения, синьор Градениго, к званию и роду! Синьор Якопо, мне кажется, не стоит убивать его. Так только, немножко ранить, чтобы хоть на время выбить из головы его мысли о браке и обратить к раскаянию...

— Нет, меть в сердце! — прервал его Джакомо. — Я знаю, у тебя твердая рука, потому и обратился к тебе.

— Это излишняя жестокость, синьор Джакомо, — сказал менее решительный Осия. — Нам вполне достаточно продержать неаполитанца месяц в его дворце.

— В могилу его, Якопо! Слушай, я дам тебе сто цехинов за удар, вторые сто — если удар окажется верным и еще сто — если труп ты бросишь в Орфано, чтобы воды канала скрыли его навеки.

— Если два первых условия будут выполнены, третье явится необходимой предосторожностью, — пробормотал предусмотрительный Осия, который всегда оставлял подобные лазейки, чтобы облегчить бремя своей совести. — Вы не согласны ограничиться раной, синьор Градениго?

— За такой удар — ни единого цехина! Это только разжалобит девицу. Ну как, согласен ты на мои условия, Якопо?

— Да.

— Тогда гребь к Лидо. Там, не позднее чем через час, ты встретишь дона Камилло на еврейском кладбище. Его обманули, послав записку от имени девушки, чьей руки мы оба добиваемся. Он будет там один в надежде покинуть Венецию вместе со своей возлюбленной. Думаю, с твоей помощью он ее покинет. Ты понял?

— Как не понять, синьор!

— Вот и все. Ты знаешь меня. Когда исполнишь дело, найдешь меня и получишь награду. Осия, едем!

Джакомо Градениго знаком подозвал свою гондолу и, бросив браво кошель с задатком за кровавую услугу, прыгнул в лодку с равнодушным видом человека, кото-

рый считает подобный способ достижения цели вполне естественным.

Осия же чувствовал себя иначе, будучи скорее плутом, чем негодяем. Желание вернуть свои деньги и соблазн получить большую сумму, обещанную ему сыном и отцом Градениго в случае, если молодой повеса добьется успеха у донны Виолетты, не давали покоя старому ювелиру, жившему в вечном презрении окружающих; но кровь застывала у него в жилах при одной мысли об убийстве, и он решил перед уходом сказать браво несколько слов.

— Говорят, у тебя верная рука, почтенный Якопо,— прошептал Осия.— С твоей ловкостью ты так же искусно ранишь, как и убиваешь. Ударь неаполитанца кинжалом, но не на смерть. С такими людьми, как ты, ничего не случится, даже если иной раз ударишь не в полную силу.

— Ты забыл про золото, Осия!

— Ах, отец Авраам! Память у меня с годами слабеет! Ты прав, памятливым Якопо. Золото в любом случае не пропадет, если ты все уладишь так, чтобы дать моему другу надежду на успех у наследницы.

Якопо сделал нетерпеливый жест, ибо в эту минуту увидел лодку, быстро шедшую к уединенной части Лидо. Осия присоединился к своему сообщнику, а суденышко браво понеслось к берегу, и вскоре уже лежало на прибрежном песке. Быстрыми шагами Якопо шел меж тех могил, где недавно излил душу тому, которого теперь ему надлежало убить.

— Не ко мне ли ты послан? — раздался голос, и из-за песчаного холмика появился человек с обнаженной рапирой в руке.

— К вам, синьор герцог,— ответил Якопо, снимая маску.

— Якопо!! Это даже лучше, чем я ожидал! Есть у тебя какие-нибудь известия о моей супруге?

— Следуйте за мной, дон Камилло, и вы увидите ее сами!

После такого обещания слов более не потребовалось. Они были уже в гондоле, направлявшейся к одному из проливов Лидо, ведущих к заливу, когда браво начал говорить. Он быстро описал дону Камилло все происшедшее, не забыв и о замысле Джакомо Градениго относительно убийства герцога.

Фелукка Стефано, которую чиновники городской стражи сами заблаговременно обеспечили необходимым пропуском, под парусами вышла из порта тем же проливом, по которому шла теперь в Адриатику гондола Якопо. Море было спокойно, с берега дул легкий бриз; словом, все благоприятствовало побегу. Опершись о мачту, донна Виолетта и гувернантка ее нетерпеливо вглядывались в удалявшиеся дворцы, придававшие такую красоту полнотной Венеции. Время от времени с каналов доносилась музыка, навевая грусть на донну Виолетту; с беспокойством думала она, как бы звуки эти не оказались последними, какие ей пришлось услышать в ее родном городе. Но счастье переполнило сердце донны Виолетты, изгнав из него все тревоги и волнения, когда на палубу с подошедшей гондолы поднялся сам до Камилло и заключил в объятия свою молодую супругу.

Стефано Милано оказалось нетрудно уговорить навсегда оставить службы сенату и перейти целиком к своему синьору. Выслушав обещания и приказ герцога, хозяин фелукки быстро согласился на это, и тогда все решило, что медлить нельзя. Поставив паруса по ветру, фелукка стала стремительно удаляться от берега. Гондола Якопо шла некоторое время на буксире в ожидании своего хозяина.

— Вам надо отправиться в Анкону, синьор герцог, — говорил Якопо, стоял у борта фелукки и все еще не решаясь отплыть. — Там вы немедля обратитесь за покровительством к кардиналу-секретарю. Если Стефано пойдет открытым морем, вы можете повстречать галеры республики.

— Не тревожься за нас, милый мой Якопо. Но вот что случится с тобой, если ты останешься в руках сената?

— Не беспокойтесь обо мне, синьор. У всякого своя судьба. Я говорил вам, что не могу сейчас покинуть Венецию. Если счастье мне улыбнется, быть может, я еще увижу ваш неприступный замок Святой Агаты.

— И никто не будет встречен там с большим радушием, чем ты. Я так боюсь за тебя, Якопо!

— Не думайте о том, синьор. Я привык к опасности, к горю... и к отчаянию... Сегодня я так счастлив, видя радость двух юных сердец, как давно не бывал. Да хранит вас Бог, синьора, и оградит от всех несчастий!

Якопо поцеловал руку донны Виолетты, которая, не зная еще всех оказанных им услуг, слушала его с большим удивлением.

— Дон Камилло Монфорте,— продолжал Якопо,— не верьте Венеции до конца дней своих! Пусть все посулы сената увеличить ваше богатство, окружить славой ваше имя никогда не соблазнят вас. Бойтесь снова очутиться во власти этих людей. Никто лучше меня не знает лживость и вероломство венецианских правителей, и, поэтому последнее мое слово к вам— будьте осторожны!

— Ты говоришь так, достойный Якопо, будто нам не суждено более увидеться.

Браво отвернулся, и луна осветила его грустную улыбку, в которой радость за влюбленных смешалась со страхом перед будущим.

— Можно быть уверенным только в своем прошлом,— проговорил он негромко.

Коснувшись руки дона Камилло, Якопо в знак глубокого к нему почтения поцеловал свою и поспешно скользнул в гондолу. Канат отвязали, и фелукка двинулась вперед, оставив этого необыкновенного человека одного среди моря. Дон Камилло бросился на корму, чтобы в последний раз взглянуть на Якопо, медленно плывшего к городу, где царили насилие и обман и который герцог Святой Агаты покидал с такой радостью.

Глава XXVI

Я сгорблен, лоб наморщен мой;
Но не труды, не хлад, не зной —
Тюрьма разрушила меня.
Лишенный сладостного дня,
Дыша без воздуха, в цепях,
Я медленно дряхлел и чах.

Байрон. «Шильонский узник».

На рассвете следующего дня площадь Святого Марка оставалась еще пустынна. Священники по-прежнему пели псалмы над телом старого Антонио; но некоторое количество рыбаков все еще толпилось у собора и внутри него, не до конца поверив мнению властей о том, при каких обстоятельствах погиб их товарищ. Впрочем, в городе в этот час, как обычно, было тихо; кратковременное волнение, поднявшееся вдруг во время мятежа рыбаков, сменилось тем особым, зыбким спокойствием, что является неизбежным порождением системы правления, не основанной на поддержке и одобрении народа.

В тот день Якопо снова оказался во Дворце Дожей. Пробираясь в сопровождении Джельсомины по бесчисленным переходам здания, браво во всех подробностях рассказал своей внимательной спутнице о бегстве влюбленных, благоразумно умолчав лишь о замысле Джакомо Градениго убить дона Камилло. Преданная Джельсомина слушала его затаив дыхание, и только порозовевшие щеки и выразительные глаза девушки говорили о том, как близко к сердцу принимала она все их злоключения.

— И ты думаешь, им удастся скрыться от властей? — проговорила Джельсомина чуть слышно, ибо вряд ли кто-нибудь в Венеции решился бы задать такой вопрос вслух. — Ты знаешь, сторожевые галеры постоянно в море!

— Мы подумали об этом и решили, что «Прекрасная соррентинка» возьмет курс на Анкону. Как только они окажутся во владениях римской церкви, связи дона Камилло и права его благородной супруги оградят их от преследований... Скажи, можно ли отсюда взглянуть на море?

Джельсомина провела Якопо в пустую комнату под самой крышей, откуда открывался вид на порт, на Лидо и безбрежные просторы Адриатики. Сильный бриз, проносясь над крышами города, раскачивал в порту мачты и затихал в лагунах, где уже не осталось судов. По тому, как надувались паруса и с каким усилием гондолеры гребли к набережной, было видно, что дует крепкий ветер. За Лидо он делался порывист, а вдали, на беспокойном море, поднимал пенные гребни волн.

— Ну вот, все хорошо! — воскликнул Якопо, окинув даль внимательным взглядом. — Они успели уйти далеко от берега и при таком ветре скоро достигнут своей гавани. А теперь, Джельсомина, пойдем к моему отцу.

Джельсомина улыбнулась, когда Якопо уверил ее, что влюбленные теперь в безопасности, но, услышав его просьбу, девушка помрачнела. Она молча пошла вперед, и через короткое время оба стояли у ложа старика. Заключение, казалось, не заметил их появления, и Якопо вынужден был окликнуть его.

— Отец, — произнес он с той особенной грустью в голосе, какая всегда появлялась у него в разговоре со стариком, — я пришел.

Узник обернулся, и, хотя он, очевидно, страшно ослабел со времени последней встречи с сыном, на его изможденном лице появилась едва заметная улыбка.

— Ну что, сынок, как мать? — спросил он с такой тревогой, что Джельсомина поспешно отвернулась.

— Она счастлива, отец, счастлива...

— Счастлива без меня?

— В мыслях она всегда с тобой, отец.

— А твоя сестра?

— Тоже. Не беспокойся, отец! Они обе смиренно и терпеливо ждут тебя.

— А сенат?

— По-прежнему бездушен, лжив и жесток, — сурово отвечал Якопо и отвернулся, обрушивая в душе проклятия на головы власть имущих.

— Благородных синьоров обманули, донесся им, будто я покушался на их достояние, — смиренно сказал старик. — Придет время, и они поймут и признают это.

Якопо ничего не ответил; неграмотный, лишенный необходимых знаний, которые даются людям правительствами, отечески пекущимися о своих подданных, но обладая от природы ясным умом, он понимал, что система правления, провозглашающая основой своей некие особые качества избранного меньшинства, ни за что не допустит сомнения в законности своих действий, признав, что и она способна ошибаться.

— Ты несправедлив к сенаторам, сынок. Это благородные патриции, им нет надобности зря наказывать таких людей, как я.

— Никакой, отец, кроме необходимости поддерживать жестокие законы, по которым они становятся сенаторами, а ты — узником!

— Ты не прав, сынок, я знал среди них и достойных людей! К примеру, последний синьор Тьеполо: он сделал мне много добра, когда я был молод. Если бы не это ложное обвинение, я и сейчас оставался бы первым среди рыбаков Венеции.

— Отец, помолимся вместе о душе синьора Тьеполо.

— Разве он умер?

— Так гласит роскошный памятник в церкви Реденторе.

— Все мы когда-нибудь умрем, — перекрестившись, прошептал старик, — и дож, и патриций, и гондольер. Яко...

— Отец! — поспешно воскликнул браво, чтобы не дать старику выговорить это слово, и, наклонившись к нему, шепнул: — Ты ведь знаешь, есть причины, по которым мое имя не следует произносить вслух. Я не раз говорил тебе: если ты станешь меня называть так, мне не позволят приходить к тебе.

Старик казался озадаченным: разум его так ослабел, что многое он перестал понимать. Он долго смотрел на сына, затем перевел взгляд на стену и вдруг улыбнулся, как ребенок:

— Посмотри, сынок, не приполз ли паук?

Из груди Якопо вырвался стон, но он поднялся, чтобы исполнить просьбу отца.

— Не нахожу его, отец. Вот подожди, скоро будет тепло...

— Какого еще тепла? Мои вены вот-вот лопнут от жары! Ты забываешь, что здесь чердак, что крыша тут свинцовая, а солнце... Ох, это солнце! Благородные сенаторы и не знают, какое мучение сидеть зимой в подземелье, а жарким летом — под раскаленной крышей.

— Они думают только о своей власти, — шептал Якопо. — Власть, которую обрели несправедливым путем, может держаться лишь на жестокой несправедливости! Но к чему нам говорить с тобой об этом, отец! Скажи лучше: чего тебе недостает?

— Воздуха... сынок, воздуха! Дай мне подышать воздухом, ведь Бог создал его для всех, даже самых несчастных.

Якопо бросился к стене этого древнего, оскверненного столькими преступлениями здания, в которой кое-где виднелись трещины, — он уже не раз пытался их расширить, — и, напрягая все силы, постарался хоть немного увеличить их. Но, несмотря на отчаянные усилия браво, стена не поддавалась, и лишь на пальцах его выступила кровь.

— Дверь, Джельсомина! Распахни дверь! — крикнул он, изнемогая от бессмысленной борьбы.

— Нет, сынок, сейчас я не страдаю. Вот когда тебя нет рядом и я остаюсь один со своими мыслями, когда вижу твою плачущую мать и брошенную сестру, тогда мне нечем дышать!.. Скажи, ведь теперь уже август?

— Еще июнь не наступил, отец.

— Значит, будет еще жарче? Святая мадонна, дай мне силы вынести все это!

Безумный взгляд Якопо сделался еще более страшен, чем затуманенный взор старика. Грудь его вздымалась, кулаки были сжаты.

— Нет, отец,— проговорил он тихо, но с непоколебимой решительностью,— ты не будешь больше так страдать. Вставай, идем со мной. Двери открыты, все входы и выходы во дворце я знаю как свои пять пальцев, да и ключи в наших руках. Я сумею спрятать тебя до наступления темноты, и мы навеки покинем эту проклятую республику!

Луч надежды блеснул в глазах старого узника, когда он слушал эти безумные слова сына, но сомнение и неуверенность тут же погасили его.

— Ты, сын мой, забыл о тех, кто стоит над нами. И потом, эта девушка... Как ты сможешь обмануть ее?

— Она займет твое место... Она сочувствует нам и охотно позволит себя связать, чтобы обмануть стражей. Я ведь не зря надеюсь на тебя, милая Джельсомина?

Испуганная девушка, которая никогда прежде не видела такого проявления отчаяния со стороны Якопо, опустилась на скамью, не в силах выговорить ни слова. Старик смотрел то на нее, то на сына; он попытался приподняться с постели, но от слабости тут же упал назад, и только тогда Якопо понял, что мысль о бегстве, являвшаяся ему в миг отчаяния, по многим причинам невыполнима. Воцарилось долгое молчание. Понемногу Якопо овладел собой, и лицо его снова обрело столь обычное для него выражение сосредоточенности и спокойствия.

— Отец,— сказал он,— я должен идти. Близок конец наших мучений.

— Но ты скоро опять придешь?

— Если судьбе будет угодно. Благослови меня, отец!

Старик простер руки над головой сына и зашептал молитву. Когда он кончил, bravo и Джельсомина еще некоторое время оставались в камере, приводя в порядок ложе узника, и затем вместе вышли.

Разумеется, Якопо не хотел уходить. Его не оставляло зловещее чувство, что скоро этим тайным посещениям настанет конец. Помедлив немного, bravo и девушка спустились вниз, и, так как Якопо хотел поскорее выйти из дворца, не возвращаясь в тюрьму, Джельсомина решила вывести его через главный коридор.

— Ты сегодня грустней обычного, Карло,— заметила девушка с чисто женской проницательностью, вглядываясь в глаза браво.— А мне казалось, ты должен радоваться удаче герцога и синьоры Тьеполо.

— Их побег — как луч солнца в зимний день, милая Джельсомина... Но что это? За нами наблюдают? Почему этот человек следит за нами?

— Кто-нибудь из дворцовых слуг. В этой части здания они попадают на каждом шагу. Войди сюда, отдохни, если устал. Тут редко кто бывает, а из окна мы сможем опять взглянуть на море.

Якопо последовал за Джельсоминой в одну из пустых комнат третьего этажа; ему и в самом деле хотелось, прежде чем выйти из дворца, взглянуть, что делается на площади. Его первый взгляд был обращен к морю, которое по-прежнему катило к югу свои волны, подгоняемые ветром с Альп. Успокоенный этим зрелищем, браво посмотрел вниз. В эту минуту из ворот дворца вышел чиновник республики в сопровождении трубача, что делалось обычно, когда народу сообщали решение сената. Джельсомина открыла окно, и оба придвинулись ближе, чтобы послушать. Когда маленькая процессия достигла собора, слышались звуки трубы, и вслед за ними раздался голос чиновника:

— «За последнее время в Венеции совершено много злодейских убийств достойных граждан города,— объявил он.— Сенат в отеческой заботе о тех, кого он призван защищать, счел необходимым прибегнуть к крайним мерам, дабы не допустить более повторения преступлений, противных законам божьим и угрожающих безопасности общества. Посему высокий Совет Десяти обещает награду в сто цехинов тому, кто сыщет виновника хотя бы одного из этих столь жестоких преступлений. Далее: прошлой ночью в лагунах найдено тело Антонио, известного рыбака и достойного гражданина, почитаемого патрициями. Есть много причин полагать, что погиб он от руки некоего Якопо Фронтони, слывущего наемным убийцей, за коим уж давно, но безуспешно ведется наблюдение, дабы выяснить причастность его к упомянутым ужасным преступлениям. Совет призывает всех честных и достойных граждан республики помочь властям схватить означенного Якопо Фронтони, даже если он станет искать убежища в храме божьем, ибо нельзя терпеть более, чтобы среди жителей Венеции

обретался такой человек. И в прощание сенат в отеческой заботе своей обещает за поимку его триста цехинов».

Объявление заканчивалось обычными словами молитвы и подписями носителей верховной власти.

Так как сенат вершил дела втайне и не имел обыкновения открывать свои намерения народу, все, кто находился поблизости, с удивлением и трепетом внимали словам чиновника, взирая на необычную церемонию. Некоторые содрогнулись при мысли о столь неожиданном проявлении таинственной и ужасной власти; большинство же старалось показать, что они восхищены тем, как правители пекутся о своих подданных.

Но, пожалуй, внимательней всех слушала это объявление Джельсомина. Она высунулась из окна, чтобы не пропустить ни одного слова чиновника.

— Ты слышал, Карло? — нетерпеливо воскликнула девушка, обернувшись. — Они наконец обещают награду за поимку этого чудовища, у которого столько убийств на душе!

Якопо засмеялся, но смех его показался Джельсомине странным.

— Патриции справедливы, — отозвался он, — и все, что они делают, верно. Они благородного происхождения и не могут ошибаться! Они исполняют свой долг.

— У них есть только один святой долг перед Богом и людьми.

— Я слышал о долге народа, но никогда — о долге сената.

— Нет, Карло, нельзя отказать им в добрых намерениях, когда они хотят оградить людей от всякого зла. Этот Якопо — настоящее чудовище, его все презирают, и его кровавые дела слишком долго позорили Венецию. Ты видишь, патриции не скупятся на золото, чтобы только схватить его. Слушай! Они снова читают!

Вновь зазвучала труба, и теперь воззвание читали меж гранитных колонн Пьяцетты, совсем близко от окна, где стояли Джельсомина и ее невозмутимый спутник.

— Зачем ты надел маску, Карло? — спросила девушка, когда чиновник кончил. — В такой час во дворце не принято носить ее.

— Я делаю это нарочно: может быть, они примут меня за самого дожа, который стесняется открыто слу-

шать свой собственный указ, или подумают, будто я один из Совета Трех!

— Чиновник идет по набережной к Арсеналу. Оттуда они, как обычно, отправятся на Риальто.

— И тем самым дадут ужасному Якопо возможность скрыться? Ваши судьи тайно вершат дела, когда им следовало бы разбирать их открыто, и откровенны там, где лучше бы помолчать. Я должен покинуть тебя, Джельсомина. Выпусти меня через внутренний двор, а сама вернись домой.

— Я не могу этого сделать, Карло... Ты ведь знаешь, власти разрешили тебе... не стану скрывать — я нарушила их приказ: тебе не дозволено в этот час появляться во дворце...

— И ты сделала это ради меня, Джельсомина?

Девушка в смущении опустила голову, и щеки ее покрылись легким румянцем, подобным утренней заре, вспыхнувшей над ее родным городом.

— Ведь этого хотел ты, — отвечала она.

— Тысячу раз спасибо тебе, дорогая, добрая, верная Джельсомина! Не бойся за меня, я выйду из дворца незамеченным. Сюда трудно попасть, но тот, кто выходит, очевидно, имел право войти.

— Днем, Карло, мимо алебардщиков идут в маске только те, кому известен пароль.

Браво, казалось, был потрясен словами Джельсомины; лицо его выразило полную растерянность. Он слишком хорошо знал, на каких условиях ему разрешалось сюда приходить, и потому не сомневался, что если попытается выйти на набережную через тюремные ворота, то непременно будет схвачен стражей, которую к этому времени уже оповестят о том, кто он такой. Другой выход казался ему теперь столь же опасным. Его удивило не столько содержание прочитанного на площади объявления, сколько та огласка, какой сенат решил предать свои действия, и, слушая возводимые на него обвинения, он испытал скорее мучительную душевную боль, чем страх.

До сих пор Якопо не сомневался, что все обойдется благополучно: ведь в Венеции носить маски считалось делом обычным и у него оставалось много способов скрыться; но теперь он очутился в западне. Джельсомина прочла в глазах браво нерешительность и пожалела, что встревожила его.

— Не так уж все плохо, Карло,— заметила она.— Сенат позволил тебе навещать отца, правда, в определенные часы; но все равно это значит, что и он способен на жалость; если я нарушила распоряжение, чтобы доставить тебе радость, у властей не хватит жестокости счесть эту ошибку за преступление.

Якопо с сожалением посмотрел на девушку: как мало понимает она истинную природу действий Святого Марка!

— Нам пора расстаться,— сказал он,— иначе невинная душа может поплатиться за мою неосторожность. Мы уж подошли к главному коридору. Может быть, мне повезет и я смогу выйти на набережную.

Джельсомина схватила его за руку, не желая оставлять одного в этом страшном здании.

— Нет, Карло,— проговорила она,— ты сразу же наткнешься на солдата, твоя вина обнаружится, и тогда они уже больше не позволят тебе приходить сюда, чтобы навещать отца.

Якопо знаком попросил ее идти вперед и сам пошел следом. С бьющимся сердцем, но уже немного успокоившись, Джельсомина быстро скользила по длинным коридорам, как всегда аккуратно запирая за собой все двери. Наконец они вышли к знаменитому Мосту Вздохов. Теперь девушка почти что совсем успокоилась, ибо они подходили к ее жилищу, где она решила спрятать своего спутника в комнате отца, если для него окажется опасно покинуть тюрьму в течение дня.

— Подожди немного, Карло,— шепнула она, пытаясь открыть дверь, соединявшую дворец с тюрьмой. Замок щелкнул, но дверь не отворилась.— Они задвинули засовы изнутри,— бледнея, проговорила Джельсомина.

— Неважно. Я пройду по двору мимо стражи без маски.

Джельсомина подумала, что ему не страшно быть узанным слугами дожа, и, желая поскорее вывести его, побежала к двери в другом конце галереи, но и эта дверь, через которую они вошли минуту назад, тоже не поддавалась. Джельсомина, пошатнувшись, прислонилась к стене.

— Мы не сможем выйти отсюда! — в тревоге воскликнула она, сама не понимая еще причины своего испуга.

— Я знаю,— произнес Якопо,— мы в плену у этого рокового моста.

Браво спокойно снял маску, и Джельсомина прочла в его глазах отчаянную решимость.

— Святая мадонна! Что все это значит?

— Это означает, что мы сегодня здесь в последний раз, дорогая.

Заскрипели засовы, и обе двери со скрежетом отворились в один и тот же миг. На мосту появился вооруженный инквизитор, держа наготове кандалы. Джельсомина вскрикнула, на лице Якопо не дрогнул ни один мускул, пока на него надевали цепи.

— И меня тоже! — крикнула в отчаянии Джельсомина.— Задержите и меня! Это я виновата! Свяжите меня, бросьте в тюрьму, только оставьте бедного Карло на свободе!

— Карло?—отозвался сановник, сухо рассмеявшись.

— Разве это преступление — навещать отца в тюрьме? Сенат знал, что он ходит сюда... Они разрешили ему... Он только перепутал часы!..

— Знаешь ли ты, девушка, за кого просишь?

— За самое доброе сердце... за самого преданного сына в Венеции! Если б вы только видели, как он плачет над страданиями отца, какие мучения терзают его, вы бы сжалились над ним!

— Слушай! — сказал тот, сделав рукой жест, призывающий к вниманию.

На мосту Святого Марка, под самым Мостом Вздохов, вновь зазвучала труба и слышались слова воззвания, обещающие золото в награду за поимку браво.

— Эта республика назначает награду за голову наемного убийцы! — воскликнула Джельсомина, которую сейчас не занимало то, что делается на улице.— Он заслужил свою долю!

— Так зачем упорствовать?

— Не понимаю вас.

— Глупая, да ведь он и есть Якопо Фронтони!

Джельсомина не поверила бы словам чиновника, если б не душевная мука, отразившаяся в глазах Якопо. Страшная истина открылась ей, и тогда девушка рухнула без чувств на пол. В ту же минуту браво спешно увели.

Глава XXVII

Давай поднимем занавес, посмотрим,
Что происходит там, в той комнате.

Роджерс.

В тот день по городу ползло множество слухов: люди передавали их друг другу с таинственным и опасливым видом, столь обычным для нравов Венеции того времени. Сотни людей шли к гранитным колоннам, словно ожидали увидеть браво на его излюбленном месте, бросающего дерзкий вызов сенату, ибо этому человеку непостижимо долго дозволено было появляться в общественных местах, и теперь горожане с трудом верили, что он так легко изменит своему обыкновению. Разумеется, сомнения их тут же рассеивались. Многие теперь громко превозносили справедливость республики, ибо даже самые униженные достаточно храбры, чтобы хвалить своих правителей, и те, кто долгие годы не проронил ни слова о действиях властей, теперь рассуждали вслух, словно они — мужественные граждане свободной страны.

День прошел, ничем не нарушив обычного течения жизни. Во многих церквах города продолжались мессы по старому рыбаку. Его сотоварищи наблюдали эти церемонии со смешанным чувством недоверия и ликования. И, прежде чем наступил вечер, рыбаки вновь обратились в самых покорных слуг из всех, кого обычно попирала олигархия, ибо неизбежное следствие подобных методов правления состоит в том, что грубая лесть легко гасит вспышки недовольства, порожденного беззаконием. Такова уж человеческая природа: привычка к подчинению рождает в народе глубокое, хотя и ложное чувство почтения к властям, и потому, когда тот, кто так долго стоял на пьедестале, спускается с него и признается в случайной слабости, подданные испытывают живейшее удовольствие. Народ прощает ему все его слабости.

В обычный час площадь Святого Марка заполнилась народом; патриции, как всегда, покинули Бролио, и, прежде чем на башне пробило второй час ночи, веселье было уже в полном разгаре. На каналах вновь появились гондолы благородных дам; занавеси на окнах дворцов раздвинулись, чтобы в покои проник свежий

ветер с моря, на мостах и под окнами красавиц слышалась музыка. Жизнь общества не могла остановиться только потому, что жестокость оставалась безнаказанной, а безвинные страдали.

На Большом канале в ту пору, как и теперь, было множество великолепных дворцов, не уступавших по роскоши королевским. Читателю уже довелось познакомиться с некоторыми из этих величественных зданий, и теперь мы проведем его еще в одно.

Особенности архитектуры, явившиеся следствием необычного местоположения Венеции, придают сходный вид всем дворцам этого великолепного города. В здание, куда ведет нас этот рассказ, имевшее свой внутренний двор, попадали через подъезд с канала, затем входили в просторный вестибюль, а оттуда по массивной мраморной лестнице поднимались в верхние покои, блиставшие множеством картин и люстр и прекрасными узорными полами, выложенными мрамором ценных пород. Все это напоминало те дворцы, где читатель уже побывал с нами.

Было около десяти часов вечера. В одном из покоев упомянутого нами дворца собралась небольшая семья, являвшая собой приятное зрелище. Здесь находился отец семейства, человек, едва достигший средних лет, лицо которого выражало мужество, ум и доброту, а в эту минуту еще и родительскую нежность, ибо он держал на руках малыша лет трех-четырёх, который шумно резвился, доставляя удовольствие и себе и отцу. Прекрасная венецианка с золотистыми локонами и нежным румянцем на щеках, словно сошедшая с полотна Тициана, лежала рядом на кушетке, любуясь мужем и сыном и смеясь вместе с ними. Девочка с длинными косами — истинный портрет матери в отрочестве — играла с грудным младенцем. Вдруг на площади пробили часы. Вздвогнув, отец поставил малыша на пол и взглянул на свои.

— Поедешь ли ты куда-нибудь в гондоле, дорогая? — спросил он.

— С тобой, Паоло?

— Нет, дорогая, у меня есть дела, и я буду занят до двенадцати.

— Ты обычно склонен покидать меня, когда тебя что-нибудь тревожит.

— Не говори так! Я должен сегодня увидаться с мо-

им поверенным и хорошо знаю, что ты охотно отпустишь меня, чтобы я позаботился о счастье наших дорогих малюток.

Донна Джульетта позвонила, чтобы ей подали одеться. Малыша и грудного ребенка отправили спать, а мать со старшей дочерью спустились к гондоле. Синьора никогда не выходила одна — это был брачный союз, в котором обычный расчет счастливо сочетался с искренним чувством. Помогая жене сесть в лодку, хозяин дома нежно поцеловал ее руку и затем стоял на влажных ступенях подъезда до тех пор, пока суденышко не удалилось на некоторое расстояние от дворца.

— Кабинет готов для приема гостей? — спросил у слуги синьор Соранцо, ибо это был тот самый сенатор, который сопровождал дожа, когда тот выходил к рыбакам.

— Да, синьор.

— Все приготовлено, как было сказано?

— Да, ваша светлость.

— Нас будет шестеро. Для всех есть кресла?

— Да, синьор.

— Хорошо. Когда первый из них приедет, я тут же спущусь.

— Ваша светлость, два кавалера в масках уже ждут вас.

Соранцо вздрогнул, снова взглянул на часы и поспешно направился в самую отдаленную и спокойную часть дворца. Открыв небольшую дверь, он очутился в комнате перед теми, кто уже ждал его прихода.

— Тысячу извинений, синьоры! — воскликнул хозяин дома. — Мне не приходилось прежде выполнять такие обязанности, — не знаю, насколько вы привычны к такому. Время пролетело как-то незаметно для меня. Прошу вашего снисхождения, господа. Своим усердием в будущем я постараюсь искупить эту оплошность.

Оба гостя были старше хозяина дома, и, судя по выражению их каменных лиц, за плечами у них осталась большая жизнь. Они вежливо выслушали извинения синьора Соранцо, и в течение нескольких минут разговор шел лишь о самых незначительных вещах.

— Наше уединение не будет нарушено? — спросил некоторое время спустя один из гостей.

— Никким образом. Никто не входит сюда без разрешения, кроме моей супруги, а она сейчас отправилась на вечернюю прогулку по каналам.



— Говорят, синьор Соренцо, ваше супружество весьма счастливо. Но, надеюсь, вы понимаете, что сегодня сюда не должна войти даже донна Джульетта.

— Конечно, синьор. Дела республики превыше всего!

— Я трижды счастлив, синьоры, что судьба послала мне таких превосходных сотоварищей. Поверьте, мне приходилось выполнять этот страшный долг в гораздо менее приятном обществе.

Эта льстивая тирада, которую лицемерный старый сенатор произносил всякий раз, когда встречался с новыми коллегами по инквизиции, была принята с удовольствием и награждена ответными комплиментами.

— Оказывается, один из наших предшественников — синьор Алессандро Градениго, — продолжал он, рассматривая какие-то бумаги; действительные члены Совета Трех были известны лишь немногим должностным лицам правительства, но их преемникам всегда сообщались имена предшественников. — Он человек благородный и всецело преданный государству!

Остальные осторожно согласились с ним.

— Синьоры, мы приступаем к нашим обязанностям в весьма трудный миг, — заметил другой сенатор. — Правда, похоже, волнение рыбаков улеглось. Но у черни как будто имелись некоторые причины не доверять правительству!

— Это дело счастливо окончилось, — отвечал самый старый из Трех; он давно научился не вспоминать того, что государство желало забыть, когда цель оказалась достигнута. — Галеры нуждаются в гребцах, не то Святому Марку придется склонить голову.

Соранцо, получивший уже некоторые наставления по части новых своих обязанностей, казался явно озабоченным; но и он был всего лишь порождением этой государственной системы.

— Есть ли сегодня у Совета что-либо особо важное для обсуждения? — спросил он.

— Синьоры, имеются основания полагать, что республика понесла прискорбную потерю. Вы оба хорошо знаете наследницу богатств семейства Тьеполо или, по крайней мере, слыхали о ней, если уединенный образ жизни ее лишил вас личного с ней знакомства.

— Донна Джульетта восхищается ее красотой, — отозвался сенатор Соранцо.

— Богаче ее не найти невесты в Венеции! — вставил третий инквизитор.

— Прелестная внешность, огромное богатство — и все это, я боюсь, мы потеряли навсегда! Дон Камилло Монфорте — храни его Бог, пока мы можем использовать его влияние, — едва не обманул нас, но как раз в ту минуту, когда государство уже разрушило его хитроумные планы, юная наследница по воле случая попала в руки мятежников, и с той поры мы не имеем о ней никаких известий!

Паоло Соранцо в душе надеялся, что теперь она уже в объятиях герцога.

— Мне донесли, — сказал третий сенатор, — что исчез также и герцог Святой Агаты. Кроме того, в порту нет фелукки, которой мы обычно пользовались для особо секретных поручений.

Оба старых сенатора переглянулись, словно только сейчас начиная догадываться об истине. Они поняли, что дело безнадежно, и, так как их обязанности распространялись лишь на дела осуществимые, они не стали терять время на бесполезные сожаления.

— У нас есть два неотложных дела, — сказал старший. — Во-первых, мы должны как следует похоронить старого рыбака, чтобы предотвратить какое-либо новое недовольство, и, во-вторых, необходимо избавиться от пресловутого Якопо.

— Но его еще надо поймать, — заметил синьор Соранцо.

— Это уже сделано. И где, вы думаете, его схватили, господа? В самом Дворце Дожей!

— На плаху его, немедленно!

Оба старца вновь обменялись взглядами, по которым можно было понять, что, состоя и раньше членами Совета Трех, они понимали многое такое, о чем их молодой коллега и не подозревал. Во взглядах этих сквозило еще и нечто напоминавшее сговор взять власть над чувствами новичка, прежде чем приступить открыто к своим страшным обязанностям.

— Ради Святого Марка, синьоры, теперь пусть справедливость торжествует открыто! — продолжал ничего не подозревавший Соранцо. — Какого снисхождения может ждать наемный убийца? Нужно как можно шире оповестить народ о нашем суровом и справедливом при-

говоре — это лучше всего обнаружит природу нашей власти.

Старые сенаторы кивнули, не противореча коллеге, говорившему с жаром неискушенной молодости и прямою благородной души. Лицемеры, согласно распространенному образу действий, часто прикрываются молчаливым согласием.

— Конечно, очень хорошо утверждать справедливость,—отвечал более пожилой.—Вот, например, в Львиной пасти найдено несколько доносов на неаполитанца, герцога Святой Агаты. Предоставляю вам, мои умудренные сотоварищи, рассмотреть их.

— Избыток ненависти выдает их происхождение! — воскликнул самый неискушенный из членов Совета.— Ручаюсь жизнью, синьоры, все такие обвинения порождены личной злобой и недостойны внимания республики! Я много встречался с герцогом Святой Агаты и скажу, что он в высшей степени достойный человек!

— Это не помешало ему покуситься на руку дочери старого Тьеполо!

— Молодость всегда поклоняется красоте, это вовсе не преступление. Он спас жизнь синьоры, а в том, что молодой человек питает такие чувства, нет ничего удивительного!

— Не забывайте, что Венеция, так же как и самый молодой из нас, также может питать какие-то чувства, синьор!

— Не вступит же Венеция в брак с наследницей!

— Разумеется, Святому Марку надлежит удовлетвориться ролью благоразумного отца. Вы еще молоды, синьор Соранцо, а донна Джульетта редкая красавица! С течением времени оба вы станете иначе относиться и к судьбам государств и к судьбам отдельных семейств... Но мы понапрасну тратим время на пустые разговоры — ведь нашим людям еще не удалось разыскать беглянку. Сейчас самое неотложное дело — как нам избавиться от Якопо. Показал ли вам его светлость письмо римского папы относительно перехваченных доношений?

— Да, показывал. Наши предшественники ответили вполне исчерпывающе, и тут нам больше делать нечего.

— Тогда мы можем заняться важным делом Якопо Фронтони. Нам нужно собраться в зале инквизиции, чтобы свести преступника с его обвинителями. Это серъ-

езное испытание, синьоры, и Венеция уронит себя во мнении народа, если высшее судилище отнесется к приговору без должного внимания.

— На эшафот негодяя!—снова воскликнул Соранцо.

— Возможно, его постигнет эта участь или даже еще худшая — колесование. Более глубокий разбор дела покажет нам, какое решение правильное.

— Когда речь идет о безопасности граждан, правильным может стать только одно решение! Я никогда прежде не жаждал смерти человека, но сейчас жду этого с нетерпением.

— Ваше справедливое негодование, синьор Соранцо, будет удовлетворено: предвидя безотлагательность дела, наш друг, достойный сенатор, и я сам уже отдали необходимые распоряжения. Близится назначенный час, и мы встретимся в зале инквизиции, чтобы исполнить свой долг.

Затем разговор перешел на более общие темы. Это тайное и необычное судилище, которое не имело определенного места для своих собраний и выносило приговоры то на площади, то во дворце, среди шумных забав маскарада или в церкви, на веселых сборищах и в кабинете одного из его членов, должно было разбирать множество самых разнообразных дел. В его состав входили только люди знатного происхождения, но так как не все они рождались на свет одинаково способными к жестокости, то порой случалось, как, например, сейчас, что двум более искушенным членам Совета приходилось преодолевать благородные устремления их коллеги, прежде чем пустить в ход всю эту адскую машину.

Любопытно, что общество обычно устанавливает гораздо более твердое мерило истины и справедливости, чем принимаемое в жизни каждого отдельного члена его. Причина такого положения совершенно очевидна, ибо природа наделила всех людей пониманием права и они отказываются от него лишь под давлением сильных соблазнов. Мы восхваляем добродетель, которой не смеем подражать. Поэтому страны, в коих общественное мнение имеет наибольшее влияние, обретают и более чистые нравы. Из этого следует, что при господстве правильной системы взглядов неизбежно совершенствуется и мораль народа.

Ужасно положение того народа, у коего законы и установления властей ниже личных принципов самих граждан, ибо это доказывает, что подобный народ не являет-

ся хозяином своей судьбы и, что еще страшнее, совокупная сила его используется для разрушения тех самых качеств, из которых слагается добродетель и которые во все времена необходимы для борьбы с вечными устремлениями своекорыстия. Точное представление о законности всякого рода привилегий еще важнее для сильных мира сего, чем для простых граждан, ибо мысль об ответственности, являющаяся существом свободного правления, более чего-либо иного заставляет так называемых слуг народа следовать призывам своей совести.

Широко распространенное мнение, будто республика не может существовать, если гражданам ее не свойственна истинная добродетель, настолько льстит нам, что мы редко берем на себя труд выяснить, верно ли оно; но нам ясно, что следствие здесь принимается за причину. Если в республике народ — истинный носитель власти, то утверждают, что он обязан обладать высокими моральными качествами, чтобы правильно ею пользоваться. Если говорить о законах, это утверждение одинаково справедливо в применении как к республике, так и к другим формам правления. Но ведь правят и монархи, а далеко не все они оказываются примерами добродетели; и властвующая аристократия часто не обладала даже малой толикой этих моральных качеств, что доказывает и все наше повествование. То положение, что при прочих равных условиях мораль граждан республики гораздо выше, чем подданных государств с любой иной формой правления, является почти бесспорным, ибо там ответственность перед общественным мнением, которую несут все власть имущие, и установившаяся мораль, характеризующая общие настроения, будут влиять на всех и не позволят государству превратиться в изъеденный продажностью механизм, как то случается там, где порочные установления направляют это влияние по порочному пути.

То, о чем мы рассказываем, свидетельствует о справедливости приведенных выше рассуждений. Синьор Соранцо был весьма достойным человеком, а счастливая семейная жизнь еще укрепила в нем его природные склонности. Подобно многим венецианцам своего сословия, он время от времени принимался изучать историю и государственные дела мнимой республики, и сила кастовых интересов и неверно понятых собственных нужд заставила его признать различные учения, которые он отверг бы с отвращением, если б они были предложены ему по

другому поводу. И все же синьор Соранцо не поднимался до настоящего понимания действий той системы правления, которую он рожден был поддерживать. Даже такое государство, как Венеция, оказывалось в какой-то мере вынуждено считаться с общественным мнением,— о чем только что шла речь,— являя остальному миру лишь ложную картину своих государственных идеалов. Тем не менее некоторые из этих идеалов оставались слишком очевидны, чтобы удалось скрыть их, и они лишь с трудом воспринимались человеком, чей ум еще не был развращен, хотя молодой сенатор предпочитал закрыть на то глаза; если же такие принципы вторгались в его жизнь, влияя на все, кроме той жалкой, призрачной и мнимой добродетели, награда за которую еще так далека, он склонен был искать смягчающие обстоятельства, могущие оправдать его покорность.

В таком душевном состоянии сенатор Соранцо неожиданно оказался избран в Совет Трех. В юности он считал власть, которой теперь облекли его, пределом своих желаний. Воображение рисовало ему тысячи картин его благотворной деятельности, и только с годами, узнав, сколько преград возникает на пути тех, кто мечтает о добрых делах, он понял, что все, о чем мечтал, неосуществимо. Поэтому он вошел в состав Совета, мучимый сомнениями и мрачными предчувствиями. В более поздние времена, при такой же системе, видоизмененной лишь несколько просвещением, явившимся результатом развития книгопечатания, синьор Соранцо, возможно, стал бы сенатором в оппозиции, то ревностно поддерживающим какие-либо меры по улучшению общественного устройства, то любезно уступающим требованиям проведения более твердой политики, но всегда соблюдающим свои собственные выгоды, едва ли понимая, что он на деле совсем не тот, кем кажется. И виной тому был не столько он сам, сколько обстоятельства, заставлявшие его при столкновении долга с собственными интересами отдавать предпочтение корысти.

Впрочем, оба старых сенатора даже не предполагали, какого труда будет стоить им подготовить синьора Соранцо к исполнению обязанностей государственного деятеля, решительно отличавшихся от тех, к которым он привык, пока оставался частным лицом.

Старые члены Совета продолжали разговор, не обнаруживая истинных своих намерений, всеми способами

объясняя свой образ действий; беседа длилась почти до того часа, когда всем надлежало собраться во Дворце Дожей. Тогда они покинули дом с такими же предосторожностями, как и вошли в него, чтобы никто из простых смертных не догадался об их действительных обязанностях.

Самый пожилой появился во дворце некоего патриция на празднестве, которое украсили своим присутствием благородные красавицы и откуда исчез потом так, что этого никто не заметил. Другой посетил дом лежавшего при смерти друга и долго беседовал там с монахом о бессмертии души и надеждах христианина; на прощание он получил его благословение, и вслед ему раздалась похвалы всей семьи.

Синьор Соранцо до последней минуты пробыл в кругу семьи. Освеженная легким бризом, донна Джульетта вернулась с прогулки еще прелестнее обычного; ее мягкий голос и нежный смех старшей дочери еще звучали в ушах сенатора, когда он выходил из гондолы, причалившей под мостом Риальто. Надев маску и закутавшись плотнее в плащ, синьор Соранцо смешался с толпой и направился узкими проулками к площади Святого Марка. В толпе ему не грозили любопытные взгляды. Обычай носить маску часто оказывался весьма полезным для венецианской олигархии, ибо помогал людям избегать ее деспотизма и делал жизнь в городе более сносной. Сенатор видел, как босые загорелые рыбаки входили в собор. Он последовал за ними и очутился возле тускло освещенного алтаря, где еще служили заупокойные молебны по Антонио.

— Он был твоим сотоварищем? — спросил Соранцо у рыбака, чьи темные глаза даже при слабом свете сверкали, словно у василиска.

— Да, синьор. И среди нас не осталось более честного и справедливого человека.

— Он стал жертвой собственного ремесла?

— Никто не знает, как он умер! Некоторые говорят, что Святому Марку не терпелось видеть его в раю, другие же уверены, что его убил Якопо Фронтони.

— Зачем браво покусился на жизнь такого человека?

— Будьте добры сами ответить на этот вопрос, синьор. Зачем, в самом деле? Говорят, Якопо хотел отомстить ему за свое позорное поражение в последней гонке.

— Неужто он так ревниво оберегает свою честь хорошего гребца?

— Еще бы! Я помню время, когда Якопо предпочел бы смерть такому поражению! Но это было до того, как он взялся за кинжал. Останься он гондольером, в такую историю еще можно было бы поверить, но теперь, когда он занялся иным делом, что-то не похоже, чтобы он принимал так близко к сердцу эти гонки на каналах!

— А не мог рыбак случайно упасть в воду?

— Конечно, мог, синьор. Такое случается каждый день, но тогда мы плывем к своей лодке, а не идем ко дну! В молодости Антонио свободно проплывал от набережной до Лидо!

— Но возможно, что, падая, он ушибся и не смог добраться до лодки?

— Тогда на теле остались бы какие-нибудь следы, синьор!

— Почему же Якопо в этот раз не воспользовался своим кинжалом?

— Он не стал бы убивать кинжалом такого, как Антонио. Гондолу старика нашли в устье Большого канала, в полумиле от утопленника, и притом против ветра! Мы замечаем все это, потому что разбираемся в таких вещах.

— Покойной ночи тебе, рыбак!

— И вам того же желаю, ваша светлость! — отвечал труженик лагун, удовлетворенный долгим разговором с человеком, которого считал выше себя.

Сенатор в маске продолжал свой путь. Он без затруднений покинул собор, незамеченным вошел во дворец через потайную дверь, скрытую от нескромных взглядов, и вскоре присоединился к своим коллегам по страшному судилищу.

Глава XXVIII

Там узникам, вместе отдыхающим,
Не слышен голос тюремщика.

Книга Иова.

Читателю уже известно, каким образом Совет Трех проводил те свои заседания, которые именовались гласными, хотя ничто связанное с этим сугубо тайным ведомством не может называться гласным в обычном смысле слова. Теперь снова собрались те же сановники, скрытые теми же мантиями и масками, как то

описано в одной из предыдущих глав. Несходство заключалось только в характерах судей и подсудимого. Лампу поставили так, что свет ее падал на определенное место, куда предполагалось поместить обвиняемого, меж тем как часть зала, где находились инквизиторы, оставалась тускло освещена, что хорошо сочеталось с их мрачными, таинственными обязанностями. За дверь, через которую обычно вводили узника, слышался звон цепей — верный знак того, что дело предстояло важное. Вот двери распахнулись, и браво предстал перед неизвестными ему людьми, которые должны были решить его судьбу.

Так как Якопо и прежде нередко являлся перед Советом, — правда, не как подсудимый, — теперь при виде всей этой мрачной обстановки он не выказал ни испуга, ни удивления. Лицо его оставалось бледным, но спокойным, и держался он с большим достоинством. При его появлении по залу пронесся шорох, затем воцарилась глубокая тишина.

— Тебя зовут Якопо Фронтони? — спросил секретарь, бывший своего рода посредником между судьями и обвиняемым.

— Да.

— Ты сын некоего Рикардо Фронтони, который связался с поставщиками запрещенного товара и находится сейчас в ссылке на одном из отдаленных островов или несет какое-то другое наказание?

— Синьор, он несет другое наказание.

— В юности ты был гондольером?

— Да.

— Твоя мать...

— ... умерла, — закончил Якопо, так как секретарь замешкался, принявшись рыться в своих бумагах.

Он произнес это слово таким взволнованным голосом, что секретарь не осмелился вновь заговорить, не глянув предварительно на судей.

— Она не обвинялась вместе с твоим отцом?

— Если б даже и так, синьор, она давно уже вне власти республики...

— Вскоре после того, как твой отец навлек на себя гнев сената, ты оставил ремесло гондольера?

— Да, синьор.

— Ты обвиняешься в том, Якопо, что сменил весло на стилет.

— Да, синьор.

— Вот уж несколько лет в Венеции ходят слухи о твоих кровавых делах, с недавних пор тебя подозревают в каждой насильственной смерти.

— Верно, синьор секретарь. Хотел бы я, чтоб этого не было!

— Его светлость дож и члены Совета не остались глухи к жалобам; с тревогой, подобающей каждому правительству, отечески пекущемуся о своих гражданах, прислушивались они к подобным толкам. И если тебя так долго оставляли на свободе, то лишь потому, что не хотели поспешным и непроверенным решением запятнать мантию правосудия.

Якопо опустил голову, но ничего не сказал. Однако при этой тираде на его лице появилась такая ядовитая и многозначительная улыбка, что секретарь тут же уткнулся в бумаги, словно намереваясь хорошенько разобраться в них.

Пусть читатель не возвращается к этой странице с удивлением, когда узнает развязку нашего повествования, ибо и в его времена власти прибегают ко всякого рода тайным и явным ухищрениям, возможно, лишь не столь жестоким.

— Против тебя имеется сейчас страшное обвинение, Якопо Фронтони,— продолжал секретарь,— и ради спасения жизни граждан Венеции Тайный Совет сам взялся за твое дело. Знал ли ты некоего Антонио Веккио с лагун?

— Синьор, хорошо я узнал его лишь недавно и очень сожалею, что не раньше.

— Ты знаешь также, что его тело нашли в заливе?

Якопо вздрогнул и утвердительно кивнул. Младший член Совета, пораженный этим безмолвным признанием браво, повернулся к своим коллегам; те медленно склонили головы в ответ, и немой разговор прекратился.

— Его смерть стала причиной большого волнения среди рыбаков и привлекла пристальное внимание Совета.

— Смерть последнего бедняка в Венеции должна заботить властителей, синьор!

— Знаешь ли ты, Якопо, что тебя обвиняют в убийстве рыбака?

— Да, синьор.

— Говорят, ты участвовал в последних гонках и, если б не этот старый рыбак, стал бы первым?

— Все так и было, синьор.

— Значит, ты не отрицаешь обвинения? — спросил секретарь, не скрывая удивления.

— Ясно одно: если б не старик, я стал бы победителем.

— И ты хотел этого, Якопо?

— Очень, синьор, от всего сердца, — отвечал обвиняемый, впервые обнаруживши волнение. — Мои сотоварищи отrekliсь от меня, а ведь умение владеть веслом — моя гордость с самого детства и до сего дня.

Молодой сенатор снова невольным движением выдал свой интерес и удивление.

— Сознаешься ли ты в совершенном преступлении?

Якопо насмешливо улыбнулся.

— Если присутствующие тут сенаторы снимут маски, я смогу ответить на такой вопрос с большей откровенностью, — сказал он.

— Твое условие дерзко и незаконно! Никто не может знать имен тех, кто вершит судьбы государства. Итак, признаешь ли ты свою вину?

Но тут в зал поспешно вошел служитель сената, передал сановнику в красной мантии какую-то бумагу и удалился. После небольшой паузы стражникам приказали увести подсудимого.

— Благородные сенаторы, — заговорил вдруг Якопо, порывисто подходя к столу, словно стремясь не упустить случая и высказать все, что его мучило, — прошу милосердия! Позвольте мне навестить одного заключенного, который находится в камере под свинцовой крышей! У меня есть для того серьезная причина. И я прошу вас как людей, как отцов разрешить мне это!

Двое сенаторов, совещавшихся по поводу полученного донесения, даже не слышали, о чем просил Якопо. Третий — им оказался Соранцо — подошел ближе к светильнику, желая как следует рассмотреть человека, пользующегося столь дурной славой, и пристально глядел на выразительное лицо браво. Тронутый его взволнованным голосом и приятно удивленный выражением лица Якопо, сенатор приказал исполнить его просьбу.

— Сделайте то, о чем он просит, — приказал Соранцо стражникам, — но будьте готовы привести его обратно в любую минуту.

Якопо взглядом поблагодарил его и, боясь вмешательства остальных членов Совета, поспешно вышел. Маленькая процессия, следовавшая из зала инквизиции в летние

камеры ее жертв, дает нелестное представление и об этом дворце и о правительстве Венеции.

Они шли по темным потайным коридорам, скрытым от посторонних глаз и отдаленным от покоев дожа лишь тонкой стеной,— той декорацией государства, которая внешней пышностью и великолепием скрывает убожество и нищету. Дойдя до тюремных камер, расположенных под крышей, Якопо повернулся к стражникам:

— Если вы люди, снимите с меня на минуту эти скрежещающие цепи!

Стражники удивленно переглянулись, но ни один не решился оказать ему эту милость.

— Я иду сейчас, должно быть, в последний раз к едва живому...— продолжал Якопо,— к умирающему отцу... Он не знает, что со мной случилось... И вы хотите, чтобы он увидел меня в кандалах?

Голос Якопо, полный страдания, подействовал на стражников больше, чем его слова. Один из них снял с него цепи и знаком велел идти дальше. Осторожно ступая, Якопо проследовал в конец коридора и вошел в камеру, никем не сопровождаемый, потому что стражникам было неинтересно присутствовать при свидании браво с отцом, происходившем к тому же в нестерпимо душном помещении, под раскаленной свинцовой крышей. Дверь за ним закрылась, и камера снова погрузилась в темноту.

Несмотря на свою напускную твердость, Якопо вдруг растерялся, неожиданно очутившись в страшном обиталище несчастного узника. По тяжелому дыханию, донесшемуся до него, Якопо определил, где лежит старик: массивные стены со стороны коридора не пропускали в камеру свет.

— Отец! — нежно позвал Якопо.

Ответа не последовало.

— Отец! — произнес он громче.

Тяжелое дыхание усилилось, потом заключенный заговорил.

— Дева Мария услышала мои молитвы! — слабо произнес он.— Бог послал тебя закрыть мне глаза...

— Ты ослабел, отец?

— Очень... Мой час настал... Я все надеялся снова увидеть дневной свет, благословить твою мать и сестру. Да будет воля божья!

— Мать и сестра молятся за нас обоих, отец. Они уже вне власти сената!

— Якопо... Я не понимаю, что ты говоришь!

— Моя мать и сестра умерли, отец!

Старик застонал, ибо узы, связывающие его с землей, еще не были порваны. Якопо услышал, как отец стал шептать молитву, и опустился на колени перед его ложем.

— Я не ожидал этого удара,— прошептал старик.— Значит, мы вместе покидаем землю...

— Они уже давно умерли, отец!

— Почему ты тогда же не сказал мне об этом, Якопо?

— Ты и без того много страдал, отец.

— А как же ты?.. Останешься совсем один... Дай мне руку, мой бедный Якопо...

Браво взял дрожащую руку отца; рука была холодная и влажная.

— Якопо,— промолвил старик, чья душа еще не покинула тело,— я трижды молился в этот час: первый раз — за свою душу, второй раз — за мать, третий — за тебя!

— Благослови тебя Бог, отец!

— Я просил у Бога милости к тебе. Я все думал о твоей любви и заботе, о твоей преданности старому страдальцу. А когда ты был ребенком, Якопо, нежность к тебе... толкала меня на недостойные дела... И я боялся, что, когда ты станешь мужчиной, ты упрекнешь меня в этом... Ты не испытал тревоги родителя за свое дитя... Но ты сторицей вознаградил меня за все... Стань на колени, Якопо, я еще раз попрошу Бога не оставить тебя своей милостью!

— Я здесь, отец.

Старик поднял дрожащую руку и голосом, который на мгновение вновь обрел силу, горячо произнес торжественные слова благословения.

— Благословение умирающего отца скрасит твою жизнь, Якопо,— добавил он после короткого молчания,— и прольет мир на твои последние минуты.

— Так и будет, отец.

Грубый стук в дверь прервал их прощание.

— Выходи, Якопо,— слышался голос стражника.— Совет требует тебя!

Якопо почувствовал, как вздрогнул отец, и ничего не ответил.

— Может быть, они позволят тебе побыть со мной еще немного,— прошептал старик.— Я не задержу тебя надолго.

Дверь отворилась, и свет фонаря озарил фигуры отца и сына. Стражник сжалился и закрыл дверь, снова погрузив все во тьму. Якопо успел в последний раз взглянуть на отца. Смерть уже витала над стариком, но глаза его с невыразимой любовью глядели на сына.

— Он добрый... Он не уведет тебя отсюда! — прошептал несчастный.

— Они не могут оставить тебя умирать одного, отец!

— Мне хочется, чтобы ты остался рядом со мной, сынок... Ты ведь сказал, что мать и сестра умерли?

— Да.

— А ведь сестра твоя была еще так молода!

— Обе умерли, отец...

Старик тяжело вздохнул и замолк. Якопо почувствовал, как отец в темноте ищет его руку. Он помог ему и почтительно положил руку отца себе на голову.

— Да благословит тебя пречистая дева Мария! — зашептал старик.

Вслед за торжественными словами раздался прерывистый вздох. Якопо низко опустил голову и стал молиться. Воцарилась глубокая тишина.

— Отец! — позвал он вскоре, вздрогнув при звуке собственного приглушенного голоса.

Ответа не было. Протянув руку, Якопо почувствовал, что тело старика холодеет. Скованный отчаянием, Якопо вновь склонил голову и начал горячо молиться за усопшего.

Когда дверь камеры отворилась, Якопо, исполненный достоинства, присущего людям мужественным, которое лишь укрепилось в только что описанной сцене, вышел к стражникам. Он протянул вперед руки и стоял неподвижно, пока надевали наручники. Затем вся процессия двинулась обратно к залу тайного судилища. Через несколько минут браво вновь стоял перед Советом Трех.

— Якопо Фронтони,— начал секретарь,— тебя обвиняют еще и в другом преступлении, которое совершено недавно в нашем городе. Знаешь ли ты благородного калабрийца, домогавшегося звания сенатора, который долгое время жил в Венеции?

— Знаю, синьор.

— Приходилось ли тебе иметь с ним какие-нибудь дела?

— Да, синьор.

Этот ответ был выслушан с явным интересом.

— Знаешь ты, где сейчас находится дон Камилло Монфорте?

Якопо колебался. Приняв во внимание огромную осведомленность Совета, он сомневался, разумно ли отрицать свою причастность к побегу влюбленных. И, кроме того, в ту минуту ему тяжело было лгать.

— Не можешь ли ты сказать, почему молодого герцога нет сейчас в его дворце? — повторил секретарь.

— Ваша милость, он покинул Венецию навсегда.

— Откуда ты знаешь о том? Неужели он сделал поверенным своих тайн наемного убийцу?

Улыбка на лице Якопо выражала такое безграничное презрение, что секретарь тайного трибунала снова уткнулся носом в бумаги.

— Я повторяю вопрос: он доверял тебе?

— В этом деле, синьор, доверял. Дон Камилло Монфорте сам сказал мне, что никогда не вернется в Венецию!

— Но это невозможно! Ведь он должен навсегда оставить все свои надежды и лишиться огромного состояния!

— Его утешает любовь знатной наследницы и ее богатство.

Несмотря на издавна приобретенную сдержанность и привычное достоинство, которое они всегда сохраняли при исполнении своих тайнственных обязанностей, среди судей снова произошло замешательство.

— Пусть стража выйдет, — произнес инквизитор в красной мантии.

Когда приказание исполнили и в зале остались только члены Совета Трех, обвиняемый и секретарь, допрос продолжался, и сенаторы, полагавшие, что их маски производят впечатление на браво, и прибегая ко всякого рода коварным уловкам, принялись задавать свои вопросы.

— Ты сообщил важную весть, Якопо, — продолжал человек в алой мантии. — Если ты будешь благоразумным и расскажешь нам все подробности, это может спасти тебе жизнь.

— Что же вы хотите от меня услышать, ваша светлость? Ясно, что Совет знает о побеге дона Камилло, и я никогда не поверю, будто глаза, которые постоянно открыты, не заметили исчезновения дочери покойного сенатора Тьеполо.

— Ты прав в обоих случаях, Якопо! Но расскажи нам, как это произошло. Помни, твоя судьба зависит от того, заслужишь ли ты благосклонность сената.

Снова ледяной взгляд Якопо заставил судей отвести глаза в сторону.

— Для смелого влюбленного нет преград, синьор,— отвечал он.— Герцог богат и может нанять тысячи слуг, если они ему понадобятся.

— Ты уклоняешься от ответа, Якопо! Шутки над Советом не пройдут тебе даром. Кто помогал ему?

— У него много преданных слуг, ваша светлость, много смелых гондольеров и других помощников.

— Нам это известно! Но устроить побег ему помогли какие-то другие люди. Да и бежал ли он вообще?

— А разве он в Венеции, синьор?

— Об этом мы тебя и спрашиваем. В Львиной пасти найдено донесение, в нем тебя обвиняют в убийстве герцога!

— И в убийстве донны Виолетты?

— О ней ничего не сказано. Что ты можешь ответить на это обвинение?

— Синьор, зачем мне выдавать свои тайны?

— Ах, вот оно что! Ты уклоняешься от ответа и лицемеришь? Не забудь, что тут есть один узник, который сидит под свинцовой крышей, и с его помощью мы добьемся от тебя правды!

Якопо с достоинством выпрямился, но взгляд его был печален, а в голосе, несмотря на все усилия, слышалась тоска.

— Сенаторы, ваш узник, что томился под свинцовой крышей, отныне свободен,— промолвил он.

— Что? Ты смеешь шутить?

— Я говорю правду. Долгожданная свобода пришла к нему наконец!

— Значит, он...

— ...умер,— торжественно dokonчил Якопо.

Двое старших членов Совета удивленно переглянулись, меж тем как младший сенатор ловил каждое слово с интересом человека, который только приступает к ис-

полнению своих таинственных и не слишком приятных обязанностей. Старшие посоветовались и сообщили сенатору Соранцо то, что сочли нужным.

— Итак, расскажешь ли ты нам все, что знаешь о герцоге Святой Агаты, хотя бы ради спасения собственной жизни, Якопо? — продолжал один из судей, когда они кончили шептаться.

Якопо не проявил ни малейшего волнения при этой угрозе, но после некоторого раздумья отвечал так же откровенно, как стал бы говорить лишь на исповеди:

— Вам известно, благородные сенаторы, что правительство желало выдать замуж наследницу покойного синьора Тьеполо по своему усмотрению. Вам также известно, что ее любил герцог Святой Агаты и что она отвечала взаимностью на любовь благородного неополитанца со всем пылом юного сердца и со всей скромностью, присущей девице ее положения и воспитания. Разве удивительно, что двое влюбленных борются за свое счастье? Синьоры, в ту ночь, когда погиб Антонио, я бродил один среди могил на Лидо, и в душе моей теснились грустные и горькие мысли; жизнь стала для меня непосильным бременем. Если б злой дух, владевший тогда мной, утвердил свою власть, я умер бы смертью жалкого самоубийцы. Но Бог послал мне на помощь дону Камилло Монфорте. В ту ночь герцог доверил мне свою тайну, и я вызвался помочь ему. Я поклялся ему в верности, поклялся умереть за него, если то станет необходимо, и помочь отыскать его супругу. И я сдержал свое слово! Счастливые влюбленные находятся теперь во владениях римской церкви, под могущественным покровительством кардинала-секретаря, брата матери дона Камилло.

— Глупец! Зачем ты сделал это? Разве тебе не дорога жизнь?

— Нет, ваша светлость, нисколько! Я думал только о том, чтобы излить кому-либо свою наболевшую душу, а про гнев сената и не вспомнил. Давно уже не случалось в моей жизни более радостного мгновения, чем то, когда дон Камилло Монфорте заключил в объятия плачущую от счастья прекрасную донну Виолетту!

Судьи были так поражены спокойной решительностью браво, что невольно приостановили допрос. Наконец старший из сенаторов продолжал:

— Сообщишь ли ты нам подробности бегства дон Камилло? Помни, Якопо, этим ты можешь сохранить себе жизнь.

— Теперь она не дорога мне, синьор... Но чтобы доставить вам удовольствие, я расскажу все без утайки.

И Якопо просто и правдиво поведал о том, как дон Камилло готовил свой побег, о его намерениях, надеждах, отчаянии и, наконец, об успешном бегстве. В своем повествовании он не скрыл ничего и лишь не назвал места, где женщины нашли временный приют, и не упомянул имени Джельсомины. Якопо не забыл ни про покушение Джакомо Градениго на жизнь неаполитанца, ни про участие в этом деле старого ювелира. Внимательней всех слушал браво сенатор Соранцо. Несмотря на свою роль обвинителя, он с замиранием сердца следил, как узник рассказывал обо всем, что пришлось пережить влюбленным, а услышав счастливый конец истории, сенатор почувствовал огромное радостное облегчение. Его более искушенные коллеги, напротив, внимали подобному рассказу браво с видимым спокойствием. Цель государства, в котором царят ложь и лицемерие, — с выгодой подчинять себе души подданных. Условности и притворство вытесняют тогда чувства и дух справедливости; но, с другой стороны, никто не принимает свое поражение так покорно, как тот, кто достиг выгод вопреки природе и справедливости, и покорность его оказывается обычно тем более полной, чем нестерпимее было прежде высокомерие.

Оба старых сенатора сразу поняли, что дон Камилло и его спутница ускользнули от них, и сообразили, какую пользу можно извлечь из создавшегося положения. Решив, что Якопо больше им не нужен, они приказали стражникам увести его в темницу.

— Весьма уместно будет послать поздравление кардиналу-секретарю по случаю бракосочетания его племянника с самой богатой невестой Венеции, — произнес старший из членов Совета, когда за Якопо закрылась дверь. — Герцог слишком влиятелен, и это может пригодиться нам.

— А если он вспомнит, как сенат противился ему? — усомнился в столь дерзком намерении Соранцо.

— Мы объясним это действиями предыдущего состава Совета. Такие недоразумения являются неизбежными следствиями причуд свободы, синьор! Конь, который ро-

дился и вырос на воле, не покоряется узде так, как жалкая скотина, привыкшая тащить повозку. Сегодня вы в первый раз присутствуете на заседании Совета Трех, сенатор, и только время покажет вам, что, как бы ни были совершенны законы, в действительности все же могут происходить оплошности. А с молодым Градениго дело обстоит очень серьезно, синьоры!

— Я давно уж знал, что это беспутный повеса! — вставил второй из старших судей. — Весьма жаль, что у столь благородного и почтенного сенатора вырос такой недостойный сын. Но ни сенат, ни жители Венеции не потерпят убийства!

— Ах, если бы они случались не так часто! — искренне воскликнул сенатор Соранцо.

— Да, в самом деле! Некоторые полученные тайно сведения указывают, что в том вина Якопо, хотя много лет мы полностью доверяли также и его донесениям.

— Как? Разве Якопо — соглядатай городской стражи?

— Об этом поговорим на досуге, синьор Соранцо. Сейчас нужно рассмотреть дело о покушении на жизнь человека, находившегося под защитой наших законов.

Затем Совет начал подробно обсуждать дело Градениго и ювелира. Надо отдать должное ему: карающая десница Венеции опускалась весьма быстро и без промаха. Но справедливость торжествовала лишь в тех случаях, когда не оказывались затронуты интересы государства или если невозможно было пустить в ход подкуп. Что касается последнего, то из-за скупости властей и постоянной слежки за теми, кто был избавлен от соблазна тем, что уже скопил большое состояние, им пользовались гораздо реже, чем в других государствах.

Синьору Соранцо теперь представился прекрасный случай для проявления благородства. Будучи в родственных отношениях с семьей Градениго, он все же горячо осуждал поведение молодого патриция. Его первым порывом было требовать примерного наказания преступника, дабы народ знал, что высокое положение не освобождает в Венеции от заслуженной кары. Но старшие коллеги постепенно убедили его в том, что закон обычно различает попытку от уже совершенного преступления. Несколько охлажденный рассуждением своих трезвых наставников, Соранцо предложил передать дело на рас-

смотрение обычного суда. Можно привести немало примеров, когда аристократия Венеции жертвовала кем-либо из своих близких, чтобы создать впечатление беспристрастности суда, ибо, когда такие дела велись с должным благоразумием, это скорее укрепляло, нежели ослабляло ее власть. Но дело Градениго оказалось слишком позорным, чтобы отважиться на подобную огласку, и остальные члены Совета высказались против намерения своего неискнутого собрата, приведя весьма благовидные и довольно разумные доводы. Наконец было решено, что они сами вынесут приговор.

Затем следовало определить меру наказания. Самый старший сенатор предложил выслать Джакомо Градениго на несколько месяцев, ибо тот уже не раз навлекал на себя гнев сената. Но Соранцо со всем пылом благородного сердца воспротивился столь легкой каре. Он настоял на своем, причем старшие сенаторы позаботились, чтобы их согласие выглядело как уступка его доводам. В конце концов порешили выслать Джакомо Градениго из Венеции на десять лет, а Осию — навсегда. Если читателю кажется, будто осужденные не понесли особенно строгого наказания, пусть он не забывает, что уж ювелиру-то следовало, конечно, благодарить судьбу за то, что он так легко отделался.

— Необходимо предать огласке сам приговор и причины, по которым он вынесен, — сказал один из судей, после того как обсуждение закончилось. — Власть всегда только выигрывает, обнародовав справедливое решение.

— И приведя его в исполнение, надеюсь, — вставил Соранцо. — Итак, если на сегодняшний вечер все наши дела окончены, мы можем разойтись?

— Нет, у нас осталось еще дело Якопо.

— Но мне кажется, что мы можем передать его в простой суд.

— Кто пожелаете, синьоры.

Двое кивнули в знак согласия, и все собрались уходить.

Но прежде чем покинуть дворец, оба старших члена Совета еще долго совещались между собой. В результате появился тайный приказ судье по уголовным делам, и лишь затем оба сенатора отправились по домам с чувством исполненного долга.

Соранцо же, наоборот, хотелось поскорее очутиться снова в кругу счастливой семьи. Впервые в жизни он возвращался в свой дворец так недовольный собою. Его угнетала безотчетная грусть, ибо он сделал первый шаг на тернистом и скользком пути, в конечном счете приводившем к гибели все благородные порывы души, которые могут процветать лишь вдали от лжи и коварных доводов своекорыстия. Сенатор был бы счастлив вновь ощутить на сердце легкость, с какой он провожал свою прекрасную супругу к ее гондоле этим вечером, но в ту ночь он долго не мог уснуть, потрясенный пышной пародией на самые священные наши обязанности, одним из участников которой стал он сам.

Глава XXIX

— Ты не виновен?

— Нет, конечно.

Роджерс.

На следующее утро хоронили Антонио. Тайные прислужники городских властей приложили много усилий, чтобы распустить по городу слухи о том, будто сенат разрешил воздать такие почести праху старого рыбака за его победу в гонках, а также ввиду его безвременной, таинственной смерти. В назначенный час, одетые подобающим образом, на площади собрались рыбаки, гордые оказанным им вниманием и готовые забыть свой прежний гнев во имя оказанных им теперь милостей. Вот как легко тем, кто благодаря случайности своего рождения или принципам порочного устройства общества находится у власти, заглаживать причиненное зло, поступаясь какими-то мелкими своими выгодами.

Пред алтарем собора Святого Марка все еще служили заупокойные мессы. Первым среди священников оставался добрый кармелит, не зная усталости и голода, он усердно молился ради спасения души того, свидетелем чьей гибели, можно сказать, был сам. Но в эту скорбную минуту на его усердие обратили внимание только те, кому полагалось пресекать чрезмерные проявления чувств и вообще нежелательные действия.

Когда перед самым выносом тела монах отошел от алтаря, он почувствовал, как кто-то слегка потянул его за рукав, и через минуту очутился среди колонн сумрачного собора наедине с неизвестным ему человеком.

— Падре, вам ведь не раз приходилось давать отпущение грехов умирающим? — обратился к нему незнакомец, и в этой фразе прозвучало скорее утверждение, нежели вопрос.

— Это моя священная обязанность.

— Сенат не забудет ваших услуг. Вы понадобитесь после того, как тело рыбака предадут земле.

Монах вздрогнул и побледнел, но, перекрестившись, наклонил голову в знак того, что готов исполнить свой долг. В это время тело рыбака подняли, и процессия двинулась на площадь. Впереди шли служители собора, за ними, распевая псалмы, следовал церковный хор. Кармелит поспешил присоединиться к нему. Далее несли покойного, без гроба, так как подобной роскоши и по сей день не знают итальянцы низшего сословия. Покойный был обряжен в праздничную одежду, на груди лежал крест; ветер развеивал седые волосы, и, словно для того, чтобы смягчить жуткий облик смерти, на лицо старика положили букет цветов. Траурные носилки украшала богатая резьба и позолота — еще одно печальное свидетельство суетной гордыни и пустых устремлений человеческого тщеславия.

За телом шел юноша; по его загорелому лицу, крепкой полуобнаженной фигуре и мрачному, блуждающему взгляду можно было догадаться, что это внук Антонио. Сенат знал, когда ему следовало милостиво уступить, — теперь юношу освободили от службы на галерах, — конечно, как шептали кругом, из сострадания, ввиду безвременной смерти деда. Прямой взгляд, бесстрашная душа и непреклонная честность старого Антонио ожили теперь в его внуке. Несчастье лишь смягчило все эти черты. Когда процессия двигалась по набережной к Арсеналу, рыдания теснили грудь юноши, и губы его поминутно вздрагивали — горе угрожало взять верх над его самообладанием.

Но он не проронил ни единой слезы, пока земля не скрыла от его взора тело Антонио. Лишь тогда он, шатаясь, вышел из толпы, сел один в стороне и дал волю слезам; он плакал так, как может плакать лишь чело-

век его лет, почувствовавший себя одиноким в пустыне жизни.

Так окончилась история рыбака Антонио Веккио, чье имя скоро забыли в этом полном тайн городе, и лишь рыбаки с лагун хранили память о нем и долго еще превозносили его искусство и гордились победой в гонках над лучшими гребцами Венеции. Внук его жил и трудился так же, как и другие юноши его сословия, и здесь мы расстанемся с ним, сказав лишь, что он унаследовал природные качества деда и не явился несколько часов спустя на Пьяцетту вместе с толпой, которую привели туда любопытство и мстительные чувства.

Отец Ансельмо нанял лодку и, подъехав к набережной, вышел на Пьяцетте в надежде, что ему, быть может, удастся наконец разыскать тех, кому он был так глубоко предан и о чьей судьбе до сих пор не имел никаких сведений. Надежде этой, впрочем, не суждено было сбыться. Человек, обратившийся к нему в соборе, уже ждал его, и, зная, что бесполезно и, более того, опасно противоречить там, где замешаны интересы государства, кармелит покорно отправился вслед за ним. Они шли кружным путем, но в конце концов дорога привела их к зданию тюрьмы. Там монаха оставили в помещении надзирателя, где он должен был дожидаться, пока его вызовут.

Теперь мы отправимся в камеру Якопо. После допроса на Совете Трех его отвели в мрачную темницу, где он провел ночь, как самый обычный узник. На рассвете браво предстал перед так называемыми судьями, которые призваны были решить его судьбу. Мы говорим «так называемыми» не случайно, ибо система власти, при которой желания правителей не только не отвечают интересам подданных, но и совершенно расходятся с ними, никогда не располагает истинным правосудием; когда авторитет властей может пострадать, чувство самосохранения так же безоговорочно заставляет их принять то или иное решение, как то же самое чувство побуждает человека бежать от опасности. Если это происходит даже в государствах с более умеренной степенью произвола, читатель легко поверит в существование подобных порядков и в Венеции. Как и следовало ожидать, судьи, которым надлежало вынести приговор Якопо, заранее получили определенные предписания, и суд этот сделался скорее данью видимости порядка, нежели исполнени-

ем законов. Вели протоколы, допрашивали свидетелей — или, во всяком случае, объявили, что допрашивали их,— и по городу намеренно распространяли слухи, будто трибунал тщательно обдумывает приговор такому чудовищному преступнику, кто в течение долгого времени беспрепятственно занимался своим кровавым ремеслом даже в самом городе. Все утро легковверные торговцы сообщали друг другу о всяких страшных преступлениях, какие за последние три-четыре года приписывались Якопо. Один знал какого-то чужестранца — его тело нашли у игорного дома, часто посещаемого теми, кто приезжает в Венецию. Другой вспомнил о благородном юноше, павшем от руки убийцы прямо на мосту Риальто; третий передавал подробности одного злодеяния, когда мать лишилась единственного сына, а молодая патрицианка — возлюбленного. Так, перебивая один другого, толпа на набережной скоро припомнила не менее двадцати пяти человек, якобы погибших от руки Якопо, даже не считая жертвы бессмысленной мести, кого только что похоронили. К счастью, тот, кого обвиняли, ничего не знал о разговорах, которые велись в городе, и проклятиях, сыпавшихся на его голову. Он даже не пытался оправдываться перед судьями, решительно отказавшись отвечать на их вопросы.

— Вы сами знаете, что я сделал и чего не делал,— сказал он вызывающе.— А потому решайте, как вам удобнее!

Очутившись снова в темнице, он потребовал еды и спокойно позавтракал. Потом у него отобрали все вещи, посредством которых он мог бы покончить с собой, тщательно осмотрели кандалы, и лишь после этого Якопо оставили наедине с собственными мыслями. Некоторое время спустя он снова услышал шаги по коридору. Заскрипели засовы, дверь отворилась. На границе света и тьмы показалась фигура священника. В руках он держал лампаду; войдя в камеру, он поставил ее на низкую полку, где лежал хлеб и стоял кувшин с водой, и закрыл за собой дверь.

Якопо встретил монаха спокойно и почтительно. Он встал, перекрестился и шагнул навстречу священнику, насколько позволяли его цепи.

— Добро пожаловать, падре,— проговорил он.— Вижу сенат намерен лишить меня жизни, но не милости божьей.

— Такое не в силах его, сын мой,— отвечал священник.— Тот, кто умер за них, пролил свою кровь и за тебя, если только ты сам не отринешь его милости. Но, как ни тяжело мне говорить это, ты не должен надеяться на отпущение грехов, Якопо, если не покаешься от всей души,— уж слишком ты закоренелый грешник.

— А кто тогда может надеяться, падре?

Кармелит вздрогнул; самый вопрос и спокойный тон, которым он был задан, придавали странный оттенок разговору.

— Я тебя представлял совсем другим, Якопо,— сказал монах.— Вижу, сын мой, разум твой не бродит во мраке и ты совершал тяжкие преступления против своей воли.

— Боюсь, что так, почтенный монах...

— И в мучительном горе твоём ты должен чувствовать теперь, сколь они тяжки...— Отец Ансельмо замолк, внезапно услышав приглушенные рыдания, и тогда только обнаружил, что они здесь не одни. Оглядевшись в тревоге, он заметил забившуюся в угол Джельсомину; тюремщики, сжавшись, пропустили ее, и она вошла в камеру следом за кармелитом, прячась за его широким плащом. Увидев девушку, Якопо застонал и, отвернувшись, прислонился к стене.

— Дочь моя, как ты сюда попала? — спросил священник.— И кто ты?

— Это дочь главного надзирателя,— отозвался Якопо, видя, что Джельсомина не в силах отвечать.— Я познакомился с ней во время моих частых посещений тюрьмы.

Отец Ансельмо переводил взгляд с одного на другого. Поначалу взор его был суров, но, всматрившись в их лица, кармелит мало-помалу смягчился, видя, как они страдают.

— Вот плоды людских страстей! — проговорил он, и в тоне его слышались упрек и сострадание.— Это извечные плоды преступления.

— Падре,— воскликнул Якопо,— я заслужил упрек, но ангелы в небесах едва ли чище этой плачущей девушки!

— Рад слышать это. Я верю тебе, несчастный, и счастлив, что ты не принял на душу греха и не погубил это невинное создание.



Якопо тяжело дышал, Джельсомина содрогалась от рыданий.

— Зачем же, поддавшись слабости, ты вошла сюда? — спросил кармелит, стараясь смотреть на девушку с упреком, чему никак не соответствовал его ласковый и мягкий голос. — Знаешь ли ты, что за человек тот, кого ты полюбила?

— Святая мадонна! — воскликнула девушка. — Нет! Нет! Нет!

— Но теперь, когда истина тебе открыта, ты перестала быть жертвой своей неразумной прихоти?

Джельсомина растерянно посмотрела на монаха, и вновь страдание отразилось на ее лице. Она опустила голову скорее от боли, чем от стыда, и ничего не ответила.

— Не вижу смысла в этом свидании, дети мои, — продолжал священник. — Меня послали сюда выслушать исповедь браво, и, разумеется, девушка, у которой так много причин осуждать человека, столь долго ее обманывавшего, не захочет вникать в подробности его жизни.

— Нет, нет, — снова прошептала Джельсомина, испуганно замахав руками.

— Будет лучше, падре, если она поверит самым ужасным слухам обо мне, — с горечью сказал Якопо, — тогда она научится ненавидеть даже мою память.

Джельсомина не ответила, лишь снова повторив свой неистовый жест.

— Сердце бедной девушки тяжело ранено, — сочувственно произнес монах. — С таким нежным цветком нельзя обращаться грубо. Прислушайся к голосу рассудка, дочь моя, и не поддавайся слабости.

— Не спрашивайте ее ни о чем, падре, пусть она проклянет меня и уйдет отсюда!

— Карло! — воскликнула Джельсомина.

Воцарилось долгое безмолвие. Монах размышлял о том, что человеческое чувство сильнее его доводов и что сердце Джельсомины исцелит только время. В душе узника шла такая жестокая борьба, какой ему, вероятно, еще ни разу не доводилось испытать, но земные желания, все еще владевшие им, наконец победили.

— Падре,— спокойно и с достоинством промолвил он, шагнув вперед, насколько позволяла цепь,— я надеялся... что это несчастное, но невинное существо с проклятием отвернется от своей любви, когда узнает, что человек, которого она любит,— наемный убийца... Но я ошибся, я плохо знал женское сердце! Скажи мне, Джельсомина, и, ради всего святого, скажи чистую правду: можешь ли ты смотреть на меня без ужаса?

Джельсомина затрепетала, но подняла на него глаза и улыбнулась, как ребенок, сквозь слезы улыбающийся в ответ на ласковый взгляд матери. Якопо, потрясенный, вздрогнул так, что удивленный монах услышал, как звякнули его цепи.

— Довольно,— сказал браво, делая страшное усилие, чтобы овладеть собой.— Джельсомина, ты услышишь мою исповедь. Ты долго владела одной моей тайной, теперь я открою тебе и все остальные.

— И про Антонио? — с ужасом воскликнула она.— Карло! Что сделал тебе этот старый рыбак и как ты мог убить его?

— Антонио? — отозвался монах.— Разве тебя обвиняют в его убийстве, сын мой?

— Именно за это преступление я и приговорен к смерти.

Кармелит опустился на табурет и замер; только взгляд его, полный ужаса, переходил с невозмутимого лица Якопо на его дрожащую подругу. Мало-помалу истинное положение вещей стало яснее для него.

— Это какая-то страшная ошибка! — прошептал монах.— Я поспешу к судьям и раскрою им глаза.

Узник спокойно улыбнулся и жестом остановил пылкого и доверчивого кармелита.

— Бесполезно,— сказал он.— Совету Трех угодно осудить меня за эту смерть.

— Тогда ты умрешь безвинно! Я свидетель, что его убил не ты.

— Падре! — воскликнула Джельсомина.— О падре! Повторите ваши слова... скажите, что Карло не мог поступить так жестоко!

— В этом преступлении он, во всяком случае, невинен.

— Джельсомина! — воскликнул Якопо, не в силах более терпеть и протягивая к ней руки.— Во всех остальных я тоже неповинен!

Крик безумной радости вырвался из груди девушки, и в следующее мгновение она без чувств упала на грудь своего возлюбленного.

Теперь мы опустим занавес над этой сценой и поднимем его лишь час спустя. В ту минуту все, кто находился в темнице, собрались на ее середине, и лампа тускло освещала их лица, наложив на них глубокие тени и резко подчеркивая их выразительность. Кармелит сидел на табурете, а Якопо и Джельсомина стояли возле него на коленях. Якопо говорил с жаром, остальные ловили каждое его слово не из любопытства, а от всей души желая убедиться в его невинности.

— Я вам уже говорил, падре,— продолжал Якопо,— что ложное обвинение в незаконной торговле навлекло на моего несчастного отца гнев сената, и старик долгое время томился в одной из этих проклятых камер, а мы все думали, будто он в ссылке на далеком острове. Наконец нам удалось привести убедительные доказательства ошибочности приговора сената. Но люди, считающие, что призваны править на земле, не любят сознаваться в своих промахах, поскольку это может опорочить всю систему их правления. Сенат так долго медлил с признанием своей оплошности... так долго, что моя бедная мать не выдержала и умерла от горя! Моя сестра, ровесница Джельсомины, скоро последовала за матерью, ибо единственное доказательство, представленное сенатом, когда от него потребовали таковых, было лишь подозрение, что в преступлении, за которое страдал мой несчастный отец, виновен один рыбак, искавший ее любви.

— И они отказались восстановить справедливость? — воскликнул кармелит.

— Для этого следовало признать, что им свойственно ошибаться, падре. Но тогда оказалась бы задета честь многих знатных патрициев, а мне кажется, мораль сенаторов отличается от морали всех прочих тем, что эти люди ставят дела государства выше справедливости.

— Возможно, ты и прав, сын мой, ибо, если государство построено на ложных основаниях, его интересы могут поддерживаться лишь порочными способами.

— После долгих лет просьб и обещаний с меня наконец взяли торжественную клятву сохранить тайну и допустили в камеру отца. Какое это было счастье помогать ему, слышать его голос, получать его благословение! Джельсомина была тогда еще совсем юной. Я и не догадывался о причине, по какой сенаторы позволили мне навещать отца при ее помощи; лишь позднее я стал кое-что понимать. Убедившись, что я полностью в их власти, они вынудили меня совершить ту роковую ошибку, которая разрушила все мои надежды и довела меня теперь до этого ужасного положения.

— Ты доказал свою невиновность, сын мой!

— Да, я не проливал крови, падре, но я виноват в том, что потворствовал их темным делам. Не стану утомлять вас, говоря о том, каким образом действовали они, чтобы поработить мою душу. Я поклялся некоторое время служить сенату в качестве тайного доносителя. За это мне обещали выпустить отца на свободу! Им не удалось бы осилить меня, не будь я свидетелем бесконечных страданий того, кто дал мне жизнь, единственного, кто еще оставался у меня на всем свете. Видеть его муки оказалось выше моих сил... Мне нашептывали о всевозможных пытках, мое внимание обращали на картины, где изображены умирающие мученики, чтобы я имел представление о том, какие страдания ждут осужденных! В ту пору в городе часто происходили убийства, требовалось вмешательство стражей города... словом, падре, я позволил им распускать обо мне всякие слухи, чтобы отвлечь внимание горожан от действий сената. Что и говорить, человек, согласившийся отдать свое имя на позор, скоро действительно заслужит его!

— Для чего же понадобилась такая презренная клевета?

— Ко мне, падре, обращались как к наемному убийце, а мои сообщения об этом были полезны сенату. Но я спас жизнь нескольким людям, и это хоть немного утешает меня в моей ошибке или преступлении.

— Я понял тебя, Якопо; мне говорили, будто в Венеции не стеснялись пользоваться такими услугами людей смелого и пылкого нрава. Но неужели эти злодеяния могут прикрываться именем Святого Марка?

— Да, падре, и еще многое! У меня имелись и другие обязанности, связанные с сенатом. Горожане удивля-

лись, что я разгуливаю на свободе, а наиболее злобные и мстительные пытались воспользоваться моими услугами. Когда слухи эти слишком возмущали народ, Совет Трех всегда умел отвлечь его гнев на другое; когда же народ успокаивался более чем то требовалось сенату, он снова раздувал недовольство. Короче говоря, три долгих года я вел жизнь отверженного, и силы на то мне давала надежда освободить отца и любовь этой наивной девушки.

— Бедный Якопо! Твоя участь ужасна! Я всегда буду молиться за тебя.

— А ты, Джельсомина?

Дочь тюремного надзирателя молчала. Она ловила каждое слово, оброненное Якопо, и теперь, когда поняла всю правду, счастливые глаза ее сверкали почти что неестественным блеском.

— Если ты еще не убедилась, Джельсомина,— проговорил Якопо,— что я не тот негодяй, за которого меня принимали, тогда лучше мне было онеметь!

Она протянула ему руку и, бросившись к нему на грудь, залилась слезами.

— Я знаю, каким искушениям тебя подвергали, бедный Карло,— сказала она нежно,— как безгранично ты любил отца.

— Ты прощаешь мне, Джельсомина, что я обманывал тебя?

— Здесь не было обмана. Я видела в тебе сына, готового отдать жизнь за отца, и не ошиблась в этом.

Добрый монах наблюдал эту сцену с участием и состраданием. По его щекам катились слезы.

— Ваша любовь бесконечно чиста,— промолвил он.— Давно ли вы знаете друг друга?

— Уже несколько лет, падре.

— Бывала ли ты с Якопо в камере отца, Джельсомина?

— Я всегда провожала его туда, падре.

Монах задумался. Спустя несколько минут он начал исповедовать узника и дал ему отпущение грехов с искренностью, доказывающей глубину его расположения к молодым людям. Затем он взял за руку Джельсомину и, прощаясь с Якопо, ласково и спокойно взглянул на него.

— Мы покидаем тебя,— сказал он,— но будь мужествен, сын мой. Не могу поверить, что Венеция останется глуха к истории твоей жизни! И верь, эта преданная девушка и я сделаем все, чтобы спасти тебя.

Якопо выслушал это заверение как человек, привычный ко всему. Он проводил гостей грустной, недоверчивой улыбкой. Несмотря ни на что, в ней светилась радость человека, облегчившего свою душу.

Глава XXX

Чисты вы сердцем —
Потому легко
Гнев благородный охватить вас может,
И потому вы ищете добро
В преступнике.

Байрон. «Вернер».

Тюремщики уже ждали отца Ансельмо и Джельсомину; как только те покинули темницу, ее заперли на ночь. По дороге их никто ни о чем не спросил. Дойдя до конца коридора, ведущего в жилище надзирателя, монах остановился.

— Найдешь ли ты в своей душе силы, чтобы помочь безвинному? — торжественно произнес он вдруг; очевидно, какая-то важная мысль целиком завладела им.

— Падре!

— Я хочу знать, так ли сильна твоя любовь, что ты не дрогнешь и в самую трудную минуту? Без такой решимости Якопо неминуемо погибнет.

— Я готова умереть, чтобы спасти его от страданий!

— Подумай хорошенько, дочь моя! Сможешь ли ты позабыть условности, преодолеть застенчивость, свойственную твоему возрасту и положению, и бесстрашно говорить в присутствии грозных сенаторов?

— Да, падре.

Монах восхищенно взглянул на нежную девушку, лицо которой дышало решимостью и любовью, и подал знак следовать за ним.

— Когда так, мы с тобой предстанем перед самыми гордыми и устрашающими людьми на земле, если толь-

ко нам такое удастся,—сказал кармелит.—Мы исполним наш долг перед обеими сторонами,—перед властителями и подвластными,—чтобы нашу совесть не отягчал грех равнодушия.

И, ничего более не добавив, отец Ансельмо повел покорную Джельсомину в ту часть дворца, где помещались личные покои правителя республики.

Ревностная забота венецианских патрициев о доже имеет свою историю. По существу, дож оставался марионеткой в их руках, и они терпели его лишь поскольку система их правления требовала, чтобы некое лицо присутствовало — только для видимости — на всех пышных церемониях, являвшихся неотъемлемой частью этого насквозь фальшивого государства, а также во время всяких переговоров о делах, которые велись с другими странами. Дож жил в своем дворце подобно царице пчел в улье; его как будто лелеяли, ему всенародно оказывали всякие почести, но по существу он лишь выполнял волю тех, кто обладал действительной властью и использовал ее во зло; и подобно некоторым насекомым,— можем мы добавить,— потреблял непомерно большую часть плодов, производимых обществом.

Благодаря своему решительному и уверенному виду отец Ансельмо беспрепятственно дошел до личных покоев дожа, находившихся в отдаленной от других, усиленно охраняемой части дворца. Стражники не задержали его, потому что уверенная поступь монаха и его одеяние навели их на мысль, что тот исполняет свои обычные священные обязанности. Таким простым и не требовавшим усилий способом монах и его спутница проникли в покои дожа, куда безуспешно пытались пробраться тысячи людей, прибегая для этого к куда более изощренным средствам.

В эту минуту там находились всего лишь двое или трое сонных слугителей. Один из них быстро вскочил, и по его смущенному и встревоженному лицу можно было судить, насколько он удивлен внезапным появлением неурочных посетителей.

— Боюсь, его высочество уже заждался нас,— просто заметил отец Ансельмо, умевший скрывать озабоченность под покровом вежливости.

— Думаю, вам это лучше известно, святой отец, но...

— Не будем терять время на бесполезные разгово-

ры,— прервал его монах,— уже достаточно было промедления, сын мой. Проводи нас в кабинет его высочества!

— Без доклада запрещено...

— Но ты видишь сам, тут не обычная аудиенция. Иди и доложи дожу, что кармелит, которого он ждет, и юная девушка, в судьбе которой он принимает такое отеческое участие, ожидают его распоряжений.

— Значит, его высочество приказал...

— Скажи также, что время не терпит, ибо час, когда должен погибнуть невинно осужденный, близок.

Мрачный и решительный вид монаха убедил служителя. После некоторого замешательства он все же открыл дверь и провел посетителей во внутренние покои; там он попросил их немного подождать и отправился в кабинет дожа.

Как уже известно читателю, правивший в то время дож,— если только можно назвать правящим того, кто представляет собой простую игрушку в руках аристократии,— пребывал уже в преклонном возрасте. Отложив дневные заботы, дож уединился в кабинете, предаваясь простым человеческим удовольствиям, для которых у него совсем не оставалось времени, ибо все поглощалось исполнением чисто внешних обязанностей главы государства: он погрузился в чтение одного из прославленных писателей Италии. Дож сменил должностной наряд на обычную одежду, чтобы полнее ощутить уединение и покой. Монах не мог выбрать лучшего мгновения для осуществления своих намерений: дож был сейчас свободен от всех атрибутов сана и находился в прекрасном расположении духа, ибо некоторые писатели умеют пробуждать в людях лучшие чувства. Дож настолько увлекся чтением, что не слышал, как в кабинет вошел служитель и остановился в почтительном молчании, ожидая, когда он сам заметит его.

— Что тебе, Марко? — спросил дож, поднимая глаза от книги.

— Синьор,— отвечал служитель с некоторой фамильярностью в обращении, которая часто присуща людям, стоящим близко к правителям,— монах-кармелит и молодая девица ждут приема.

— Как ты сказал,— кармелит и девица?

— Да, синьор. Те, кого ждет ваша светлость.

— Что за дерзкий обман!

— Синьор, я только повторяю слова монаха: «Скажи его высочеству, что кармелит, которого он желает видеть, и молодая девица, в чьем счастье его высочество отечески заинтересован, ожидают его распоряжений».

Увядшее лицо дожа залила краска негодования, и глаза его сверкнули.

— И это со мной... в моем собственном дворце!

— Простите, синьор, но этот монах не такой, как другие потерявшие стыд священники, позорящие свой сан: и у него и у девицы вид скромных и достойных людей. Подозреваю, ваше высочество, что вы забыли про них.

Красные пятна исчезли с лица дожа, и взгляд его снова приобрел благожелательное выражение. Возраст и опыт научили венецианского дожа осторожности. Он хорошо знал, что память не изменила ему, и тотчас понял, что необычная просьба таила в себе какой-то смысл. Это мог быть злой умысел беззастенчивых и многочисленных его врагов, но, с другой стороны, если уж проситель решился на такой поступок, это могло быть и какое-нибудь действительно важное и неотложное дело.

— Говорил ли кармелит что-нибудь еще, Марко? — спросил дож после минутного размышления.

— Он сказал, синьор, что дело не терпит отлагательства, так как близится час, когда может погибнуть невинно осужденный. Мне кажется, он хочет просить вас за какого-нибудь повесу; говорят, несколько молодых патрициев арестованы за нескромное поведение во время карнавала. А девушка, возможно, переодетая сестра бездельника.

— Позови сюда кого-нибудь из служителей и, когда я позвоню, введи монаха и девушку.

Слуга удалился, не забыв пройти в приемную через другие двери, чтобы не сразу встретиться с ожидавшими его посетителями. Второй служитель тотчас явился и был немедленно послан просить явиться одного из членов Совета Трех, который находился в соседнем кабинете и занимался важными делами. Сенатор не заставил себя ждать; он считался другом дожа, и его принимали не таясь, выказывая при этом обычные знаки внимания.

— Ко мне явились весьма странные посетители, синьор,— промолвил дож, поднимаясь навстречу человеку, которого вызвал ради предосторожности,— и я хотел бы иметь свидетеля нашего разговора.

— Вы поступаете правильно, ваше высочество, желая, чтобы сенат делил с вами ваши труды. Но если вы полагаете, будто каждый раз, когда во дворец входит посетитель, необходимо вызывать кого-нибудь из советников, то...

— Хорошо, синьор,— мягко прервал его дож, тронув колокольчик,— надеюсь, я не слишком беспокоил вас своей прихотью. Вот и просители.

Отец Ансельмо и Джельсомина вошли в кабинет вместе. С первого же взгляда дож убедился, что видит их впервые. Он переглянулся с сенатором, и каждый прочел в глазах другого удивление.

Очутившись перед дожем, кармелит откинул капюшон и открыл свое аскетическое лицо, меж тем как Джельсомина из глубокого почтения к тому, кто принимал их, смущенно остановилась сзади, наполовину скрывшись за спиной монаха.

— Что означает ваш приход? — спросил дож, указав рукой на сжавшуюся Джельсомину, но прямо глядя в лицо монаха.— И что за странная спутница у вас? Ни время, ни форма вашего обращения не соответствуют обычаю!

Отец Ансельмо впервые очутился лицом к лицу с правителем Венеции. Привыкший, как и все жители этого города в те времена, с недоверием оценивать возможность успеха, монах, прежде чем заговорить, устремил пытливый взгляд на вопрошавшего.

— Светлейший дож,— отвечал он,— мы пришли просить справедливости. Тот же, кто приходит с такой просьбой, должен быть смелым, чтобы не опозорить себя и свое звание.

— Правосудие — слава Святого Марка и счастье его подданных! Твой поступок, святой отец, не соответствует установленным правилам и благоразумию, но он, возможно, имеет оправдание. Изложи свое дело.

— В тюрьме находится узник, которого суд приговорил к смерти. На рассвете его казнят, если вы своей властью не спасете его!

— Тот, кто осужден, заслуживает своего жребия.

— Я духовник этого несчастного и, исполняя свой священный долг, убедился, что человек этот невиновен!

— Ты говоришь, он осужден обыкновенными судьями?

— Приговорен к смерти, ваше высочество, решением уголовного суда.

Дож, казалось, почувствовал облегчение. Так как дело разбиралось публично, он, по крайней мере, понадеялся, что во имя человеколюбия сможет выслушать монаха, не нарушив хитроумных замыслов правительства. Бросив украдкой взгляд на неподвижно сидевшего члена Совета, словно ища у него одобрения своим действиям, дож шагнул ближе к кармелиту, явно заинтересовавшись его просьбой.

— На основании чего, святой отец, отрицаешь ты правильность решения суда?

— Синьор, как я только что сказал вам,— на основании истины, открывшейся мне во время исповеди осужденного. Он обнажил передо мною душу, как человек, стоящий одной ногой в могиле! И, хотя он грешен перед Богом, как все рожденные женщиной, он совершенно чист перед государством.

— Неужто ты думаешь, падре, что закон когда-нибудь нашел бы преступника, если б мы только ждали, когда человек сам обвинит себя? Я стар, монах, и уже давно ношу этот убор, причиняющий мне столько беспокойства,— возразил дож, указывая на лежавший рядом «рогатый чепец», являвший собой символ его власти,— но не помню, чтобы преступник не воображал себя жертвой роковых обстоятельств.

— Духовникам тоже хорошо известно, что люди иногда стараются успокоить этим свою совесть,— отозвался отец Ансельмо.— Наша основная цель — показать заблуждение тех, кто, осуждая свои грехи во время исповеди, ставит себе в заслугу собственное смирение. Но, дож Венеции, в том священном ритуале, который я призван был совершить сегодня вечером, есть высшая сила, подчиняющая себе самый мятежный дух. Многие стараются на исповеди обмануть самих себя, но редко кому это удается.

— Слава Богу, что так! — перекрестившись, промолвил дож, пораженный глубокой верой монаха.— Но ты забыл, падре, назвать имя осужденного.

— Это некий Якопо Фронтони... которого все считают наемным убийцей.

Дождь Венеции вздрогнул и побледнел; взгляд его выразил полнейшее изумление.

— А разве ты не уверен, что кровавый стилет, постоянный позор нашего города, принадлежит наемному убийце?! Коварство этого чудовища взяло верх над твоей проникательностью, падре! Настоящая исповедь злодея стала бы рассказом о тягостных кровавых преступлениях!

— Я вошел в его темницу с той же мыслью, но вышел оттуда убежденный, что общее мнение несправедливо к нему. Если ваша светлость соблаговолит выслушать его историю, вы убедитесь, что он заслуживает жалости, а не наказания.

— Среди всех преступников нашей республики его я считал единственным, для кого нельзя найти никакого оправдания... Говори смело, кармелит, мое любопытство так же сильно, как и изумление!

Дождь был настолько заинтересован, что на мгновение забыл о присутствии инквизитора, выражение лица которого могло сказать ему, что разговор принимает нежелательное направление.

Отец Ансельмо мысленно произнес благодарственную молитву, ибо в этом городе не всегда удавалось оскорбить правдой слух власть имущих. Когда люди живут в обстановке постоянного лицемерия, это качество страшным образом вплетается в нрав даже самых чистых людей, причем они могут и не подозревать, что несут в себе этот порок. Поэтому, приступив к рассказу, отец Ансельмо крайне осторожно касался действий сената, меж тем как, будучи человеком прямым и честным, в другое время и при иных обстоятельствах он горячо осудил бы их.

— Вы, стоящий так высоко над нами, можете и не знать, что один трудолюбивый ремесленник из низшего сословия, некто Франческо Фронтони, когда-то был обвинен в незаконной торговле. Этот проступок Святой Марк всегда карает сурово, ибо люди, ставящие земные блага превыше всего, превратно понимают цель, объединившую всех в свободное общество.

— Падре, ты говорил о Франческо Фронтони?

— Таково было его имя, ваша светлость. Несчастный доверился мошеннику, притворявшемуся влюбленным

в его дочь, и, казалось бы, знавшему всю его подноготную. Когда тот понял, что его мошенничество должно неминуемо обнаружиться, он устроил все так, что сам скрылся, а весь свой гнев сенат излил на его доверчивого друга. Франческо приговорен к заключению до тех пор, пока не признается в том, в чем никогда не был виновен.

— Если это доказано, его постигла злая участь!..

— Великий дож, все горе в том, что обществом стали управлять тайно, пускаясь во всякие интриги...

— Ты хочешь сказать еще что-нибудь о Франческо Фронтони, монах? — прервал его дож.

— История этого человека коротка, синьор; ибо все годы, когда человеку положено трудиться ради своего благополучия, он изнывал в тюрьме.

— Припоминаю, что слышал о таком деле, но ведь то было еще в правление моего предшественника, не так ли, падре?

— И муки его длились почти что до сего дня!

— Не может быть! Конечно, сенат, узнав о своей оплошности, поспешил исправить ее?

Монах пристально посмотрел на дожа, словно желая убедиться, насколько искренне его удивление. Он понял, что, хотя дело Франческо принадлежало к числу тех, которые своей несправедливостью и жестокостью разрушали всю жизнь человека, его не считали достаточно важным, чтобы довести до сведения верховных правителей, ибо власти более всего заботились о собственном процветании, а не о благе подданных.

— Синьор, — сказал монах, — правительство крайне скрытно в делах, касающихся его славы. По некоторым причинам, о которых я не осмелюсь говорить здесь, бедный Франческо еще долгое время пробыл в заключении, хотя признание и смерть клеветника полностью доказали его невиновность.

Дождь задумался; затем он обернулся к члену Совета Трех, но лицо инквизитора оставалось так же безучастно, неподвижно и холодно, как мраморный пилястр, к которому он прислонился. Этот человек привык подавлять в себе все человеческие чувства, выполняя свои загадочные и страшные обязанности.

— Какое отношение имеет дело Франческо к казни браво? — помолчав немного, спросил дож, тщетно пыта-

ясь придать себе такое же безразличное выражение, какое не сходило с лица советника.

— Это объяснит вам дочь тюремного надзирателя... Иди сюда, дитя мое, и поведай все, что знаешь, великому дожу, но помни: говори перед земным владыкой так, как ты говорила бы перед владыкой небесным.

Джельсомина дрожала, потому что, несмотря на цель, ради которой пришла, она никак не могла побороть свою робость. Но обещание, данное монаху, и любовь к Якопо придали ей смелости; она вышла из-за спины кармелита и остановилась перед дожем.

— Ты дочь тюремного надзирателя? — мягко обратился к ней правитель Венеции, и взгляд его выразил удивление.

— Мы бедны, ваше высочество, и несчастны, но мы живем тем, что служим государству.

— Вы служите благородному хозяину, дитя мое! Ты что-нибудь знаешь об этом браво?

— Так называют его только те, кто не знает его сердца, синьор. В Венеции не найти человека, более преданного друзьям, верного слову и благочестивого, чем Якопо Фронтони!

— Лицемерие может придать видимость таких черт даже убийце. Но мы теряем время... Что общего между этими двумя Фронтони?

— Это отец и сын, ваше высочество! Когда Якопо достиг того возраста, что смог осознать несчастье, постигшее семью, он засыпал сенаторов просьбами освободить отца и в конце концов добился разрешения тайно видеться с ним. Я хорошо понимаю, великий государь, что власти не имеют всевидящего ока, иначе они не допустили бы этой ошибки. Но Франческо провел долгие годы, коченея в сырой холодной камере зимой, а летом сгорая от жары под крышей, прежде чем обнаружилось, что он невиновен! Тогда, словно в вознаграждение за незаслуженные страдания, ему разрешили свидания с Якопо.

— С какой целью, дитя мое?

— Я всегда думала, что из сострадания, ваше высочество. Якопо сказали, что своей службой он должен выкупить свободу отца. Патриции долго не доверяли ему, и потому Якопо согласился на страшные условия, чтобы отец мог вздохнуть свободно перед смертью.

— Ты говоришь загадками.

— Я не привыкла говорить в присутствии великого дожа, да еще о таких делах. Я знаю только, что в течение трех лет власти разрешали Якопо свидания с отцом, иначе мой отец не впускал бы его в тюрьму. Я всегда провожала его и призываю в свидетели деву Марию и всех святых, что...

— А ты знала, девушка, что он был наемным убийцей?

— Нет, ваше высочество. Я знала его как богобоязненного человека и любящего сына, чтущего своего отца! Надеюсь, никогда в жизни мне не придется больше пережить такие страдания, как в ту минуту, когда я услышала, что человек, которого я знала как доброго Карло, оказывается не кто иной, как отверженный всеми Якопо... Но, слава Богу, это страдание мое уже позади...

— Ты обручена с осужденным?

Джельсомина не изменилась в лице, услышав неожиданный вопрос, ибо узы, связывающие ее с Якопо, были слишком священны, чтобы поддаться теперь свойственной ей полу слабости.

— Да, ваше высочество, мы предполагали пожениться, если бы это стало угодно Богу и великим сенаторам, от которых так зависит счастье бедных людей.

— И даже теперь, узнав, кто этот человек.. ты все еще не отказываешься от своего намерения?

— Не отказываюсь именно потому, что знаю, кто он на самом деле, и преклоняюсь перед ним! Он пожертвовал своим именем, своей жизнью, чтобы спасти отца, томившегося в тюрьме, и я не вижу в его проступке ничего такого, что могло бы оттолкнуть ту, кого он любит.

— Дело требует объяснения, кармелит! Девица слишком взволнована и потому говорит сбивчиво и неясно.

— Великий дож, она хотела сказать, что республика разрешила сыну навещать отца в тюрьме и подала надежду на его скорое освобождение, если тот будет служить властям города, согласившись, чтобы о нем распростили слух как о наемном убийце.

— И всей этой невероятной истории, падре, вы верите только со слов осужденного преступника?

— Да, но они сказаны, когда смерть уже стояла перед его глазами! Выяснить истину можно разными путями, и более всего они известны тем, кто часто находится подле кающегося, который готовится к смерти. Во всяком случае, синьор, дело заслуживает расследования.

— В этом ты прав. Что, час казни уже назначен?

— На рассвете, синьор...

— А его отец?

— Он умер.

— В тюрьме, кармелит?

— В тюрьме, дож Венеции.

Наступило долгое безмолвие.

— Слышал ли ты, кармелит, о смерти некоего Антонио?

— Да, синьор. И клянусь своим духовным саном, Якопо не виновен в его смерти. Я сам исповедовал старика!

Дож отвернулся. Он начал прозревать истину, и старческое лицо его залила краска стыда, а такое следовало скрыть от нескромных глаз. Он взглядом искал сочувствия в своем советнике, но, подобно тому как свет лишь холодно отражается от полированного камня, так и дож не нашел участия в бесстрастном лице сенатора.

— Ваше высочество! — послышался вдруг дрожащий голос.

— Что тебе, дитя?

— Вы отведете от Венеции позорное преступление, ваше высочество?

— Ты говоришь слишком смело, девица!

— Опасность, грозящая Карло, придала мне смелости. Народ любит вас, ваше высочество, и когда говорят о вас, то все превозносят вашу доброту, ваше желание помочь бедным! Вы глава богатой и счастливой семьи, и вы не станете... нет, не сможете, даже если до сих пор вы думали так, считать преступлением преданность сына отцу! Вы наш отец, мы имеем право прийти к вам и молить даже о помиловании... Но, ваше высочество, я прошу лишь о справедливости...

— Справедливость — девиз Венеции!

— Тот, кто постоянно окружен милостями провидения, не знает горя, часто выпадающего на долю несчастных. Господу было угодно послать страдания моей бед-

ной матери; только вера и терпение дают ей силы переносить испытание. И вот та посильная забота, какой я окружила мать, привлекла внимание Якопо, ибо сердце его тогда переполняли думы об отце. Может быть, вы согласитесь пойти к бедному Карло либо велите привести его сюда? Его простой рассказ докажет вам ложность обвинений, которые осмелились возвести на него клеветники.

— Это излишне... это излишне. Твоя вера в его невиновность красноречивее всяких доказательств.

Радость осветила лицо Джельсомины. Она живо обернулась к монаху и сказала:

— Его высочество слушает нас, и, я думаю, мы достигнем цели! Падре, они угрожают людям Венеции и пугают слабых, но они никогда не свершат того, чего мы так боимся. Я бы хотела, чтобы члены Совета видели Якопо таким, каким видела его я, когда он, измученный тяжким трудом, с душой, страдавшей от бесконечных отсрочек, приходил в темницу отца, зимой дрожа от холода, летом задыхаясь под раскаленной крышей, и старался казаться веселым, чтобы облегчить страдания безвинно осужденного старика... О великий и добрый государь, вы не знаете о том тяжком бремени, какое часто выпадает на долю слабых,— для вас жизнь полна радости; но великое множество людей обречено делать то, что они ненавидят, чтобы не делать то, чего боятся!

— Дитя, все это давно известно мне.

— Я только хочу убедить вашу светлость, что Якопо совсем не то чудовище, каким его изображают! Я не знаю тайных целей сената, ради которых Якопо заставили так оболгать себя, что это чуть не кончилось для него столь ужасно! Но теперь все объяснилось, и нам больше нечего тревожиться. Идемте, падре, пора дать покой доброму и справедливому дожу. А мы вернемся, чтобы порадовать добрым известием страдавшееся сердце Якопо... и поблагодарим пресвятую деву Марию за ее милости...

— Погодите! — срывающимся голосом воскликнул дож.— Ты сказала мне правду, девица? Падре, неужели все это верно?

— Синьор, я сказал то, к чему меня побудили правда и моя совесть.

Дождь в растерянности переводил взгляд с замершей в ожидании Джельсомины на лицо советника, которое по-прежнему оставалось безучастным.

— Подойди, дитя мое,— произнес дождь дрогнувшим голосом,— подойди, я благословлю тебя.

Джельсомина упала на колени перед ним. Даже отец Ансельмо никогда не произносил благословения с таким жаром, как это сделал дождь Венеции. Затем он помог девушке подняться и жестом приказал обоим удалиться. Джельсомина с радостью повиновалась, ибо сердце ее стремилось в камеру Якопо, чтобы скорее порадовать его. Но кармелит помедлил мгновение, бросив недоверчивый взгляд на дождя, как человек, лучше знакомый с уловками, применяемыми, когда дело касается интересов высшего сословия. В дверях он снова оглянулся, и надежда зародилась в его душе, потому что он видел, как старый дождь, уже не в силах более скрывать волнение, поспешил к все еще безмолвному инквизитору и с влажными от слез глазами протянул к нему руки, как бы ища сочувствия.

Глава XXXI

Вперед, вперед!

Благовестят по нас иль по Венеции —
Вперед!

Байрон. «Марино Фальеро».

С наступлением утра жители Венеции вновь принялись за свои обычные дела. Служители городской стражи тщательно подготавливали настроение горожан, и, когда солнце поднялось над заливом, площади стали заполняться народом. Туда стекались любопытные горожане в плащах и шляпах, босоногие рыбаки, одержимые благоговейным трепетом, осмотрительные бородатые евреи в длиннополых сюртуках, господа в масках и множество иностранцев, которые все еще часто посещали пришедшую в упадок страну. Говорили, что во имя спокойствия города и защиты граждан его произойдет публичная казнь преступника. Словом, любопытство, праздность, злорадство и все прочие человеческие чувства собрали множество людей, желавших поглазеть на страдания своего собрата.

Далматинская гвардия выстроилась по набережной так, чтобы окружить гранитные колонны Пьяцетты. Суровые, бесстрастные лица солдат обращены были к африканским колоннам, известным символам смерти. Несколько военачальников важно расхаживали перед строем солдат, а все остальное пространство заполнила толпа. По особому разрешению более сотни рыбаков поместились сразу же за линией войска, чтобы лучше видеть, как будет отомщено их сословие. Между высокими колоннами с изображением Святого Теодора и крылатого льва возвышалась плаха, лежал топор и стояла корзина с опилками — обычные атрибуты правосудия тех времен. Рядом находился палач.

И вдруг пронесшееся по толпе волнение приковало все взоры к воротам дворца. Послышался ропот, толпа заколыхалась, и все увидали небольшой отряд стражников. Он двигался быстро и неотвратно, словно сама судьба. Далматинская гвардия расступилась, чтобы пропустить этих ангелов смерти, и сомкнув за ними свои ряды, как бы отрезала от осужденного весь остальной мир с его надеждами. Дойдя до плахи, стоявшей меж колоннами, отряд распался и выстроился неподалеку; Якопо остался один перед орудиями смерти. Рядом стоял кармелит, толпа могла хорошо видеть их обоих.

Отец Ансельмо, босой, был в обычном одеянии своего монашеского ордена. Откинутый капюшон открывал скорбное лицо монаха и его застывший взгляд. Растерянность, написанная на лице его, временами сменялась проблесками надежды. Губы его шевелились в молитве, а глаза оставались прикованы к окнам Дворца Дожей. Когда стражи отошли, кармелит трижды истово перекрестился.

Якопо спокойно занял место перед плахой. Бледный, с обнаженной головой, он был одет в обычное платье гондольера. Якопо опустился на колени перед колодой, прошептал молитву и, поднявшись, спокойно и с достоинством оглядел толпу. Взгляд его медленно скользил по окружающим его людям, и постепенно лицо несчастного залил лихорадочный румянец, ибо ни в ком он не увидел сочувствия к своим страданиям. Якопо тяжело дышал, и те, кто находился поблизости, думали, что он вот-вот потеряет самообладание. Но все они обманулись. Дрожь пробежала по телу Якопо, и в тот же миг он снова обрел спокойствие.



— Ты не нашел в толпе ни одного участливого взгляда? — спросил кармелит, заметив его невольное движение.

— Ни у кого здесь нет жалости к убийце.

— Вспомни о спасителе, сын мой.

Якопо перекрестился и почтительно склонил голову.

— Ты прочел все молитвы, падре? — обратился к монаху начальник отряда, которому велели присутствовать при казни. — Хотя великий сенат наказывает виновных, он все же милосерден к душам грешников.

— Значит, ты не получал никакого другого приказа? — спросил его монах, снова невольно всматриваясь в окна дворца. — Неужели узник должен умереть?

Сановник улыбнулся наивности монаха, и в улыбке его сквозило равнодушие человека, слишком привыкшего к зрелищам страданий, чтобы испытывать жалость.

— Разве кто-нибудь сомневается в этом? — спросил он. — Такова участь человека, святой отец, особенно же это относится к тем, на кого пал приговор Святого Марка. Вашему подопечному лучше бы позаботиться о своей душе, пока еще есть время.

— Видно, ты получил точный и определенный приказ! Что же, и час казни уже предreshен?

— Да, падре, и он близится. Торопитесь с отпущением грехов, если вы еще не сделали этого.

Он взглянул на башенные часы и спокойно отошел. Снова осужденный и монах остались одни меж колоннами. Кармелит явно не мог смириться с мыслью, что казнь в самом деле состоится.

— Неужели надежда оставила тебя, Якопо? — спросил он.

— Я все еще надеюсь, падре, но лишь на Бога.

— Они не смеют совершить такое злодеяние! Я исповедовал Антонио... Я был свидетелем его гибели, и дож знает это!

— Даже самый справедливый дож не в силах ничего сделать, если всем правит кучка себялюбцев. Ты еще мало наслышан о действиях сената, падре!

— Я не осмелюсь сказать, что Господь покарает тех, кто совершит это преступление, ибо пути Господни неисповедимы... Помолимся еще, сын мой!

Кармелит и Якопо рядом преклонили колена, голова несчастного склонилась к плахе, меж тем как монах в

последний раз взывал к милости божьей. Затем монах встал, оставив осужденного в прежнем положении.

В эту минуту к ним подошли начальник отряда и палач; коснувшись плеча отца Ансельмо, военачальник указал на видневшиеся вдали часы.

— Время близится,— шепнул он скорее по привычке, чем из жалости к осужденному.

Кармелит невольно вновь обернулся к дворцу, забыв в этот миг все, кроме надежды на земную справедливость. В окнах маячили чьи-то тени, и он вообразил, что сейчас последует знак остановить надвигающуюся смерть.

— Погодите! — закричал он. — Во имя пресвятой де-вы Марии, не торопитесь!

Проникнутый страданием женский голос, словно эхо, повторил слова монаха, и вслед за тем прорвавшись сквозь строй далматинцев, к группе людей, стоявших меж колоннами, подбежала Джельсомина. Толпу охватило изумление и любопытство, по площади прокатился глухой ропот.

— Безумная! — крикнул кто-то.

— Еще одна его жертва! — добавил чей-то голос, ибо, если человек известен каким-нибудь своим пороком, люди всегда готовы приписать ему и все прочие.

Джельсомина ухватила за оковы Якопо, напрягая все силы, чтобы разорвать их.

— А я так надеялся, что тебе не придется видеть это зрелище, бедная Джельсомина, — сказал Якопо.

— Не тревожься, — задыхаясь от волнения, проговорила Джельсомина, — они просто насмеются... они хотят обмануть... Они не могут... Нет, они не смеют тронуть ни один волос на твоей голове!

— Джельсомина, любимая!

— Не удерживай меня! Я все расскажу людям! Сейчас они тебя не жалеют, но они узнают правду и полюбят тебя так же, как я!

— Благослови тебя Бог! Но зачем, зачем ты пришла сюда!

— Не бойся за меня! Правда, я не привыкла видеть так много людей сразу, но вот послушай, как смело я стану говорить с ними! Я открою им всю правду! Мне только воздуха не хватает...

— Дорогая! У тебя есть мать... отец. Им нужна твоя забота... И это сделает тебя счастливой.

— Ну вот, теперь я могу говорить, и ты увидишь, я сумею оправдать тебя!

Джельсомина высвободилась из объятий возлюбленного, которому, несмотря на его оковы, эта потеря показалась едва ли не тяжелее расставания с жизнью. Теперь борьба в душе Якопо, очевидно, стихла. Он покорно склонил голову на плаху, перед которой стоял на коленях, и по его светлому взгляду можно было догадаться, что он молился о той, что только сейчас покинула его.

Но Джельсомина и не думала сдаваться. Откинув волосы со своего чистого лба, она подошла к рыбакам, которых узнала по босым ногам и красным шапочкам. На лице ее блуждала улыбка, которую можно вообразить лишь у святых, познавших неземную любовь.

— Венецианцы! — воскликнула она. — Я не виню вас! Вы пришли сюда, чтобы видеть смерть того, кто, как вам кажется, не достоин жить...

— Это убийца старика Антонио! — откликнулись из толпы.

— А, вы считаете его убийцей этого почтенного человека! Но, когда вы услышите правду, когда наконец узнаете, что тот, кого считали убийцей, был благочестивым сыном, преданным слугой республики, скромным гондольером с чутким сердцем, когда вы узнаете всю правду, то потребуете справедливости вместо кровавой расправы!

Слабый, срывающийся голос девушки, который можно было услышать лишь при глубокой тишине, тонул в ропоте толпы. Подошедший кармелит поднял руку, призывая к молчанию.

— Слушайте ее, люди лагун! — крикнул он. — Она говорит святую правду.

— Этот благочестивый монах и небеса мне свидетели! Когда вы узнаете Карло и услышите его рассказ, вы первые станете требовать его освобождения! Я говорю вам это, чтобы вы не гневались и не думали, что с вами обошлись несправедливо, когда дож появится вон в том окне и подаст знак помиловать Карло. Бедный Карло...

— Эта девушка бредит! — мрачно прервали ее рыбаки. — Здесь нет никакого Карло, есть только Якопо Фронтони, наемный убийца!

Джельсомина улыбнулась, уверенная в своей правоте, и, поборов волнение, продолжала:

— Карло или Якопо, Якопо или Карло — не все ли равно?

— Смотрите! Из дворца подают знак! — крикнул кармелит, протянув руки в сторону дворца, словно принимая щедрый дар.

В эту секунду раздался звук трубы, и по толпе снова прокатился ропот. Радостный крик вырвался из груди Джельсомины, она обернулась, чтобы кинуться к освобожденному. Перед ее глазами блеснул топор, и голова Якопо покатилась по камням, словно навстречу девушке. Толпа зашевелилась, зрелище кончилось.

Далматинцы построились в колонну, отряд, приведший Якопо, растолкал толпу, плиты площади полили водой из залива, подмели опилки, пропитанные кровью; голова Якопо, его тело, помост, плаха — все исчезло, и страшное место вновь заполнила беспечная толпа венецианцев.

Ни отец Ансельмо, ни Джельсомина не шелохнулись во время этой краткой сцены. Все было кончено, и тем не менее происшедшее казалось кошмарным сном.

— Уведите эту безумную! — приказал начальник стражи, кивнув в сторону Джельсомины.

Ему подчинились с готовностью, присущей венецианцам; и, когда стражники уводили девушку с площади, стало ясно, что слова офицера оказались пророческими. Кармелит едва дышал. С ужасом смотрел он на снующую толпу, на окна дворца и на солнце, так ослепительно сиявшее с небес.

— Вас сомнет толпа! — шепнул вдруг чей-то голос рядом. — Лучше пойдете со мной, святой отец.

Монах был слишком подавлен, чтобы противиться. Глухими проулками неизвестный вывел его к набережной, где оба сели в гондолу, мгновенно направившуюся в открытое море. И еще прежде, чем настал полдень, потрясенный до глубины души монах уже плыл к владениям римской церкви и вскоре очутился в замке Святой Агаты.

В обычный час солнце скрылось за тирольскими вершинами, над Лидо повисла луна. Узкие улицы вновь выплеснули тысячи горожан на площади Венеции. Тусклый свет косо падал на причудливые здания и голову-кружительную Кампаниллу, заливая город на островах призрачным сиянием.

Портики осветились, и вновь беспечный радовался, забавлялся равнодушный, некто в маске шел к одному лишь ему ведомой цели, а певицы и шуты выступали в своих обычных ролях; весь город вновь отдался бессмысленному веселью, которое отличает развлечения бездумных и праздных. Каждый жил лишь для себя, а правительство Венеции продолжало свое ужасное дело, развращая и властителей, и подданных, попирая священные законы правды и справедливости.

БЛЕСК И НИЩЕТА ТИРАНИИ

«Новая книга принята здесь с восторженным изумлением»,— радостно сообщает из Парижа один американский путешественник своему нью-йоркскому корреспонденту о романе Дж. Ф. Купера (1789—1851) «Браво, или В Венеции».

Это были лучшие годы жизни писателя: растет успех, сопутствовавший ему с первых шагов на литературном поприще, появляется множество друзей и почитателей. В 1826 г. он вместе со всей семьей поселяется в Париже, сначала разочаровавшем Купера, а затем—покорившем; в Европе он предполагает провести года два, но остается более чем на семь. Слава его быстро ширится. Сам сэр Вальтер Скотт,—повелитель царства английского романа, первым среди писателей Англии возведенный в рыцарский сан за литературные достижения,—оценивает необычайно высоко первые книги Дж. Ф. Купера и предсказывает успех новому литературному жанру. Жорж Санд напоминает Америке, что последняя столько же обязана Куперу в отношении литературы, сколько Франклину и Вашингтону—в области науки и политики. Гёте зачитывается книгами Купера. Бальзак называет его прекрасным талантом и в некоторых своих произведениях заимствует, по-видимому, отдельные приемы его. Увлекаются Купером почти что все французские писатели той поры, да и не одни французские: Лажечников, Милославский или Полевой также не избежали его влияния. Лермонтов ценил Купера выше, нежели Скотта, а Белинский даже ставил его в один ряд с Шекспиром.—утверждение, конечно, для нас немного странное, но показывающее то впечатление, какое он произвел на современников¹.

¹ Несколько двусмысленное звание писателя для юношества Купер получает много позже (1880—1890 гг.), когда в Германии появляются детские переложения его книг, с которых нередко и делались русские переводы.

Купер знаменит. Аристократы шпаги и мантии принимают его так же, как и аристократы духа,— и среди них Зинаида Волконская, хозяйка московского литературного и музыкального салона, частым посетителем которого был одно время Пушкин. Тем не менее заказанный Купером по такому случаю фрак с серебряными пуговицами, необходимый в круговерти парижской жизни, видимо, все-таки немного стесняет писателя, и в октябре 1828 г. он уезжает в Италию, более двух лет живет там и пишет — дольше всего в особенно любимой ему Флоренции, а также в Генуе и Риме. Венеция приводит его в восхищение; ночами он плавает по ее каналам в собственной гондоле, пристально всматривается в типы лиц, повадки людей,— не говоря уж о площадях и зданиях, скульптуре и картинах,— и внимательно знакомится с бурной, долгой историей неповторимого города. В ноябре 1831 г. выходит в свет «Браво, или В Венеции».

Первые главы книги не предвещают читателю, казалось бы, ничего неожиданного: здесь одно за другим появляются основные действующие лица обычного романтического повествования,— и донна Виолетта, прекрасная юная наследница титулов и богатств прославленного патрицианского рода, и мудрая наставница ее, и убежденный сединой духовник, и синьор Градениго, сенатор, опекун Виолетты, и дон Камилло Монфорте, герцог Святой Агаты, не задумываясь бросившийся в воду, когда донна Виолетта чуть не тонет в одном из городских каналов при столкновении ее гондолы с большим кораблем,— что, естественно, производит неизгладимое впечатление на душу девушки. Тут и сам Якопо Фронтони, о ком идет слава, будто он — наемный убийца, кого кинжал кормит не хуже, чем иного — весло, молоток или заступ. И рядом со всем этим — город, его площади и каналы, дворцы и почти что византийский собор, его дни и его ночи. Лишь постепенно мы начинаем понимать, что в отличие от ранних книг Купера, где герои предоставлены самим себе на просторах морей либо прерий и лесов американского Дальнего Запада, здесь автора занимает другая драма (пусть разыгрываемая на романтических подмостках): жизнь человека в тираническом государстве; и довольно скоро мы обнаруживаем, что главный герой книги совсем не Якопо Фронтони, а Венеция. Недаром из тридцати одной ее главы по крайней мере в восемнадцати имеются более или менее пространные описания городских видов (ими, кстати, начинается и заканчивается «Браво») и глубокие рассуждения автора о государственном устройстве Венецианской республики; действующие же лица высказываются на сей счет постоянно, хотя, конечно, скорее как люди XIX века, а не поры Возрождения. Так что двойное название книги — не столько дань традиции, сколько указание на замысел автора.

Купер не определяет с точностью время действия романа; судя по именам упоминаемых им венецианских живописцев, сетованиям героев на упадок города и по некоторым историческим деталям (вроде упоминания о Совете Трех, о существовании морского пути вокруг Африки или замечания о несовершенстве огнестрельного оружия), его следует отнести что-нибудь к концу XVI — началу XVII века. Тогда венецианцам было уже о чем скорбеть. Расцвет города, с IX в. державшего в своих цепких руках, — наряду с Генуей, — едва ли не всю торговлю Европы со странами Переднего Востока, начался давно, после четвертого Крестового похода. Именно тогда (1202 г.) дожу Венеции, гениальному старцу Энрико Дондоло, удалось склонить предводителей рыцарского воинства к мысли обратить свои взоры с пустынных холмов Палестины, где предстояло в поте лица своего отбивать у сарацин Гроб Господень, на столицу Византии, истекающий богатством Константинополь. Тогда второй Рим христианства оказался разграблен дотла, а Венеция, сломив бывшую метрополию и даже захватив часть Константинополя, начинает мало-помалу создавать настоящую средиземноморскую империю, куда входят значительная часть Далмации (откуда у нас и появляются солдаты-далматинцы), Греческие острова, Крит, Эвбея, Корфу и многие другие земли. Венецианский дож получил тогда же многозначительный и слегка нелепый титул *Господина четверти и восьмой части всей Римской империи* и имел собственный Совет из двух, а затем из четырех лиц. В 1247 г. венецианцы появляются в Киеве, в 1260 г. — в Крыму; одновременно делаются большие территориальные приобретения в Италии, а когда после битвы при Кьоджи (1380 г.) удастся сокрушить давнюю соперницу — Геную, Венеция забирает себе чуть не всю европейскую торговлю со странами Леванта и Магриба. Торговые подворья ее можно обнаружить теперь от Португалии и Англии до Египта и Сирии, а деловые связи тянутся до Междуречья и даже Индии; венецианцем был и Марко Поло, достигший первым Китая. К середине XV в. число жителей города приближается к 200 тысячам, из них совсем не причастна к торговле какая-нибудь тысяча человек. Город настолько богат, что одна из переписей той поры обнаружила в нем только лишь 187 нищих. Флот его состоял из примерно трех тысяч больших кораблей и галер (изобретение галеры традиция приписывает самим венецианцам) и значительно большего количества мелких судов. В Арсенале, упоминаемом Купером, занято около 16 тысяч человек. Даже взятие турками Константинополя (1453 г.) и дальнейшие их завоевания не нанесли поначалу Венеции значительного ущерба. А вот когда Венеции достигла весть, что португальцы открыли морской путь вокруг южной оконечности Африки и Лиссабон принял первый груз индийского перца, — город, по воспоминаниям современников, охвачен был ужасом:

все поняли тут же, что это — начало конца. Испания тоже теснит город на лагуне, — и открытием Нового Света и завоеванием Неаполитанского королевства, почему наш дон Камилло Монфорте и состоит в свите испанского посланника. Неожиданно возникшая великая держава Средиземноморья — Турция также не без интереса взирает на венецианские земли. В конце XV — начале XVI в. наступает перелом; общество, уставшее от ратных подвигов и ухищрений торговли, желает скорее пользоваться уже имеющимися, нежели стремиться к каким-то новым, едва ли достижимым приобретениям. Закат города окрашивает необыкновенный подъем венецианского искусства, к чему столетием позже, чем в остальной Италии, обращается здесь гений народа: именно тогда украшаются площадь Святого Марка, Дворец Дожей, бесчисленные церкви, дворцы вельмож, расцветает архитектура, живопись, скульптура, музыка и художественные ремесла. Но все это не может смягчить чувства утраты былого могущества, и куперовские герои с горечью замечают, что «прыжки крылатого льва делаются короче».

Не одни внешние условия приводят к постепенному упадку города; глубокие изменения постигают и государственное устройство самой Венецианской республики. Первоначально город, существовавший еще с римских времен, управлялся выборной коллегией трибунов, но с конца VII в. учреждается должность единоличного главы городских властей — дожа. Полной и признанной независимости Венеция достигает к концу X в., и скоро сильно умножившиеся государственные дела потребовали усложнения структуры власти республики. Помимо коллегии советников дожа, к концу XII в. создается Большой совет — высшее законодательное собрание страны, ведавшее всеми ее делами. Немногим позже разросшаяся до примерно 300 членов коллегия советников выводится из Большого совета, образовав сенат, к которому переходит значительная часть исполнительной власти. Деятельность сената направляет первоначально так называемый Малый совет, а позже — Синьория, состоявшая из дожа и еще нескольких высших должностных лиц. Синьория все более теснит власть дожей, и уже с начала XIII в., вступая на престол, каждый новый властитель обязан давать обещание блюсти определенные ограничения своих полномочий, чем отцы города стремятся оградить себя от угрозы монархического переворота.

До конца XIII в. выборы в Большой совет оставались номинально свободными; в него могли попасть представители всех трех сословий, на которые делилось население города: *нобилей* (патрициев), *граждан* и *простонародья*, — хотя по обычаю членами его делались почти что одни патриции. Но в 1297 г. дож Пьетро Градениго проводит реформу, сильно затруднившую доступ в Большой совет выходцам из двух низших сословий, окончательно же он оказывается

закрытым для них с 1315 г., когда составляется первый список аристократических семейств, впоследствии обратившийся в упоминаемую здесь так называемую Золотую книгу, куда вносили сведения о рождениях, браках и смертях членов небольшого числа наиболее знатных венецианских фамилий.

Население города не осталось безучастно к этим нововведениям, и уже в 1310 г. составляется заговор, возглавленный пращуром донны Виолетты, блистательным Байамонте Тьеполо, ради возвращения к прежним порядкам. Заговор этот один из участников его раскрыл властям, главари его погибли в уличной битве либо бежали, и реформа Градениго утвердилась окончательно; а чтобы воспрепятствовать в будущем попыткам такого рода, учреждается — сначала временно, но с 1335 г. и постоянно — Совет Десяти, орган верховного полицейского надзора. В течение XIV—XV вв. государственное устройство республики меняется мало, но затем в 1582 г. из Совета Десяти выделяется знакомый нам Совет Трех; членов его вскоре начинают прямо именовать государственными инквизиторами. Им принадлежит право вынесения приговоров и организации всеобщей полицейской слежки, которая то и дело приводит в содрогание наших героев, один из которых чистосердечно признается, что не в состоянии понять, кто тут доносчик, а кто — нет.

Известно несколько попыток изменения такого положения вещей, в том числе — упомянутый в книге заговор дожа Марино Фальеро (1355 г.), казненного «за преступления», как глухо гласит надпись на черной драпировке, которой затянута часть фриза в зале Большого совета Дворца Дожей, где положено находиться его портрету¹. О цели этого заговора — если он и замышлялся — до сих пор остается лишь гадать, но так или иначе никаких сколько-нибудь опасных попыток изменения устоев государства после него не предпринималось, ибо они, вероятно, устраивали наиболее влиятельный слой населения города: уже с середины XV в. патриции начинают отходить от торговой и всякой иной деятельности, аристократия ведет праздную жизнь феодальных синьоров, что открывало новые

¹ Любопытно наблюдать, как в этой портретной галерее правителей Венеции горящие глаза от столетия к столетию постепенно угасают, лица, на которых прежде написан был неумемный порыв, сменяются каменно замкнутыми, — как у Лоредано кисти Джованни Беллини (около 1507 г.), — пока наконец не возникают фигуры вроде Франческо Вениера (1554—1556 гг.), кого Тициан изобразил человеком сильным, но сломленным и бесконечно усталым; рука его в тревожном, неуверенном жесте обращает внимание зрителя на окно, где среди лагуны виднеется пылающая крепость, символ нависшей над республикой страшной турецкой угрозы.

возможности богатому купечеству, сохранившему верность своему ремеслу.

Таким образом, до известного времени государственное устройство республики Святого Марка развивалось достаточно удачно, то есть в расчет принимались интересы всех основных слоев населения. После же реформы Градениго и закрытия (как то называется в истории) Большого совета форма правления ее, как замечает Купер, все более склоняется к олигархии, открывающей все двери одному из самых пагубных пороков государства — беззаконию. С замечательной проницательностью Купер убеждает читателя, что тлетворное влияние государства, где закон молчит, не зависит ни от времени, ни от народа, среди которого оно утвердилось, ни от прочих обстоятельств, каким мы склонны придавать первостепенное значение. Но и то правда: если хрупкую, прихотливую структуру свободного общества всякий раз необходимо приноровить к новым условиям, кремневый топор тирании изобретен раз и навсегда; и последствия ее всегда одинаковы.

Прямо с первых страниц повествования читатель окунается в зыбкую, тревожную атмосферу города, где лучше обо всем говорить шутя, а главное — чтобы тебя не услышали случайные люди, где на центральной площади каждый может встретить человека, о ком всем известно, что он — наемный убийца, где по вечерам принято скрывать лицо под маской и где постоянно едва ли не у всех личиной скрыта душа. Здесь слово *giustizia*, — *правосудие* (ит.), — открывающее книгу и многократно появляющееся на ее страницах, звучит либо грубой ложью, либо воплем отчаяния. Поэтому герцог дон Камилло Монфорте, исчерпав простые и законные способы вернуть себе неоспоримые права вымершей ветви своего рода, принужден обратиться к услугам Якопо Фронтони, человека, по общему мнению, более чем сомнительного, но и несомненно влиятельного. Беззаконие лишает человека того, мысль о чем Куперу, возможно, навеяла первая статья конституции родных его Соединенных Штатов, — право на *стремление к счастью*. Поэтому Донна Виолетта Тьеполо, — кому сам Бог, казалось бы, велел безропотно подчиниться законам родного города, — убедившись с ужасом, что власть не остановиться перед попранием любого установления, ни божеского, ни человеческого, решается на тайный брак и более чем опасное бегство. Гражданин правильно организованного общества может презирать власть, но чтит закон; подданный тирании чаще всего боится власти, но презирает закон и стремится, где только можно, обойти его, рабски следуя в этом своим повелителям. Поэтому старый Антонио, сам когда-то служивший во флоте республики, всеми правдами и неправдами тщится избавить внука своего от исполнения закона —

несения воинской повинности. Знаменательно, что он менее всего помышляет о помощи, какую на старости лет мог бы получить от этого юноши; и страшат его не столько опасности войны, сколько «порочное влияние общества галерных матросов». Но война — единственное настоящее дело тирании; допустить тут вмешательство в свои права она не может, хотя и войну-то вести толком не умеет, и члены Совета Трех,— в полном соответствии с исторической истиной,— обсуждая состояние своей державы, более полагаются на хитросплетения дипломатии, чем на силу оружия.

Но беззаконие явное не столь действенно, как беззаконие скрытое. А тогда тайной окутывается все,— и ради сохранения ее высший орган власти, Совет Трех, не имеет ни постоянного места соборов, ни постоянного времени проведения их; и состав его остается не известен никому, кроме нескольких высших должностных лиц государства.

Беззаконие же и тайна влекут за собою жестокость и лицемерие. «Горожане удивлялись,— рассказывает о себе мнимый браво,— что я разгуливаю на свободе, а наиболее злобные и мстительные пытались воспользоваться моими услугами. Когда слухи эти [о злодеяниях его.— А. Т.] слишком возмущали народ, Совет Трех всегда умел отвлечь его гнев на другое; когда же народ успокаивался более чем то требовалось сенату, он снова раздувал недовольство». Якопо Фронтони служит властям, надеясь облегчить тем самым участь отца, которого медленно, в течение многих лет, убивают, содержа зимой в сырой подземной темнице, а летом — в невыносимо душной камере под свинцовой крышей тюрьмы¹. «Да, я не проливал крови,— говорит Якопо на исповеди,— но я виноват в том, что потворствовал их темным делам. Не стану утомлять вас, говоря о том, каким образом действовали они, чтобы поработить мою душу. Я поклялся некоторое время служить сенату в качестве тайного доносителя. За это мне обещали выпустить отца на свободу! Им не удалось бы осилить меня, не будь я свидетелем бесконечных страданий того, кто дал мне жизнь, единственного, кто еще оставался у меня на свете. [...]. Мне нашептывали о всевозможных пытках, мое внимание обращали на картины, где изображены умирающие мученики, чтобы я имел представление о том, какие страдания ждут осужденных!» Ложность обвинения, приведшего старика Фронтони за решетку, давно известна; но ведь власть непогрешима,— и вот восхваление собственного правосудия, поминаемого к месту и не к месту, не сходит с уст должност-

¹ Такой способ содержания узников известен в Италии 30-х годов прошлого века; об этом знал, например, Стендаль.

ных лиц республики Святого Марка. При этом буквально все высказывания их сводятся к подобающей случаю не утруждающей ума расстановке сотни однажды отвердевших слов, давно уж употребляемых вне прямого их смысла; и неловко за высокого сановника, объявляющего донне Виолетте волю сената, кто только и может, что отсыпать ей положенное количество вот так слепленных фраз, не тронутый даже присутствием прелестной девушки, и, конечно, он не задумывается об уготованной ей участи.

Тем не менее по городу ползут слухи, будто тела тайно казненных по повелению сената топят в водах канала Орфано: ведь там запрещено бросать сети, а раз так... Взаимное недоверие власти и подданных приобретает оттенок болезненности: одна сторона в любом действии другой видит тайный и непременно злой умысел. При этом власть в делах собственной «чести» проявляет чувствительность, достойную разве что девицы на выданье, будущности которой способно повредить любое вольное слово. Правда, венецианские государственные инквизиторы, люди высокой культуры, здесь кажутся еще весьма умеренными в сравнении со своими коллегами иной поры, от кого трудно было бы дожидаться рассуждений, вроде такого: «Из тайных доносов, конечно, можно извлечь кое-что полезное, но в большинстве случаев это сплошной вздор. Я высек бы десятилетнего мальчишку, если б он не сумел слепить из благозвучных итальянских слов стишок получше, например, вот этого.— Подобная вольность есть следствие безнаказанности. Не станем обращать внимания — ведь все, что служит для забавы, отвлекает от мятежных помыслов» и венецианский дож (от *dux* — вождь — лат.) при слове культура не хватается за только что изобретенный пистолет, а, отложив дневные заботы и уединившись в дальних покоях, «придается простым человеческим удовольствиям»; перечитывает кого-то из классиков итальянской литературы; вожди иных времен и народов стали бояться книг, как огня,— куда и предпочитали отправить эти самые книги, если уж не удавалось авторов.

Когда власть ощущает, что почва всеобщего (насколько то возможно) согласия уходит из-под ног, она логикой событий из чувства самосохранения принуждена поставить перед собою в качестве одной из самых главных целей — подчинение всех своей воле. Власть в лице более умудренных членов Совета Трех укрощает сенатора Соранцо так же (пусть другими способами), как простого рыбака Антонио или того же Якопо Фронтони. Такая власть никогда не ошибается,— или, по крайней мере, не ошибаются те, кто располагает властью сейчас. Никакая ложь тут никого не остановит; даже то, что ей никто не поверит. Метода тут дикарски простая: оплошность, если она, паче чаяния, все-таки допущена, случилась не теперь: «Мы объясним это действиями предыдущего состава Совета. Такие недо-

разумения являются неизбежным следствием причуд свободы, синь-ор! Конь, который родился и вырос на воле, не покоряется узде так, как жалкая скотина, привыкшая тащить повозку».

При подобной форме правления всюду, естественно, процветало доносительство, всемерно поощряемое государством: в городе имелись так называемые Львиные пасти,— своего рода почтовые ящики, куда каждого призывали бросить при случае записку с обвинением другого; последствия могли оказаться какими угодно. Все следили за всеми, часто даже не зная, кому служат: так, один из лакеев дона Камилло бежит доносить на собственного господина его же доверенному лицу; а хорошо знавший дело Якопо сообщает удивленному герцогу Святой Агаты, что из всех его людей сенату не служит разве только один. Тайные агенты правительства, кроме того, формируют,— как мы скажем теперь,— общественное мнение, распуская угодные властям слухи. А когда после внезапного бунта опустели обычно многолюдные улицы города, им пришлось заняться и делом куда более тонким: «Тайные соглядатаи были слишком напуганы волнением рыбаков, чтобы не применить свой излюбленный прием после того, как снова воцарилось спокойствие. Желая придать площади ее обычный вид, они выпустили наемных шутов и певцов, и толпы гуляющих, в масках и без них, вскоре снова заполнили Пьяцетту». Смерть Якопо также не обойдена их вниманием: «Тайные служители городских властей тщательно подготовили настраивание горожан, и когда солнце поднялось над заливом, площади стали заполняться народом. [...] Говорили, что во имя спокойствия города и защиты граждан его будет произведена публичная казнь преступника». Они вербуют агентов самыми разными способами. Своекорыстной и злокозненной Аннине в простоте души посулили, видимо, деньги и благожелательное невнимание к особенностям предпринимательской деятельности ее отца. Но в ходу и куда более опасные приемы; и Якопо, исповедуясь перед казнью, с ужасом вспоминает: «Джелъсомина была тогда еще совсем юной девушкой. Я и не догадывался о причине, по какой сенаторы позволили мне навещать отца при ее помощи; лишь позднее я стал кое-что понимать. Убедившись, что я полностью в их власти, они вынудили меня совершить ту роковую ошибку, которая разрушила все мои надежды и довела меня теперь до этого ужасного положения». Бунт тут — естественное и в известном смысле необходимое проявление жизни общества, связи между различными слоями которого грубо нарушены. А тогда без тайной полиции не обойтись.

Правосудие в таких условиях делается надежным и удобным инструментом все той же тайной власти; Купер пишет об этом: «На рассвете браво предстал перед так называемыми судьями, которые призваны были решить его судьбу. Мы говорим «так называемые»

не случайно, ибо система власти, при которой желания правителей не только не отвечают интересам подданных, но и совершенно расходятся с ними, никогда не располагает истинным правосудием; когда авторитет властей может пострадать, чувство самосохранения так же безоговорочно заставляет их принять то или иное решение, как то же чувство побуждает человека бежать от опасности. [...] Как и следовало ожидать, судьи, которым надлежало вынести приговор Якопо, заранее получили определенные предписания, и суд этот сделался скорее данью видимости порядка, нежели исполнением законов. Вели протоколы, допрашивали свидетелей,— или, во всяком случае, объявили, что допрашивали их,— и по городу намеренно распространялись слухи, будто трибунал тщательно обдумывает приговор такому чудовищному преступнику». Когда же легковёрный Соранцо предлагает передать в открытый суд дело сына сенатора Градениго, «дабы народ знал, что высокое положение не освобождает в Венеции от заслуженной кары»,— все обернулось иначе: «Можно привести немало примеров, когда аристократия Венеции жертвовала кем-то из своих близких, чтобы создать впечатление беспристрастности суда, ибо, когда такие дела велись с должным благоразумием, это скорее укрепляло, нежели ослабляло ее власть. Но дело Градениго оказалось слишком позорным, чтобы отважиться на подобную огласку, и остальные члены Совета высказались против намерения своего неискuschenного собрата, приведя весьма благовидные и даже довольно разумные доводы. Наконец, было решено, что они сами вынесут приговор».

Произвол и своекорыстие, правящего сословия пагубным образом отражаются на нравах: люди становятся алчными и мстительными, подверженными вспышкам слепой ярости и легковёрными, подозрительными и покорными, *народ превращается в люд*, сохраняя при этом «самые преувеличенные притязания на собственную справедливость и великодушие». Примечательно, что во время бунта, вызванного смертью Антонио,— о причинах которой никто толком ничего не знал,— в толпе с трудом отыскался человек, способный даже не возглавить ее, а хоть связно изложить дожу требования или, скорее, пожелания рыбаков. Не удивительно, что взбунтовавшихся легко удалось успокоить,— особенно легко потому, что бесхитростные люди эти едва ли способны были оценить степень морального падения власть имущих. Тут снова стоит посмотреть, что пишет на этот счет наш автор:

«Любопытно, что общество обычно устанавливает гораздо более твердое мерило истины и справедливости, чем принимаемое в жизни каждого отдельного члена его. Причина такого положения совершенно очевидна, ибо природа наделила всех людей пониманием права и они отказываются от него лишь под давлением сильных

соблазнов. Поэтому страны, в коих общественное мнение имеет наибольшее значение, обретают и более чистые нравы. [...] Ужасно положение того народа, у коего законы и установления властей ниже личных принципов самих граждан, ибо это доказывает, что подобный народ не является хозяином своей судьбы и, что еще страшнее, совокупная сила его используется для разрушения тех самых качеств, из которых слагается добродетель и которые во все времена необходимы для постоянной борьбы с вечными устремлениями своекорыстия».

Такое положение дел отдается глухим сомнением даже в душах высших властителей, и синьор Соранцо, возвращаясь к себе после тайного собрания Совета Трех, чувствует смутную тревогу и недовольство собой, ибо *идеалы* республики Святого Марка «лишь с трудом воспринимались человеком, чей ум еще не был развращен, хотя молодой сенатор¹ и предпочитал закрыть на это глаза; если же такие принципы вторгались в его жизнь, влияя на все, кроме жалкой, призрачной и мнимой добродетели, награда за которую еще так далека, он склонен был искать смягчающие обстоятельства, могущие оправдать его покорность. [...] В юности он считал власть, которой теперь облекли его, пределом своих желаний. Воображение рисовало ему тысячи картин его благотворной деятельности, и только с годами, узнав, сколько преград возникает на пути тех, кто мечтает о добрых делах, он понял, что все, о чем мечтал, неосуществимо». Такое,— подавляемое,— сомнение в собственной правоте гасит волю; и вот вершители судеб Венецианской республики наперебой напоминают один другому, что лучшие дни ее безвозвратно в прошлом.

Тягостные сомнения в земной правде внушают сомнения и в правде небесной, в надежде на нее гасят, что называется, страх Божий. «Разве патриции отрицают, что они христиане, что они смертны и грешны?» — в недоумении вопрошает старый рыбак; и слышит горький ответ браво: «Первое они считают благом, Антонио, о втором забывают и не терпят, чтобы кто-нибудь, кроме них самих, замечал третье!» Во всяком случае, христианская заповедь *Не убий* тут не в чести,— и речь не только о войнах, которые нередко приходится вести и по не зависящим от государства причинам. Кровь тут идет за золото. Известно, например, какие выгоды получала поздняя Венеция от торговли своими знаменитыми зеркалами и стеклом. Тайны изготовления их власти города ревниво хранили разными способами. Венецианские ремесленники, как никто умевшие делать столь драгоценные предметы, пользовались многими приви-

¹ В действительности Соранцо сенатором стать не мог: у Купера ему едва ли больше тридцати лет, а сенат составляли люди не моложе сорока.

легиями: скажем, могли носить шпагу в пределах города, что кроме них дозволялось одним патрициям. Но если какому-нибудь иноземному государю удавалось сманить на свою службу кого-то из мастеров цеха стекольщиков, сенат незамедлительно посылал к последнему сотоварища нашего Якопо Фронтони — наемного убийцу. Не удивительно поэтому, что каждое таинственное убийство герои Купера склонны отнести на счет городских властей. Утрата религиозного чувства, начавшись в высшем сословии, неминуемо захватывает и прочие общественные состояния. Вечные призывания святых, клятвы именем их и у простонародья делаются лишь привычными оборотами речи; и гондольер скорее призовет своего святого покровителя, молясь о даровании успеха в ежегодных лодочных гонках, чем при мысли о нем воздержится от какой-нибудь неблагоприятной сделки, сулящей прибыль. Веру исподволь теснит суеверие.

Теряя мощную, хоть и не всегда надежную, поддержку народного мнения, тираническое государство силой вещей принуждено искать ее, помимо прочего, в народном воображении. О Венеции поры упадка уже не говорят попросту; теперь в ход идут многочисленные определения и иносказания, в слове *республика* все более раскатисто звучит *р*, а о правосудии говорят как о том, что «для Святого Марка нет большего удовольствия, чем выслушать желание детей его», — причем наиболее убедительно толкуют о нем те, кто лучше всех знает истинную цену собственных слов. Город украшается великолепными зданиями и монументами, и «немногие государства казались внешне столь величественными»; все более торжественными делаются молебны, шествия, празднества и церемонии приема послов, чуть не каждый вечер город охватывает всеобщее, хотя и слегка лихорадочное веселье. Между тем, *res publica*, — т. е. *достояние народа* (лат.), — олигархия «из государства для всех [...] превращает в государство для немногих», более или менее общее дело замещает «славой республики», или, говоря попросту, *империи*, где истинной государственной религией делается обожествление государства, мистическая сила которого призвана определить и ограничить любое проявление жизни всех — от дожа Венеции до последнего слепца. Но служение ложно понятой идее государства неминуемо раскалывает не только все общество, но и само правительственное сословие, вселяя в людей тревогу и подозрительность: известно, к примеру, что Совет Десяти избирался всего на год, а трое глав его — даже на месяц; им запрещаются прогулки по городу, посещение людных мест и другие вполне невинные развлечения. Олигархия перестает доверять даже себе самой; «так люди, чересчур искушенные, часто оказываются в плену собственных ухищрений». И вот тут Купер делает важное предупреждение: «Заурядные умы могут защищать интересы общества до тех пор, пока интересы эти заурядны; но горе

народу, не доверившемуся в трудный час людям честным, благородным и мудрым, ибо не будет успеха там, где недостойные ловко направляют события, от коих зависит процветание общества. Большая часть несчастий, обессиливших и погубивших некогда процветавшие государства, произошла от пренебрежения к великим умам, порожденным великими событиями».

Тирания не позволяет остаться самим собою никому, превращая, по словам Ключевского, человека в *инвентарь государства*; робкая Джельсомина (несомненная удача Купера, ему, как правило, не особенно давались женские образы), найдя в себе довольно сил на отчаянную попытку вырвать из смертельной хватки ее «адских щупалец» любимого человека,— и тем самым остаться собою до конца,— лишь срывается в пропасть безумия, действительного либо же угодно-го властям. А кто не безумен, тот, пока жив, скрывает под маской свое лицо; здесь потому слуга оказывается совсем и не слугой, здесь наемный убийца отроду не проливал крови, здесь член всесильного Совета Трех не может спасти молочного брата от смерти, а родного сына — от наказания; здесь сам дож Венеции не смеет отменить жестокий и незаконный приговор невиновному, рабски покоряясь безликой и безмерной власти тиранического государства.

Если б Купер каким-то чудом получил вдруг возможность заглянуть в дневники Байрона, он, вероятно, избрал бы в качестве эпиграфа к этой книге чеканную фразу его:

Среди рабов нет свободы,— даже для господ.

А. Темчин

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I	3
Глава II	16
Глава III	31
Глава IV	44
Глава V	53
Глава VI	66
Глава VII	81
Глава VIII	93
Глава IX	109
Глава X	121
Глава XI	130
Глава XII	142
Глава XIII	157
Глава XIV	171
Глава XV	185
Глава XVI	199
Глава XVII	216
Глава XVIII	231
Глава XIX	241
Глава XX	253
Глава XXI	263
Глава XXII	270
Глава XXIII	282
Глава XXIV	295
Глава XXV	308

Глава XXVI	318
Глава XXVII	328
Глава XXVIII	339
Глава XXIX	352
Глава XXX	363
Глава XXXI	375
<i>А. Темчин. Блеск и нищета тирании</i> .	383

Литературно-художественное издание

КУПЕР Джеймс Фенимор

БРАВО, ИЛИ В ВЕНЕЦИИ

Редактор

Н. А. Преснова

Оформление художника

Г. А. Раковского

Художественный редактор

Р. А. Клочков

Технический редактор

Л. А. Данкова

Купер Дж. Ф.

К 92 Браво, или В Венеции: Пер. с англ. Е. В. Семеновской и Н. А. Темчиной. / Послесл. А. Н. Темчина; Ил. В. Высоцкого—М.: Пресса, 1992.—400 с., ил.

ISBN 5—253—00516—1

«Браво, или В Венеции» — остросюжетный роман Дж. Ф. Купера. Главного героя романа — Якопа Фронтони — в Венеции считают наемным убийцей; на самом деле он вынужден служить сенату, поскольку от этого зависит судьба его отца, посаженного в тюрьму. Отчаявшийся Якопо спасает прекрасную Виолетту, но сам погибает на эшафоте.

Тема книги — природа неограниченной власти, описанию принципов и способов действия которой посвящены ряд блестящих авторских отступлений, звучащих так же злободневно, как и без малого полтора столетия тому назад.

К 4703040100 — 2657 2657—92
080(02) — 92

84.7 США

ИБ 2657

Сдано в набор 17.07.91 г. Подписано к печати 13.11.91 г.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21.00.
Усл. кр.-отт. 21,21. Усл. изд. л. 22,27. Формат 84×108/32.
Бумага газетная. Тираж 500000 экз. Зак. 0015.
(1-й завод: 1—250000 экз. (2-й завод: 250001—500000)).
Цена договорная.

Набрано и сматрицировано в издательстве «Пресса».

Отпечатано в г. Ижевске 426000, Воткинское шоссе,
10-й км. Ижевский полиграфический комбинат.

Scan Kreyder - 19.04.2016
STERLITAMAK

14-50